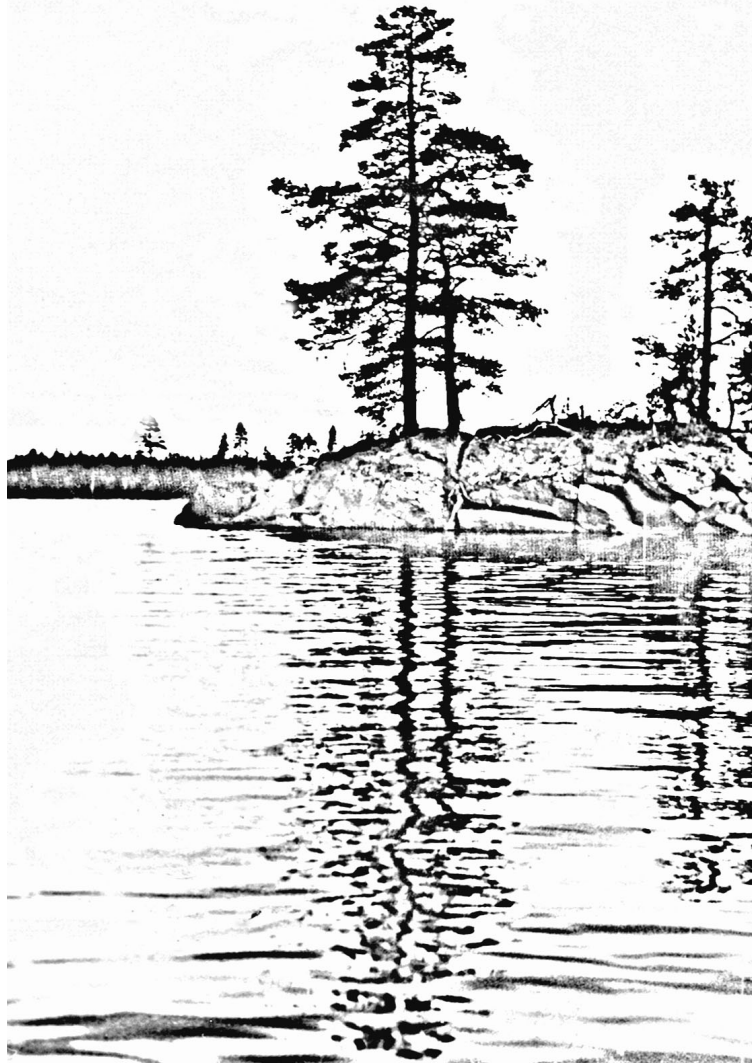


ОЛЬГА ТУНЦЕЛЬМАН-ГОЛУБЕВА
ВОСПОМИНАНИЯ

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ





*Ольга Тунцельман
Акварель Н. Никонова*

ОЛЬГА ТУНЦЕЛЬМАН – ГОЛУБЕВА

Воспоминания

ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ

Часть I

БЕЗЗАБОТНЫЕ ГОДЫ

Москва
1960 – 1970



Ольга Тунцельман-Голубева – ровесница ушедшего века. Ее детство и юность прошли в захватывающую, полную драматизма, наполненную историческими событиями эпоху. Однако «Жизнь Как Она Есть» – не исторический роман и не дневники. Это, действительно, жизнь без прикрас и утрирования. Радость любви, боль потерь, красота природы, перипетии человеческих отношений, а главное – юмор, не стареющий и острый, и легкий, вольный как ветер, образный язык.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Время неумолимо. Оно если и не полностью стирает прошлое, то набрасывает на него туманную пелену – краски тускнеют, детали утрачиваются, теряется аромат событий... «Река времен в своем стремлении уносит все дела людей» – таков закон природы. Тем дороги для нас воспоминания очевидцев ушедшей жизни. Они волшебным образом оживляют прошлое, приближают его к нам, делая ярким и наполненным. А если воспоминания написаны не равнодушным человеком и, вдобавок, литературно одаренным, то мы невольно сами становимся очевидцами ушедших событий.

С такими воспоминаниями мы и хотим познакомить читателя. Их автор – Ольга Эрнестовна Голубева, урожденная Тунцельман фон Адлерфлог, из прибалтийских немцев. Дед ее – обедневший дворянин, имел поместье на острове Эзель (ныне эстонский остров Сааремаа). А более далекие предки, по семейному преданию, были, немного-немало, тевтонскими рыцарями. Со временем от бывшего величия сохранилась в семье лишь железная плита с древним фамильным гербом с ворот поместья. Тот герб Ольга тщательно цветными карандашами перерисовала и бережно хранила всю жизнь.

А жизнь ее была очень непростой. Ровесница ушедшего века, вместе со страной она переживала все драматические события. И оставила воспоминания – некий аналог «доктора Живаго» в миниатюре – три толстые папки, в них – почти 700 листов с плотно набранным на «Ундервуде» текстом.

Повесть состоит из четырех частей: «Беззаботные годы» (детство), «Институтка» (учеба в Мариинском институте благородных девиц в Нижнем Новгороде), «Неустроенная жизнь. Безвременье» (юность) и «Решение», принятие которого в 20 лет круто изменило жизнь автора.

Начинаются воспоминания, как водится, из детства. После смерти матери Ольга вместе со своей сестрой Ниной оказалась в Нижнем Новгороде. Жила она в семье не очень доброй тетушки. Много здесь угнетало девочку. Но жизненное пересиливало, а новые впечатления от Нижнего ее захватывали.

С 1910 года Ольга учится в Мариинском дворянском институте благородных девиц в Нижнем, где уже училась Нина. Окончив институт в 1917 году, Ольга попадает в водоворот исторических событий. Прифронтовая полоса (Черновцы, Могилев, Киев), Москва, Сызрань, Оренбург – такова география жизни Ольги в то время.

Остается лишь добавить, каким образом эти яркие воспоминания попали мне в руки. В жизни все связано. В те годы, когда Ольга и ее сестра Нина учились в Мариинском институте, отец мой Павел Виноградов и будущие мужья сестер Тунцельман – Сергей Голубев (женился на Ольге), и Александр Платонов (стал мужем Нины), учились в нижегородской гимназии. Могу предположить, что это была одна компания. С Сашей Платоновым мой отец был очень дружен всю жизнь. Так сложилось, что, имея немало родственников в Москве, я всякий раз останавливаюсь в семье внучки «дяди Саши», названной в честь бабушки, Ниной. В последний короткий мой приезд в Москву перед самым Новым 2003 годом мы случайно заговорили о хранящихся в семье воспоминаниях. Передо мной оказались три толстые папки. До отхода поезда оставалось совсем мало времени. Я судорожно перебирала густо заполненные текстом листки, пытаюсь читать. Чувствовала, что материал очень интересный. Но поезд не ждет...

Татьяна Виноградова

И вот «воспоминания» перед вами.

Наверное, имеет смысл объяснить, как же книга оказалась на другом континенте, и почему ее первые экземпляры были изданы в Бостоне.

А произошло все так. 27 декабря 2002 года, как обычно (мы переписываемся по e-mail ежедневно), я получила письмо от Нины Ададуровой-Ершовой-Платоновой-Тунцельман (внучатой племянницы автора). Вот оно:

«Люся, отвлекись от семейных проблем и послушай про историю моих родственников. Ты ведь слышала, что моя бабушка Нина, мать мой мамы, немка. Она умерла очень рано, в 37-м году, а вот ее сестра, Ольга, жила очень долго и, к нашему счастью, написала книгу. Напечатала ее на машинке и оставила в дар потомкам. У меня есть один из экземпляров. К своему стыду, я только несколько лет назад прочитала ее и получила большое удовольствие. Книга большая и очень интересно написана. Она может поспорить по написанию с "Доктором Живаго". В книге описано все их детство и так ярко и красочно, что я все время присутствовала с ними; там есть все: их жизнь дома, и учеба в Мариинском институте благородных девиц, и трехсотлетие Дома Романовых, и ярмарки, и праздники, и прогулки по лесу (природа как живая), и слезы, и любовь. Есть война гражданская, но, правда, уже в отдельных рассказах. Ну, так вот. Прочитав эту книгу, я была под таким впечатлением, что отправилась на кладбище благодарить бабу Олю за то, что она написала эту книгу. А теперь пробую ее напечатать. Правда, я не наследница этого дара, у бабы Оли есть дочь Наташа и ее дочь Марина. Наташа в свое время пыталась опубликовать книгу, даже написала к ней вступление и напечатала одну главу "Спиритизм" в «Московской Правде». Но дальше что-то не получилось, а сейчас ей уже трудно этим заниматься. По мне, хорошо бы напечатать хоть несколько экземпляров для нас самих, наших детей и внуков.

Вот теперь, вроде, взялась Татьяна из Нижнего, она в своем городе очень известный человек: печатается в газетах и журналах, занимается историей и архитектурой своего города. Она является потомком Добролюбова и собирает все про Нижегородскую интеллигенцию.

...Есть фотографии, есть рисунок герба, есть дипломы об окончании Мариинского института, есть даже метрика о рождении. Чтобы разобраться и привести в порядок весь мамин архив, надо уходить на пенсию. Мама при жизни хоть успела подписать фотографии, но все не правильно, например, это моя мама, это – бабушка и т.д. Пройдет время, и никто не вспомнит, чья это бабушка... Вот так и забывается история жизни семьи. Но что делать, если мы всю жизнь

только собираемся жить, а не живем. Крутимся, вертимся. Мама всегда рассказывала про свою бабушку, которая говорила: «Люсенька, запоминай, кто изображен на фото». А мама отвечала: «Да ладно, бабушка, и так все знаю». Ну, а с годами все забылось. Теперь на мне лежит ответственность все это систематизировать и оформить.

И очень жаль, что с годами нарушается связь поколений. Как говорит Таня (ее можно цитировать все время): на пустом месте растет только крапива. Вот посмотри: мамин брат был архитектором и притом очень талантливым. Правда, он не смог себя увековечить, не получилось. Наверное, время было не то, да и не успел. Наталья прекрасно рисует, а ее внук – Маринин сын Андрей Наговицын (вы еще услышите его имя) – выиграл тендер на лучший архитектурский проект на строительство комплекса Москва-Сити. В конкурсе участвовало 50 претендентов из разных стран мира, притом Андрей – самый молодой из них, ему нет 30-ти лет. На Тишинской площади уже построен дом по его проекту...

Отвлекаюсь? Ну и хватит. Целую. Всем привет. Нина».

И вот ксерокопия книги «бабы Оли» пересекла океан и по воде, и по воздуху и оказалась в моих руках. Я «заболела» книгой и загорелась желанием помочь с ее изданием.

Мы с Ниной взялись за дело, и вот, год спустя, рукопись наконец готова к изданию. Было все – месяцы набора, длительная, до рези в глазах, корректура, переговоры с типографией. Части и главы пересылали туда и обратно, из Америки в Россию, из России в Америку. Благодаря прогрессу и электронной почте, проект, еще несколько лет назад совершенно невыполнимый, завершился быстрее, чем мы ожидали.

Мы не знаем, кто, когда и где прочтет эту книгу. Но есть уверенность: кого-то она заставит улыбнуться, кого-то – всплакнуть, кого-то – вспомнить о своем...

Читайте – не пожалеете.

Л. Моисеева

Вначале мне придется несколько отклониться от прямого повествования, для того чтобы рассказать немного о своих родственниках, которых я мало знала, но каждый из них внес свой вклад в мой характер, а следовательно, и жизнь.

ДЕД БАЛЬТАЗАР

ТУНЦЕЛЬМАН ФОН АДЛЕРФЛЮГ

О деде своем со стороны отца я знаю очень мало. Знаю только, что звали его Бальтазар, что был он лютеранин и что происходил из когда-то сильного рода германских рыцарей, владевших замком, называвшимся «Адлерфлюг», что значит «Орлиный полет». Род постепенно захирел и вымер. Дед Бальтазар унаследовал лишь небольшое и небогатое имение на острове Эзель да в придачу железную плиту с изображением родового герба, красовавшегося когда-то на воротах замка. Среди витиеватых орнаментов – большой шлем с опущенным забралом и короной. На короне – рыцарь с пикой в руке. Под шлемом, точно на страницах раскрытой книги, с правой стороны – второй рыцарь с копьем, и с левой – меч с тремя звездами, под мечом – большое ядро. Под гербом – фамилия владельца «фон Тунцельман».

Один мой дальний родственник, никакого отношения не имеющий к вымершему роду, будучи в командировке на острове Эзель, ныне Сааремаа, поинтересовался, не сохранилось ли хоть что-нибудь от владений исчезнувшего рода. Он навел кое-какие справки. Но и у самых древних жителей острова ни малейших, даже смутных воспоминаний, хотя бы в легендах или по-

вестованиях, о замке «Орлиный полет» в памяти не сохранилось. И только один глубокий старец, коренной житель острова Эзель, вспомнил, что имение, принадлежавшее Тунцельман, действительно было, и вызвался даже показать место усадьбы, да один единственный, уцелевший от нее старый каменный дом, наполовину вросший в землю. Он же сказал, что домом этим владеет колхоз, и размещается в нем колхозный санаторий. Да еще уцелели сиротливо стоящие ворота.

Вместе с именищем унаследовал дед и характер своих далеких предков. Был он невероятно вспыльчив и упрям. Вот потому-то и вел он дела своего поместья, ни с кем и ни с чем не считаясь, а лишь всецело подчиняясь своему дикому нраву. Так, продавая продукцию своего имения, он имел обыкновение назначать твердую цену. Если же ему предлагали хотя бы на копейку меньше, дед в страшном гневе прерывал переговоры и выгонял покупателей. В таких случаях он говорил: «Сгною, а командовать шаромыжникам собою не позволю». Весь урожай, предназначенный к продаже, оставался в амбарах мертвым капиталом, а большая семья деда из семи человек вынуждена была отказывать себе в самом необходимом.

Детей у деда было пятеро: четыре дочери и последний пятый ребенок – сын Эрнест. Мой отец.

Нам же с сестрой от деда досталась только плита с изображением родового герба. Уезжая из Нижнего Новгорода, я оставила ее на сохранение у тетушки Софии Франк, где она и пропала.

В бытность свою воспитанницей Нижегородского института благородных девиц я перерисовала этот герб на толстую бумагу, вырвав ее из альбома для рисования, и копия эта несколько лет красовалась на внутренней стороне моей парты. Любили институтки прикреплять у себя в парте, кто карточки родителей, кто открытки любимых актеров. Я же бессменно из класса в

класс переносила с собой копию с герба моих жестоких предков. Наверное, потому что являлась я единственной из всего класса обладательницей столь древнего знака рыцарства, и это, в какой-то степени, льстило мне. Копия эта сохранилась у меня и до настоящего времени.

Вернусь к семье деда Бальтазара. Члены этой семьи были единственными моими родственниками со стороны отца и по воле, иль неволе, каждый из них оставил свой отпечаток на карте моей жизни, кто больший, кто меньший. Потому я и не могу обойти их всех молчанием.

Я уже писала о способе ведения хозяйства дедом Бальтазаром. Неудивительно, что имение было сильно запущено и доходов почти не давало. Дostatка в семье не было. После того, как на острове прошла эпидемия черной оспы, унесшей в первую очередь родителей, имение окончательно обнищало. Когда болезнь поразила хозяев поместья, дворня в страхе разбежалась. Дети остались одни. Вслед за родителями заболела старшая из дочерей Александра, за ней – Софья и младшая Жозефина в один день с братом Эрнестом, которому в то время было лет шесть. Болезнь пощадила лишь четвертую сестру Лидию, девочку-подростка, вот ей и пришлось взвалить на свои слабые плечи и хозяйство, и дом, и уход за больными. Помогала ей старая женщина-эстонка, оставшаяся верной несчастной семье. Именно ее я не знаю.

Тетя Лида, как я ее впоследствии называла, не любила рассказывать об этом тяжелом периоде своей жизни. И на мои расспросы часто отвечала так: "Что рассказывать. Сама ничего не помню. Жила, сжав зубы. Ходила и делала все как в тумане иль в бреду. Где же было что-либо запоминать»

Болезнь, унесшая родителей, на детях не оставила никакого следа. Один за другим оправились они от

страшного недуга, и только у второй дочери деда, Софьи, оставалось незначительное количество оспинок.

После катастрофы, постигшей семью, дети некоторое время продолжали жить в своем, впадшем в полное разорение, имении.

Все эти скудные сведения о своих родственниках я узнала от тетушки Лидии Владимировны. Остальные сестры по неизвестной мне причине старательно избегали рассказывать о своем детстве. Возможно, некоторая доля упущения была и с моей стороны. Когда была возможность пополнить свои знания о том далеком времени, я по молодости лет мало им интересовалась. Теперь же в живых не осталось никого. Не у кого и спрашивать.



ТЕТУШКИ

Когда Софье исполнилось восемнадцать лет, она вышла замуж за лютеранина Бориса Ивановича Франка. Был он добр и застенчив, но к жизни мало приспособлен. Зато он обладал поэтической душой, любил стихи и читал их с большим выражением в минуту душевного покоя. Единственной страстью в его жизни была охота. Не найдя на острове применения своим молодым силам, он решил покинуть его и переселиться в центральную часть России, избрав, по одному ему ведомым побуждениям, город Нижний Новгород. Как утверждали сестры, Софья ему давно нравилась, но признаться ей в этом он робел. Только надумав уехать, он собрался с духом и сделал предложение, не умолчав также и о своем предполагаемом отъезде. Тогда же он

поделился с ней и о своем намерении организовать в Нижнем Новгороде какое-нибудь небольшое, по его средствам, предприятие, признавшись, что больших денег у него нет.

На семейном совете сестер предложение Бориса Ивановича было принято с условием, что уж переезжать, так только всем вместе. На что он дал свое согласие. Обесцененное имение было брошено. Семья, увеличившаяся еще на одного человека, перебралась на новое место жительства. Средств Бориса Ивановича с помощью сестер хватило на приобретение двух кузниц, одна из которых находилась за Окой в Канавино, а вторая – в городе, почти в самом центре, на краю оврага и Лыковой дамбы. Всю жизнь трудился он, как простой ремесленник. В принадлежащих ему кузницах он имел двух мастеров и двух подручных, но при наплыве работы одного мастера на кузницу бывало недостаточно, и тогда Борису Ивановичу частенько приходилось вставать за наковальню. Домой возвращался с темным от копоти лицом и грязными руками чернорабочего. Свободного капитала Борис Иванович не нажил, но имел прилично обставленную квартиру и даже пианино, так как дети обучались музыке. Семья жила в относительном достатке и ни в чем особенно не нуждалась. Софья Владимировна, кичась своим дворянским происхождением, не могла, да и не хотела, смириться с непочетным положением и занятием своего мужа. И я могу с уверенностью сказать, что брак их был не из счастливых. После смерти моей матери до поступления в институт благородных девиц мне пришлось пробыть в их нелегкой семье около года. Это было самым тяжелым отрезком моего детства. О тетке Соне у меня до сих пор осталось неприятное, тягостное воспоминание. И если мне случается задумываться о том периоде моей жизни, то ощущение безысходности и горя, даже и по-

ныне, овладевает мной с неослабевающей силой. Ну, да об этом позднее.

Я забежала вперед, не окончив рассказа о моих тетушках.

Обосновавшись в Нижнем Новгороде, жили они хотя и безбедно, но и не богато, проживая оставшиеся от продажи имения деньги. Тетушка Жозефина Владимировна часто говаривала: «Ростом мы все были высокие, миловидные, сероглазые, с длинными толстыми косами. И хотя не было за нами приданого, а на вечерах, как на домашних, так и в дворянском собрании, стен никогда не подпирали. Веселились и отплясывали в ситцевых платьях. Не таясь скажу, всегда пользовались большим успехом».

Следующей за Софьей замуж вышла старшая Александра. Будучи еще в девушках, она в разговоре с сестрами часто говорила: «Замуж я, сестрички, выйду только за старика. Буду ему бороду расчесывать, плешь целовать, да папашей называть». Сестры хохотали, принимая ее слова за шутку. Однако тетушка Александра оказалась верна себе и вышла, действительно, за пожилого человека намного старше ее годами, некоего Ланца. Кто он был, совершенно не знаю. Да и тетушку я в своей жизни видела один единственный раз в бытность мою в семье Франк.

Помню высокую, немолодую, представительную женщину с гордо вскинутой головой и большими невестельными глазами. Еще запомнились мне ее небольшие руки с множеством колец на пальцах. В Нижнем Новгороде она была проездом. Ехала же она из Петербурга, где жила с мужем, в Уфу, где у нее было два небольших дома. Это была первая и последняя встреча моя с тетушкой Александрой Владимировной.

Поставила она меня перед собой, долго смотрела своими грустными глазами и, поцеловав, сказала: «Боже мой, боже мой, как похожа она на своего отца,

нашего бедного брата. Помни, Ольга, после моей смерти ты, сирота, наследуешь и дома мои, и все остальное, чем я владею». С тех пор меня стали называть «Уфимской наследницей».

Тетушка Софья долго возмущалась и не могла смириться с устным завещанием сестры Саши, считая своих детей – сына Оскара и дочь Мелиту – обойденными.

Из разговора между тетушками я поняла, что старик Ланц не сделал свою молодую жену счастливой. После него остался сын Павел, которого я совершенно не знала. От тетушки Софьи слышала, что Павлуша был высок, плечист и весьма виден собой. Моя двоюродная сестра Мелита в ранней молодости была тайно влюблена в него и в припадке тоски и откровенности показала мне его карточки. Лицом он напоминал певца Шаляпина, виденного мною на открытках.

Павлуша Ланц, стремясь нажить капитал, вдвоем с приятелем закупили за границей какие-то двухэтажные автобусы, решив пустить их в Петербурге. Мостовая города не выдерживала тяжести автобуса, колеса проваливались, автобусы застревали. Предприятие, в которое были вложены все сбережения, лопнуло. Между тетушкой Александрой Владимировной и сыном произошло бурное объяснение, а за ним и полный разрыв. Тетушка без всяких средств уехала в Уфу доживать свой век. Вот тогда-то я и встретила с ней у Франков. Тетушка Александра вторично осталась верна себе. Безвыездно много лет прожила она в Уфе. Единственным средством к существованию был мизерный доход, получаемый ею со второго небольшого дома. В меньшем же она жила сама.

Следом за ней в Уфу уехал и старый слуга ее мужа, бывший ранее у них кучером, немолодой уже человек Василий. Он ютился в небольшой сторожке во дворе дома, где обитала тетушка. Это был единственный преданный ей человек, так же, как и она, одинокий. Он

оберегал тетушку и управлял ее несложным имуществом.

В полном затворничестве доживала свой век тетушка Александра Владимировна. Дружбы и знакомства ни с кем не водила. Сестры изредка навещали ее, не подолгу даже и гостили. Обычно бывали они у нее проездом, когда ехали на Урал к тетушке Марии Владимировне, отличавшейся от остальных сестер материальным достатком, а потому и гостеприимством. Из Уфы тетушки привозили душистый мед в металлических коробочках и чудесный лук в больших золотистых плетенках. Потом долго судили и рядили образ жизни сестры Саши, считая ее не вполне нормальной. Удивлялись они и ее странной манере одеваться, особенно удивляли их кокошники, которые она с достоинством носила на своей седой голове. Кокошники эти старая тетушка Александра шила и вышивала себе сама, не признавая никаких шляп.

После смерти преданного ей Василия, бедная тетушка осталась совершенно одна. И никто из сестер не знал, как живет ей в одиночестве. В России произошла революция, а с ней и полная разруха. Путешествия стали весьма сложным и утомительным делом. Долгое время от Александры не было никаких сведений. Обеспокоенная затянувшимся молчанием сестры, тетушка Лидия Владимировна, как самая свободная и энергичная, отправилась в Уфу. Сестры Саши в живых она не застала. Жильцы соседних домов рассказали ей, что старая барыня была совершенно случайно обнаружена в доме мертвой. Все вещи вплоть до матраца на ее кровати были похищены. Видимо, воры действовали не спеша, пользуясь ее одиночеством.

Следствием было установлено, что Александра Владимировна была задушена в собственной постели. Никто не знал, где находятся ее родственники, чтобы сообщить им о ее трагической кончине. Тетушка Алек-

сандра Владимировна последние годы своей жизни стала бояться людей и никого к себе не допускала. Слишком сильным было ее недоверие к ним. «Лучше подальше от них, – говорила она. – Каждый только и глядит, как бы обидеть, да обобратить тебя». Ее предчувствия и недоверие к людям оправдались. Оба же дома, как бесхозные, отошли в коммунхоз и были уже заселены жильцами.

Тетушка Лидия Владимировна вошла в дом, где жила и умерла сестра Саша. Ничего из вещей прежней хозяйки там не было. Только на стене на прежнем месте, что и при владелице, висела принадлежавшая ей картина художника Баратинского, подписанная латинскими буквами. На полотне был изображен сад, окутанный ночной тьмой. Из освещенных окон дома, или, вернее, виллы, воспроизведенной на картине, льется свет и полосой ложится по дорожке сада, выделяя из темноты стол и несколько скамеек вокруг него. Эту единственную вещь, оставшуюся после тетушки, Лидия Владимировна сняла со стены и, помня завещание сестры, привезла и вручила мне, как прямой наследнице. Более тридцати лет висела она в нашей комнате.

По нашим предположительным подсчетам картине давно за сто лет. Полотно ее настолько ветхое, что к нему лучше не прикасаться. В то время как она попала ко мне, полотно картины уже было подлатано. В настоящее время картина пришла в полное обветшание: краска потрескалась и сильно потемнела. Думаю, что ее вряд ли можно будет реставрировать. Да и заниматься этим делом, по правде сказать, некому. Картин художника Баратынского или Барятинского мне нигде больше не встречалось.

Тётушка Лидия рассказывала мне, как попала картина к Александре Владимировне, но подробностей я не помню. Помню только, что получила она ее от князей Барятинских. В их доме, который они побоялись

оставить без присмотра надежного человека, ей пришлось однажды домовничать. По возвращении, найдя все в полном порядке, хозяева спросили тетушку, чем могут отблагодарить ее за услугу. Она и попросила подарить ей картину в память о прекрасных днях, проведенных у них, так как опекаемый ею дом в какой-то мере походил на виллу, изображенную на картине.

Первая моя встреча с тетушкой Марией Владимировной произошла также в семье Франк. Ранее знала я о ней только понаслышке. Совсем молоденькой девушкой она вышла замуж за поручика Селенгинского полка, красавца с черными, огненными глазами Измаила Дубинкина и уехала с ним. Полк стоял где-то в глуши на Урале.

В первые годы своего замужества тетушка перенесла сложную операцию, лишившую ее на всю жизнь материнства. Не долго прожила она со своим красавцем мужем. Брясь, он порезал щеку, порез быстро зажил, но на месте пореза образовалось небольшое затвердение, на которое он не обращал внимания. Когда же на месте затвердения открылась язва, Дубинин взял внеочередной отпуск и вместе с женой поехал в Москву. Осмотрев его, врач задержал тетушку и с возмущением сказал:

– Эх, барынька, где же вы раньше-то были! Имея такого красавца мужа, я бы на вашем месте пешком шел в Москву. И дошел бы, и спас бы его. Знаете ли Вы, что у Вашего мужа рак, и сделать теперь уже ничего нельзя. Поздно... головы не съмешь.

Велико было горе, но у тетушки хватило сил с большой любовью и терпением ухаживать за мужем, скрывая от него скорую его гибель. После смерти мужа тетушка Мария Владимировна вернулась в Нижний Новгород и поселилась вновь в семье Франк.

В бытность ее на Урале, еще при жизни мужа, она познакомилась с супругами Клейн. Клейн занимал должность казенного лесничего. Души он был необыкновенной. Жена же его, взбалмошная сварливая и весьма недалекая женщина, своими выходками и скандалами сделала их совместную жизнь совершенно невозможной. Бесконечные ссоры, в конце концов, надоели им обоим. Жена уехала к родителям, но дать мужу развод категорически отказалась. Это было не в ее интересах. До самой своей смерти Клейн содержал жену, аккуратно посылая ей деньги. По общему мнению, разрыв произошел не по вине Клейна.

Общество уральского городка Белозерска, где они жили, было невелико. Никаких семейных дел, даже при большой осторожности, сохранить в тайне не удавалось. Все всё знали друг о друге. Общее расположение и сочувствие было на стороне Александра Васильевича. Внезапный отъезд жены никого не удивил и не огорчил.

Смерть Дубинкина вызвала всеобщее сочувствие и искренние сожаления. Немало огорчил всех и отъезд молоденькой вдовы.

Тетушка Мария Владимировна отличалась веселым нравом и являлась душой общества. Слыла она и большой затейницей по устройству пикников, домашних спектаклей и вечеринок. В городке, где царила мертвящая скука и где никаких особых развлечений не было, эти ее качества ценились особенно высоко. Весело и умело вела она свое скромное хозяйство, довольствуясь мизерным жалованием своего мужа – полкового поручика. И, в то же время, была со всеми приветлива, и ее небольшая гостеприимная квартирка охотно посещалась и редко пустовала.

После разрыва с женой Клейн пустился на поиски тетушки Марии Владимировны и нашел ее в Нижнем Новгороде в семье Франк. Он имел с ней длительный

разговор. Гражданские браки в то время не признавались, а, следовательно, и осуждались. Женщин, состоящих в гражданском браке, презирали и закрывали перед ними двери, обрекая их на одиночество. Такое унижительное положение выдерживали далеко не все. Зная все это, тетушка не побоялась стать гражданской женой Клейна. Доверившись его уговорам, приняла его не совсем обычное предложение и вернулась в Белозерск в качестве его гражданской жены. Ее возвращение в городок даже в таком сомнительном положении было принято восторженно. Брак их был счастливым. И, как говорила мне тетушка, ей ни разу не пришлось слышать осуждения ее поступка.

Единственным огорчением в их браке являлось отсутствие детей. Чтобы как-то восполнить эту брешь, супруги взяли на воспитание младшего ребенка овдовевшей многодетной сестры Александра Васильевича, которую он не оставлял своими заботами, помогая ей поднять детей. Живая, как ртуть, ласковая проказница быстро освоилась в новой семье, завоевав себе в ней прочное место. Вот она-то и примирила супругов Клейн с невозможностью иметь собственного ребенка.

Все это я узнала значительно позднее, будучи взрослой.

Итак, возвращаюсь к рассказу о своей первой встрече с тетушкой Марией Владимировной. Придется упомянуть, что мое первое знакомство с очередной тетушкой произошло опять-таки в семье Франк.

Родства к ней я, девочка десяти лет, конечно, никакого не чувствовала. Да и она не проявила ко мне никакого особого интереса. Отец наш Эрнест умер, когда сестре моей Нине было года полтора, а мне и того меньше – всего месяцев шесть. Через год наша мать вышла замуж вторично, и мы росли с отчимом.

Родные отца не любили нашей матери. Брак ее с их братом считали мезальянсом. После смерти Эрнеста

они и думать забыли как о нашей матери, так и о нас – его детях. Ничего нет мудреного, что и мы не знали никого из родных со стороны отца. Исключением являлась только тетушка Софья Владимировна. После долгих лет полного забвения нашей семьи, она вдруг вспомнила, что где-то живут дети ее любимого брата, и вспыхнула желанием повидать их. Нет и не может быть никакого сомнения в том, что, во всяком случае, не любовь к нам побудила ее к этому.

Как я уже писала, тетушка Софья Владимировна сыграла немаловажную роль в моей жизни, но рассказ о ней пойдет позднее.

Приходясь мне крестной матерью, тетушка Мария Владимировна, безусловно, знала от сестры Софьи, что я нахожусь в ее семье. Не могла она не знать и о постигшем нас горе – смерти матери. Ничто иное не могло послужить причиной моего временного вселения к Франк. Знала она также, что мы с сестрой остались на попечении отчима и бабушки со стороны матери, Веры Ивановны. И все же в ней не пробудилось к нам ни жалости, ни сочувствия. Мы с сестрой продолжали для них оставаться чужими. Иначе не уделила бы она мне при первом знакомстве внимания меньше, чем уделила его комнатной собачке тетушки Софьи. И никто этим не был удивлен. Тетушка Мария Владимировна, как большинство бездетных, окружала себя роем собачонок, которым и отдавала свою любовь и ласку. Потому в ее доме и копошилось вечно, и таяло множество всевозможных Дезь, Амишек и Бижусек.

Тетушка Мария Владимировна была самой обеспеченной из всех сестер, была горда как своим благополучием, так и своим не совсем законным браком, принесшим ей это благополучие. Да и сама она была и деловита, и предприимчива. Это по ее инициативе закупался в зимнюю пору молодняк рогатого скота. Зимой скотина сильно дешевет, а сена у казенного лесничего

всегда было заготовлено предостаточно. Весной скот угоняли в горы на выпас, где он и находился до поздней осени. Осенью, что называется с корня, продавался оптом скотопромышленникам. А деньги текли на текущий счет, увеличивая тетушкино состояние.

С тетушкой Марией Владимировной мне впоследствии придется встречаться, а потому о дальнейшей ее судьбе я и буду рассказывать от случая к случаю.

Тетушка Лидия Владимировна, третья дочь деда Бальтазара, была самой красивой из всех сестер. Как память о ней у меня долгое время сохранялся ее цветной портрет неизвестного художника. Большими голубыми глазами внимательно и горделиво смотрела красавица Лида с портрета. Темные ресницы и темные брови делали ее глаза особенно выразительными. Красивой формы маленький рот, нежный овал лица, обрамленный пушистыми пепельными волосами, и две толстые косы значительно ниже пояса дополняли ее красочный портрет. Соорудить какую-либо прическу из этой массы волос не взялся бы и самый опытный мастер, потому и носила долгое время тетушка свои необыкновенные волосы в косах, перебросив их через плечо. Чтобы косы не оттягивали головы, она навивала их на руку. Высокая, с тонкой талией и пышной фигурой, с маленькими ручками и ножками, тетушка Лидия Владимировна была необыкновенно привлекательна. Я встретила с ней в период ее увядания, но была красота ее, в какой-то мере, еще сохранялась.

Мать ее, моя бабка, почему-то не любила своей красавицы-дочери. Тетушка Лида знала это, и всякое действие со стороны матери воспринимала враждебно. Она мне не раз говорила, что мать почему-то относилась к ней с особой суровостью, выделяя этим среди других детей.

Несмотря на то, что была еще меньшая сестра Жозефина – Мария, только золошке Лиде приходилось донашивать вышедшие из употребления обноски и уродливое старье. Нелюбимой дочери ничего нового не шилось. Упомянув о матери, тетушка Лида с горечью добавляла, что мать вырезала прядями ее чудесные волосы, чтобы хоть этим обезобразить ее.

Тетушка же Мария Владимировна эту версию всегда опровергала.

– Действительно, – говорила она, – мать вырезала у нее пряди волос, но только для того, чтобы уменьшить тяжесть кос, ни в какой мере не намереваясь обезобразить ее этим. Надо же такое придумать, – с сокрушением добавляла она.

Трудно сказать, что послужило причиной развития в тетушке Лиде тяжелого, своенравного и неуживчивого характера. Чувство обиды и озлобленности она пронесла через всю свою жизнь. Может быть, нелюбовь матери положила начало развитию в ней такой неприимости к людям и к жизни, а возможно, еще с раннего детства мать почувствовала в ней эту строптивость, за которую и невзлюбила ее. Кто знает? Все это было так давно.

Красота не принесла тетушке Лиде счастья. Замуж она вышла еще совсем юной девушкой за полуполяка, полуцыгана Ясковского, владевшего где-то в царской Польше небольшим имением, куда он сразу же после женитьбы и повез свою жену. Невзирая на ее испуг и слезы, он грубо овладел ею в вагоне, чем и воздвиг между собой и женой-полуробенком непреодолимый барьер. Кроме страха и глубокого отвращения никаких иных чувств у нее в душе к нему не осталось.

Потянулись безрадостные дни в слезах и постоянной тревоге. Присутствие мужа для нее стало невыносимо, а его огромные, черные, диковато-яростные глаза наводили на нее ужас.

На просьбы тетушки отпустить ее Ясковский отвечал непреклонным отказом и грубыми оскорблениями. Упорство тетушки доводило его до бешенства. Готовый на любую жесткость, чтобы сломить и подчинить себе свою юную красавицу-жену, он не знал меры своим издевательствам. Но все выходки его разбивались о молчаливое, но упорное ее сопротивление. Тоскливо и одиноко было тетушке Лиде в доме нелюбимого мужа. Единственным ее развлечением, являвшимся и бальзамом для ее перепуганной души, была работа в насаждавшемся новом фруктовым саду. Чтобы как-нибудь заполнить пустые, гнетущие дни, она вместе с садовником высаживала яблоньки и груши, многие из которых и были посажены ее руками.

Управляющий помещьем часто видел ее в саду с заплаканными глазами и нередко выказывал ей свое участие. К нему и обратилась тетушка за помощью, решившись окончательно покинуть дом Ясковского. Не добившись покорности жены, он сошелся с горничной и стал жить с ней открыто, не скрывая своей связи.

Ночью, тайком, после долгих слез и упрашиваний, управляющий отвез тетушку на вокзал, и она уехала к сестре Марии Владимировне, проживающей в то время на Урале. С мужем своим она больше не встречалась, официального же развода с ним не имела. Развод стоил больших хлопот и расходов. На это у тетушки не было средств, а муж, как видно, в разводе не очень нуждался.

Красота тетушки привлекала к ней многих претендентов. Среди них были и весьма состоятельные люди. Они предлагали ей добиться развода, тогда бы тетушка могла вторично выйти замуж. Сестры советовали ей принять предложение, но она была так напугана браком с Ясковским, что даже самое невинное ухаживание принимала как оскорбление и на все, порою очень выгодные и лестные предложения, отвечала отказом. В

припадке мрачной тоски тетушка запиралась в своей комнате и по несколько дней не выходила из нее.

Оставшись совершенно без средств, она была вынуждена сама позаботиться о своей дальнейшей жизни. В то время найти какую-нибудь работу для женщин было трудным делом. Дети, церковь, да кухня в большинстве случаев были уделом замужних. Одиноким женщинам и девушкам оставался единственный тернистый путь – путь гувернантки. Поскольку тетушка превосходно владела немецким языком, имела хорошие манеры и немного играла на фортепиано, ей и пришлось заняться воспитанием детей в зажиточных семьях.

Труден и зачастую оскорбителен бывал труд гувернантки в богатом доме. Хозяйки бывали особенно придирчивы к красивой воспитательнице, излишне подозрительны и зачастую завистливы, значительно уступая ей в красоте и обаянии. Мужья же, наоборот, начинали выказывать особенное расположение, надеясь воспользоваться кажущейся неопытностью молодой женщины.

Тетушка, оскорбленная таким чрезмерным вниманием, зачастую вынуждена была оставить один дом, для того чтобы пойти в другой, где все повторялось снова и снова. Доведенная до отчаяния, она возвращалась на Урал, запиралась в отведенной ей комнате, в мезонине, обрекая себя на добровольное заточение. В эти дни никто не решался потревожить ее, чтобы не вызвать бурного протеста. Может быть, эти вспышки горя, отчаяния и злобы, с которыми она с большим трудом справлялась, впоследствии и перешли в душевную болезнь, от которой тетушка и умерла, имея 78 лет отроду.

Под влиянием Александра Васильевича Клейна, единственного человека, которого она очень уважала, тетушка Лидия Владимировна понемногу успокаивалась и выходила из своего добровольного заточения.

Понемногу входила в жизнь семьи и даже начинала принимать участие в нехитрых развлечениях, а в летнее время и в пикниках.

Можно сказать, что веселости ее и остроумия тогда хватало с избытком на все общество.

Находясь в чужих семьях, тетя Лида удивительно точно подмечала все смешные стороны окружавших ее людей. Способность же ее изображать все подмеченное была поразительна, и когда тетушка бывала в ударе – скучать не приходилось.

Я помню ее показ в лицах пассажиров салона 1-го класса большого морского парохода. Пока пароход стоял в порту, все были веселы. Дамы соревновались в туалетах и кокетстве, а господа – в учтивости и благородстве. Но стоило пароходу выйти из бухты и подвергнуться сильной качке, как настроение пассажиров резко изменилось.

Дамы, потеряв всю свою привлекательность, с искаженными лицами чуть ли не на четвереньках поползли вон из салона, а мужчины, позеленев от спазм морской болезни, забыв про вежливость и учтивость, бесцеремонно расталкивали их, чтобы поскорее скрыться в своих каютах.

Тетушка, легко переносившая качку, с истинным наслаждением наблюдала за своими повергнутыми в прах исконными врагами, радуясь их неожиданному поражению. Все это с невероятным комизмом передавалось тетушкой, и мы буквально корчились от смеха, в то время как она сама оставалась совершенно серьезной. В такие минуты непритворного веселья мне особенно бывало обидно за нее и за ее неудавшуюся жизнь.

Иногда тетушка Лидия Владимировна с грустью вспоминала посаженные ее руками яблоньки и груши, плодами которых пользовалась чуждая ей по духу

женщина, сумевшая прибрать к рукам ее жестокого и безжалостного мужа.

Кратковременное замужество оставило в душе тетушки глубокий, горестный след, надломивший ее молодость и на всю жизнь обрекший ее на одиночество.



ОТЕЦ МОЙ – ЭРНЕСТ ФОН ТУНЦЕДЬ- МАН

Эрнест был пятым ребенком деда Бальтазара и родился, когда родители потеряли всякую надежду иметь сына. Надо думать, как были обрадованы они появлением в семье мальчика. Ребенок, конечно, стал всеобщим баловнем и, быстро поняв свое могущество, сделался настоящим маленьким тираном. Ему все дозволялось и ничего не запрещалось. Даже суровая мать, воспитывающая дочерей в большой строгости, спускала мальчику все его шалости и выполняла все капризы. И если маленькому Эрнесту глубокой ночью приходила фантазия полакомиться блинчиками с вареньем, то на ноги поднимался весь дом. Блинчики появлялись, точно по щучьему велению, и подавались ему в кровать. Шалости его не всегда бывали безобидными. Так, не угодившей ему няньке, он неоднократно надевал на голову ночной горшок, и пострадавшей приходилось молчать, чтобы не навлечь на себя еще и гнева родителей.

Вот и все, что я знаю о детских годах своего отца. Виной тому – нелюбовь тетушек вспоминать свое детство. На все мои просьбы они всегда отвечали односложно: «Не помню».

После смерти родителей, умерших от черной оспы, Эрнест остался шестилетним ребенком, рос и воспитывался сестрами, перебравшимися в город Нижний Новгород. Как-то и чему-то учился, и, закончив свое несложное образование, поступил управляющим имением княгини Бярятинской, находящемся в Волынской губернии где-то неподалеку от города Дубно. Там же он встретился с маленькой, хрупкой, как фарфоровая статуэтка, Юлинькой Дерпт. Полюбив друг друга, они вскоре поженились. Однако совместная жизнь их была недолгой. Юлинька часто прихварывала, все худела, бледнела и вскоре умерла на руках мужа, передав ему свой недуг.

Эрнест без памяти любил свою угасающую Юлиньку и, не думая о возможности заразиться чахоткой, часто носил ее, как маленького ребенка, на руках и с жестокой тоской и отчаянием в сердце целовал ее большие, голубые глаза и обескровленные губы.

После ее смерти он оставил себе на память о крошке Юлиньке белую бальную лайковую перчатку да серебристую крохотную туфельку. Эти две вещички пережили его. Как-то, разбираясь в сундуке, бабушка достала их и показала нам, рассказав о короткой и горестной первой любви нашего отца.

Потеряв жену, он не уехал из имения. Тоскуя и не находя успокоения, он не дорожил ни своей жизнью, ни здоровьем.

В имении княгини был конный завод, выращивающий породистых скаковых лошадей. И зачастую, чтобы заглушить одолевавшую его тоску, Эрнест вскакивал на визжащего и кусающегося жеребца и в дикой скачке уносился на нем, противопоставляя свою волю и упорство яростному звериному сопротивлению животного. Никто и никогда не видел, где носились эти достойные друг друга противники. И когда их отсутствие затяги-

валось, а беспокойство среди подчиненных доходило до предела, они внезапно появлялись. Эрнест – крайне возбужденный, с беспорядочно развевающимися на ветру кольцами волос, зачастую в изодранной одежде, но всегда с видом победителя. Вид взмыленного скакуна, тяжело поводящего потемневшими от пота боками, ясно говорил, что победа, завоеванная отцом, досталась ему не так-то легко.

Однажды, после очередной пирушки, приятели отца настояли на прогулке, уговорив его прокатить их на одной из лучших троек завода. Дело было зимой, сильно морозило, колкий ветер кружил поземку. В николаевской шинели, наброшенной на плечи, разгоряченный выпитым вином, стоя в санях, Эрнест лихо управлял красавицей тройкой, не замечая ни снега, летевшего из-под копыт пристяжных, ни продувающего насквозь холодного встречного ветра. Прогулка не прошла отцу даром. С того дня здоровье его подорвалось, и появившаяся слабость положила конец его безумным скачкам.

ЖЕНИТЬБА

Бабушка моя со стороны матери, Вера Ивановна, рано овдовела, оставшись с тремя детьми: двумя сыновьями и дочкой Сашенькой.

Бабушка была простая, неграмотная женщина, и ей было нелегко растить своих детей. Выполняя любую работу, какую бы ей ни предлагали в зажиточных домах, она старалась сыновей обучить ремеслу, считая, что с ремеслом человек не пропадет и всегда сумеет устроить свою жизнь по собственному усмотрению. Особую же заботу она уделяла дочке. Поняв по собственному опыту, как трудно приходится в жизни неграмотной женщине, бабушка, не зная покоя ни днем,

ни ночью, старалась собрать немного денег, чтобы отдать Сашеньку в гимназию. И все же вряд ли сумела бы она осуществить свою мечту, если бы не помогли ей те люди, которым она отдавала свой труд. Мне помнится, что более достойной, порядочной и честной женщины, какой была наша бабушка Вера Ивановна, вряд ли возможно было бы сыскать на всем свете. Вот за эту ее честность и порядочность и любили ее все те люди, у которых она работала, любили и по-настоящему ценили и уважали ее.

В гимназии Сашенька проявила большие способности и с отличием переходила из класса в класс. После окончания гимназии ей было предложено место учительницы в Радзивилово, куда она и переехала, навсегда распростившись с Пензой, где родилась и выросла. Бабушка последовала за ней.

Молодая, красивая, пышущая здоровьем девушка была замечена Эрнестом. Знакомство состоялось, в то время как он почувствовал себя не совсем здоровым, когда холостяцкая жизнь начала угнетать его и когда бесконечно тоскливо тянулись одинокие зимние вечера. Не раздумывая долго, Эрнест сделал предложение Сашеньке.

Бабушка Вера Ивановна не советовала дочке выходить за избалованного самодура, каким он зарекомендовал себя в Радзивилово, предостерегала ее связывать свою судьбу с больным человеком. Однако влияния матери оказалось недостаточно. Невзирая на уговоры, Сашенька приняла предложение Эрнеста, в которого за короткое время знакомства успела безмерно влюбиться. Бабушка же сердцем чуяла, что Эрнест не отвечает ей взаимностью. Это впоследствии и подтвердилось. Насколько он бывал нежен и ласков с Юлинькой, настолько бывал груб и раздражителен со второй женой.

Избалованная матерью Сашенька не умела, а возможно, и не хотела уступать мужу в его сумасбродных и эгоистических поступках. Начались ссоры. Так, в одну из ссор он так сильно толкнул ее, что она перелетела через кровать, возле которой стояла, и, будучи беременной, только чудом осталась невредима.

Чем дальше, тем несдержаннее становился Эрнест, и от его грубых выходок страдала не только жена, но и люди, находившиеся у них в услужении.

Однажды в окно своей комнаты он увидел проходившего по двору своего лакея Якова, как на грех, в ярко начищенных сапогах. Отец взглянул на свои штиблеты, скромно стоявшие возле двери, и они показались ему вычищенными менее тщательно. Взорвавшись, Эрнест растворил окно и позвал ничего не подозревающего человека. Тот торопливо вошел в комнату.

– Прогуливаешься? – язвительно спросил он Якова и, не дожидаясь ответа, продолжил. – Так... значит, прогуливаешься, и сапожки с блеском. А посмотри, мерзавец, на мои штиблеты! Их кому положено чистить? – наступая на Якова, уже кричал он, бледнея. – Кому, я спрашиваю, положено это делать? А? Мне, что ли?

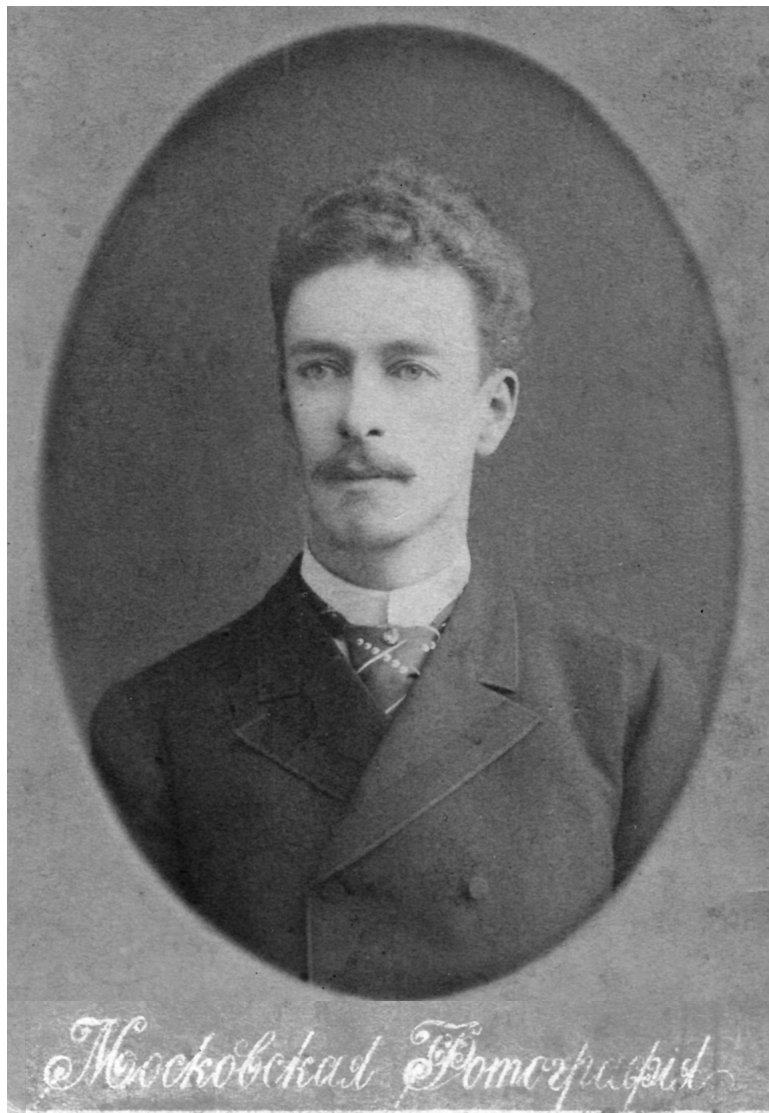
И, вырвав штиблеты из рук перепуганного лакея, он вышвырнул их во двор, а вслед за штиблетами так же стремительно вылетел за окно выкинутый отцом Яков. Ярость с отца сходила довольно быстро. Яшка получал на чай, и всё становилось на свое место.

Болезнь делала свое дело. У отца открылся туберкулез горла. Княгиня предложила денег на лечение и на поездку за границу. Ехать один отец не соглашался, настаивая, чтобы с ним вместе ехала Сашенька. Но поездку пришлось отложить – Сашенька была на сносях. Лишь только она разродилась дочкой, это была моя

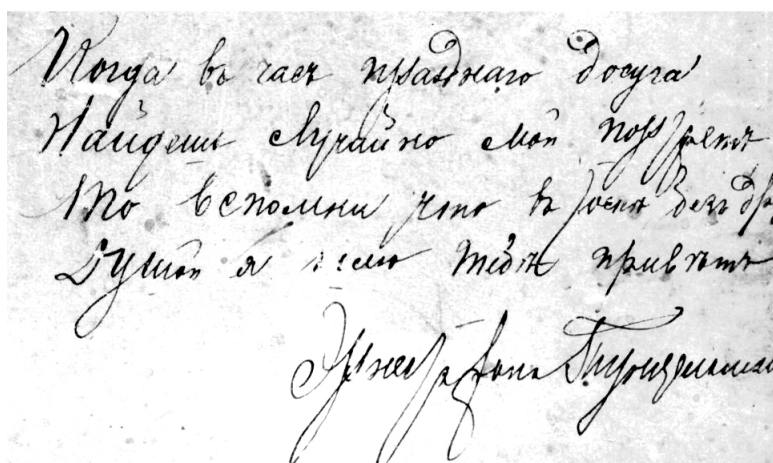
старшая сестра Нина, они уехали, оставив ребенка на руках у бабушки.

Месяцев через шесть они вернулись, и вскорости Сашенька почувствовала себя снова беременной. Известие это отец принял довольно равнодушно, но позднее все же выразил желание, чтобы родился сын. Когда же на свет появилась я, то есть снова дочь, он потребовал выбросить ребенка, но, поняв всю нелепость своего требования, смирился.

– Что поделать, – сказал он. – Дочь, так дочь. Жив буду – воспитаю ее мальчишкой. И на коне будет скакать, и из ружья научу стрелять.



Эрнест фон Тунцельман



Оборот фотографии.

Да только не пришлось ему заниматься воспитанием своей младшей дочери. Болезнь прогрессировала, и мать, оставив теперь на попечение бабушки уже двоих маленьких детей, повезла мужа снова за границу.

Бабушка об этом времени рассказывала так:

– Нина-то совсем еще маленькая была, да и вторую, совсем еще крохотную, на рожке пришлось растить. Уж до чего же ты была криклива, – с сожалением взглянула на меня бабушка. – Ну, чистое горе. Только Нину укачаю – ты принимаешься кричать и опять ее разбудишь, вот и орете в два голоса. Поставила я ваши качалки по обе стороны своей кровати, да всю-то ночь обеими руками и качала вас. Как только справлялась с вами, и сама теперь представить себе не могу.

На этот раз родители пробыли за границей недолго. Отцу становилось все хуже, и он запросился отвезти его домой. «Давай вернемся домой, Сашенька, – просил он шепотком. Незадолго до смерти голос у него пропал. – Не хочу умирать на чужбине. Хочу еще раз взглянуть на детей своих. А как приедем, снимись с

ними. Умру я скоро, так ты положи эту карточку в гроб мне под голову».



Оля (слева), Александра Петровна, Нина

Страшно было матери пускаться с умирающим мужем в дальнюю дорогу. Боялась она не довезти его живым. Да так и получилось.

В двухместном купе вагона он умер. Везла мать мертвого мужа, выдавая его за спящего. Контролеров просила не заходить и не беспокоить больного. На одной из станций, заперев предварительно купе, она, задышавшись от волнения, сдерживаясь, чтобы не бежать и тем не обратив на себя лишнего внимания, зашла на телеграф предупредить заместителя мужа, Леонида Петровича Волковича, о своем возвращении, умоляя его обязательно встретить ее.

Жутко было молодой женщине одной в купе с мертвым мужем, но даже плакать она не решалась, боясь слезами привлечь внимание проводника. Если бы узналось, кого везет она в купе, ее непременно вместе с трупом сняли бы с поезда, и кто знает, какие еще лишние расходы и хлопоты обрушились тогда на ее смятенную голову.

Волкович вместе с Яковом приехал к поезду и по осунувшемуся, растерянному лицу Александры Петровны догадался, что случилось что-то серьезное. Не вдаваясь в лишние расспросы, они вошли в купе, надели на умершего пальто, надвинули поглубже шляпу и, взяв его с двух сторон под руки, вывели, а вернее вынесли, из вагона в подъехавший экипаж.

Со слов бабушки Веры Ивановны похоронили отца нашего Эрнеста в Радзивилово. Потужили они с Сашенькой, поплакали и стали готовиться к отъезду. Ее место учительницы к этому времени было уже занято. Надо было подумать, как жить дальше. И, посоветовавшись, решили они перебраться в город Дубно. Там Саша надеялась скорее получить работу.

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД, ЗАМУЖЕСТВО МАМЫ

Из нашей городской жизни в Дубно у меня удержались в памяти лишь небольшие отрывочные сценки. Было мне в то время совсем еще мало лет, и если они так прочно засели в моей памяти, то, видно, были для меня немаловажными событиями.

Вот одна из них.

Яркий день. Жаркое солнце слепит глаза. У калитки небольшого украинского домика стоит, сморщив нос и сощутив глаза, вихрастая девочка с куклой в руках. Это я. Мимо домика идут и едут на базар хохлы и хохлушки в пестрых поневах и белых свитках. Женщины на коромыслах несут связки цыплят. Связанные за лапки, беспомощно висят они вниз головками, опустив крылья и прикрыв глаза. Мне жаль цыплят, и я, широко открыв рот, начинаю плакать. Ко мне подбегает молоденькая девушка в белой кофте с вышитыми рукавами и вышитом фартуке и, присев возле меня, спрашивает, о чем я плачу.

– Кто же тебя так разобидел? – гладит она меня по вихрастой голове.

И, узнав причину моих слез, громко хохочет, берет меня в охапку и несет в дом. Я знаю, что зовут ее так же, как и меня, Ольгой, но когда мы с ней впервые встретились, не помню. Глаза мои еще не просохли, но я сразу забываю о цыплятах и весело спрашиваю:

– Ольга, ты куда идешь?

– До тебе, – отвечает она, смеясь. – До тебе, серденько мое!

Из дверей домика выходит бабушка. Она зазывает во двор женщину с коромыслом и, поторговавшись,

покупает у нее за гривенник вязку цыплят. Потом, сдавшись на уговоры хохлушки, дает ей еще гривенник и получает новую связку. Освобожденные от пут лежат они на земле, все еще не веря своему счастью, и не торопятся подниматься.

Мы с Ольгой отыскиваем черепок разбитой кринки, наливаем в него воду и сыплем рядом корм. Неуверенно поднимаются цыплята на затекшие лапки и принимаются жадно пить. Я окончательно забываю про слезы.

А вот еще коротенькая картинка.

Теплый, тихий, ясный майский день. Такие ласковые дни бывают на Украине в начале мая. Мама, нарядная и гордая, идет с нами по улице города. В руках у нее белый зонтик от солнца. Мы с Ниной идем впереди, держась за руки. Мы тоже нарядные. На нас белые платья и белые забавные капоры. Спереди капор обрамляет лицо, сзади же у капора – выемка для косы. Сбоку он завязывается большим бантом, чтобы не слетал с головы. Мы проходим мимо кондитерской. Дверь кондитерской распахнута, и струящийся из нее воздух напоен жарким запахом сдоб и пирожных. Перед дверью стоит огромный, лохматый пес. Он принюхивается к дразнящим запахам, облизывается и глотает голодную слюну. Пес нам понравился, и мы, не сговариваясь, начинаем просить нашу строгую маму зайти в кондитерскую, уверяя ее, что мы голодны.

– Когда же вы успели проголодаться? – удивляется мама, недоверчиво взглянув на нас. И, чуточку колебавшись, она соглашается. Мы входим в кондитерскую и получаем по ватрушке.

Пес внимательно наблюдает и, разгадав нашу проделку, следует за нами. Нам же есть совершенно не хочется. Мы откусываем по небольшому кусочку и бросаем их себе под ноги так, чтобы мама не заметила. Маму мы побаиваемся. Пес деликатно пропускает ее

вперед и только тогда слизывает кусочки с панели. Так он съедает обе ватрушки и покидает нас.

Веселые воробьи снуют вокруг нас с оглушительным чириканьем. Они то проносятся над нашими головами, то бесстрашно бросаются под ноги, собирая оставшиеся от ватрушек крошки. Но крошек так мало, что достаются они далеко не всем. И тот, кому вообще ничего не досталось, вымещает свое неудовольствие на Нине. Пролетая у нее над головой, он роняет ей на капор небольшую зеленую каплю. Мама брезгливо стирает ее кончиком носового платка и сердито смотрит то на воробьев, то на нас. Настроение и прогулка испорчены. Мы возвращаемся домой.

Рассказ бабушки.

Был в Радзивилово у вашего отца помощник – молодой человек, звали его Леонид Петрович Волкович. Жил он неустроенно, и как-то отец пригласил его пообедать с нами. Раз пригласил, другой, и стал он у нас столоваться. Хороший человек оказался Леонид Петрович: скромный, тихий и уважительный. Он и отца вашего покойного на вокзале встречал, когда мать его мертвого с курорта привезла. Он и хоронить помог, он же и помог перебраться нам в город. Жалел только очень, что уезжаем. Пока он у нас столовался, попривыкли все друг к другу, да и нам тоже было жаль с ним расставаться. Ну, да что поделать?

Первое время он хоть изредка, а все нет-нет, да и заглянет к нам. А как прошел после смерти отца год, стал он наведываться почаще. И стала я примечать, что равнодушен он к матери вашей – Сашеньке. Придет другой раз, а ее дома не случится. Он со мной потолкует, о нашей жизни порасспросит, с вами поиграет. И не раз случалось, что ты, Олюшка, ему в колени пускала. Смеется только, бывало, да меня успокаивает.

вает: «Ничего, Вера Ивановна, не беспокойтесь, видно, не миновать мне на ее свадьбе гулять».

Ездил вот так-то, ездил и сделал Сашеньке предложение. Не посмотрел, что вас двое было. Напомнила я ему тогда про вас, поглядел он на меня, да и говорит: «За детей, Вера Ивановна, не беспокойтесь. Если даст свое согласие Александра Петровна стать моей женой, то и дети моими станут. Никогда их не обижу».

Приняла Сашенька предложение Леонида Петровича, и поженились они без шума. Мы как жили в Дубно, так там и остались. Не хотела Сашенька в Радзивилово возвращаться, воспоминаний да тоски боялась. Когда поженились, вы еще совсем махонькие были – Нине два с половиной, а тебе, Олюшка, всего лишь полтора годочка было.

Сдержал Леонид Петрович данное мне слово, и стал он для вас лучше другого родного отца.

Пожили они некоторое время врозь, но надоело им на два дома жить, да и достаток не позволял. Решили покинуть Дубно и поискать счастья на новом месте. Да народился Боренька, и пришлось с отъездом немного повременить.

Прошел год. Окреп братишка, подросли и мы с Ниной. К этому времени у каждой из нас завелся свой особый мирок. Нина возилась с куклами, отдавая им целиком свой досуг. Куклы были особые, таких я больше никогда не встречала. Мастерили их украинские умельцы из глины, сооружали им на головах невиданные уборы и одевали в обширных размеров турнюры. Причем ни фантазии, ни красок не жалели. Заставить такую даму лежать было довольно сложно – то мешали пышные рукава, то турнюр. И все же Нина неплохо справилась со своей задачей, уложив глиняных франтих тесной поленицей в предоставленный ей для этой цели ящик.

Мое хобби (как в настоящее время принято называть какое-либо постороннее пристрастие) было совсем иного порядка. Моим хобби был глазастый прехорошенький котенок, весельчак и проказник. Я не чаяла души в своем Пушистике. И когда наше семейство приступило к сборам для переезда на новое место, я долго и безуспешно осаждала старших, выпрашивая у них приглянувшуюся коробку, нужную мне для устройства теплой дорожной постельки для своего любимца. И только накануне отъезда коробка перешла в мое владение.



Нина, Бориска, Оля

Со всем усердием трудилась я над ее внутренним устройством. Когда же все было выполнено по заранее

сложившемуся у меня плану, и я с гордостью предоставляла каждому желающему возможность полюбоваться ее интерьером, Пушистик исчез. В ужасе бегала я по нашему тесному дворику, заглядывала во все уголки сарайчика, звала котенка самыми ласкательными именами, но все было напрасно. Пушистик как в воду канул. Набегавшись и накричавшись до хрипоты, беспрестанно шмыгая носом, уселась я на ступеньках крылечка и начала терпеливо ждать, не покажется ли откуда-нибудь глупый котенок. Я представляла себе, как он, одинокий и голодный, бродит по незнакомым дорожкам и дворам в тщетных надеждах на встречу со мной. Или, быть может, перепуганный, с взъерошенным хвостом и вздыбленной шерстью, улепетывает во всю прыть своих маленьких лапок от злого зубастого пса.

Мне становится страшно, и слезы снова обильно текут по щекам.

Хлопнула калитка, и на дорожке показалась Ольга. С грустью посмотрела она на меня красными, припухшими глазами.

– Что случилось, серденько, почему ты плачешь? – спросила она, присаживаясь рядом.

– Пушистик пропал, – всхлипывая, делюсь с Ольгой своим горем.

И вдруг вижу, что и у моей веселой Ольги из глаз катятся слезы. Я с недоумением смотрю на нее, и мое сердце переполняется благодарностью. Ну, конечно, ей тоже жаль Пушистика, как же это я раньше не сообразила, что она так же, как и я, любит его.

Мы уезжаем, и судьба Пушистика остается для меня неизвестной. Много позже я узнала от бабушки о коварстве взрослых. Во избежание моих воплей при неизбежном расставании с Пушистиком, его заранее кому-то отдали.



ЮЛОВО

От поездки по железной дороге до станции Инза, где нам надлежало сойти, воспоминаний у меня почти не сохранилось. По-видимому, никаких особых событий, о которых стоило бы помнить, не происходило. Запомнился лишь тряский холодный вагон, верхняя полка, на которую нас с сестрой водрузили, и с которой я в первую же ночь ухитрилась скатиться на головы дремавших внизу родителей. Запомнилось еще и узкое вагонное окно, заплывшее толстым слоем льда и пропускавшее такой скудный свет, что даже днем в вагоне держался удручающий полумрак. Попав на полку, я изо всех сил дышала и дула на окно, надеясь проделать хотя бы крохотный глазок. Было ужасно любопытно узнать, что скрывается за этим ледовым стеклом, но чем старательнее я дула, тем лед становился толще, и я с сожалением поняла, что лед сильнее меня и что мне с ним не справиться. Пришлось отступить.

На подходе к Инзе, несмотря на энергичное сопротивление, нас безжалостно закрутили большими теплыми платками, лишив этим какой-либо предприимчивости. Как только поезд остановился, а дверь вагона, впуская густые клубы пара, раскрылась, нас взяли в охапку и выставили на перрон, наказав не шевелиться и ничего не предпринимать. Вот тогда перед нами предстала невиданная ранее картина настоящей русской зимы с ее снежными сугробами и морозом, незамедлительно вцепившимся в наши любопытствующие носы. Когда все вещи были выгружены, нас снова взяли на руки и куда-то понесли. Вскоре это «куда-то» оказалось легкими санями и большим, приземистым возком,

запряженным тройкой заиндевелых лошадок цугом, по-видимому, поджидавших нас. Родители, усадив нас с бабушкой в возок, сели в сани и, наказав кучеру не опрокинуть возок, укатили. Возок пораздумывал немного и неторопливо тронулся следом. Но быстрые на ходу сани быстро скрылись в морозной мгле зимнего утра.

Наш же возок, неуклюже переваливаясь с боку на бок и спотыкаясь на каждом ухабе, медленно пробирался по разбитой дороге. Бородатый кучер в огромном овчинном тулупе с поднятым воротником, помня приказ папы доставить нас в целости и сохранности, не торопился погонять лошадей, хотя впереди и лежало долгих двадцать верст. Лошади же, пользуясь его попустительством, также не спешили, а трусили полегоньку, отфыркиваясь белым паром, вырывавшимся из их обледенелых ноздрей.

В возке становилось душно. Закутанные платками, мы задыхались. На все просьбы снять платки бабушка отвечала отказом. И только после того, как и она размлела в душной атмосфере заваленного узлами возка, бабушка, повздыхав о какой-то возможной простуде, избавила нас от платков. Получив свободу движения, мы быстро перебрались через узлы и прильнули носами к небольшому, вделанному в дверцу возка, оконцу. А возок, тем временем, все мотался по ухабам, и нас изрядно укачало. Сразу все вокруг потускнело и стало совсем неинтересным. Когда же лошади остановились возле занесенного снегом дома, нас вообще уж никто и ничто не могло заинтересовать. С плачем подчинились мы какой-то незнакомой женщине, сбежавшей с крыльца и засуетившейся вокруг возка, как только он остановился.

Ловко орудуя ненавистными платками, она по бабушкиной команде вновь превратила нас в беспомощных завертышей и понесла в дом, причитая и пригова-

ривая, как это умели в свое время делать простые деревенские бабы.

– Ну, будет, будет, – приговаривала она, – сердечные вы мои. Вестимо, устали, да и проголодались, небось. Вон какие версты отмахали по такой-то дороге. Тут и большим впору реветь, не то, что махоньким. Сейчас разберу вас, а там и обед приспееет, – припевала она, стаскивая с нас все лишнее, дорожное.

Сдав нас с рук на руки вышедшей в прихожую маме, она проворно засновала по дому, то помогая вносить и укладывать прибывшие с нами узлы и свертки, то заглядывая на кухню, где у нее что-то кипело на плите.

Наконец все внесено и сложено в прихожей. Поспел и обед, и, как только все сели за стол, из дверей кухни появилась все та же женщина с большим черным чугуном в руках. Из чугуна валил густой пар, и комната сразу наполнилась каким-то незнакомым запахом, не располагающим к еде. Мы нехотя взяли за ложки, не ожидая ничего хорошего, попробовали заплывшее жиром, горячее как огонь варево и, покосившись на маму, тихонько отодвинулись от стола. Мама строго повела на нас глазами. Мы продолжали сидеть все так же, с поникшими головами. Мама снова посмотрела на нас и сказала, чтобы щи были немедленно съедены.

– И не заставляйте меня напоминать вам об этом, – отвернулась и заговорила с папой.

Слезы потекли обильней. Они капали и капали в тарелки, и круглыми бусинками плавали в жире. Бабушка с необыкновенным удовольствием ела показавшееся нам отвратительным странное варево и украдкой посматривала на нас. Наконец, она не вытерпела.

– Чего ж вы дожидаетесь. Щи-то какие вкусные. Не помню, когда такие и ела.

– Что за уговоры, – остановила бабушку мама, – не маленькие. Ну? – повысила она голос.

Пришлось подчиниться. Шутить и делать поблажки, особенно за столом, мама не любила.

Так впервые познакомились мы с исконно русской едой – кислыми щами. С того памятного дня они прочно вошли в наш рацион и укоренились в нем навечно.

Наутро бабушка будила нас.

– Вставайте, дети. Завтрак остынет, – ласково говорила она, поправляя съехавшие на сторону одеяла.

– Оставь их. Пусть спят. По крайней мере, под ногами не путаются, – отозвалась из соседней комнаты мама.

Ох уж, эта мама... Ну, о каком сне она говорит, когда впереди уйма всевозможных дел. Вскочив с кровати, мы быстро натянули одежды, еще быстрее, без попукуаний и уговоров, расправились с манной кашей и молоком и, поблагодарив бабушку за завтрак, незамедлительно отправились в свое первое путешествие по неизведанным странам, где нас без сомнения ожидало немало всяческих неожиданностей.

Первой неожиданностью, повстречавшейся нам в самом начале пути, оказалась голландская печь таких огромных размеров, что просто никаких рук не хватило бы ее обнять. Осматривая эту завернутую в железо чудо-печь, пышущую жаром со всех сторон, мы попали в небольшую комнатку, где и познакомились с ее единственным обитателем – приземистым буфетом с тусклыми стеклами и полукруглыми дверками, придающими ему вид растянутой поперек бочки. Обследовав это пузатое существо и не найдя в нем ничего интересного, отправились дальше. Следующей комнатой оказалась спальня родителей. Понять это было нетрудно, если уметь считать до трех: две взрослые кровати и третья, маленькая – Борискина. Мама, стоя к нам спиной, разбирала корзину с бельем, раскладывая его по ящикам такого же пузатого, как и буфет, комода. Из опыта прожитых лет мы твердо знали, что если мама чем-

либо занята, то мешать ей лучше не стоит. И снова, огибая жаркое чудо, мы тихонько открыли следующую дверь и оказались в собственной детской.

Так было сделано приятное открытие: если не закрывать дверей, то можно будет поиграть даже в догонялки, бегая вокруг печки.

Из прихожей, вернее сеней, с коробами в руках вошла бабушка. В одном из коробов лежали Нинины дамы в шляпках и расписных платьях с пышными турнюрами. Я долго наблюдала, как она старательно укладывала своих дам поудобнее, но у нее так ничего и не получилось: мешали турнюры. Мои дамы, давно уж лишившиеся и шляпок, и турнюров, а то даже и головы, в полном пренебрежении валялись среди иных прочих игрушек во втором, принадлежащем мне, коробе. Я предпочитала игру в лошадки. Куклами же занималась крайне редко и только в тех случаях, когда из-за погоды нам приходилось сидеть дома. Тогда начиналась игра в дочки-матери, и мы вывозили своих многочисленных детей друг к другу в гости.

И, конечно, в другое время при виде своего короба Нина не преминула бы заглянуть в него. Но знакомство с домом еще не было закончено, и короба остались без внимания.

Воспользовавшись занятостью старших, мы беспрепятственно пробрались в уже знакомые нам сени и осмотрелись. Правая дверь вела во двор, через нее нас внесли. Мы направились в левую дверь и оказались в небольшой, светлой, но страшно холодной комнате. Мы так поспешно выскочили обратно в сени, что кроме настенных полок, заставленных книгами, не успели ничего рассмотреть. Позднее, с наступлением весны, папа приспособил ее под свой кабинет, а мама во время папиного отсутствия пользовалась ею как классом для изучения почему-то понадобившегося ей польского языка.

До сих пор не могу понять, для чего понадобился ей этот польский язык, совершенно неперспективный по тем временам.

Оставалась еще третья дверь, которая и привела нас в кухню, заставленную ящиками с не разобранным домашним скарбом. Длинная лавка вдоль стены, стол у окна, русская печь с пристроенной к ней плитой составляли все ее убранство. Ничего примечательного. Так окончился осмотр нашего нового жилища, и мы вернулись в столовую.

– Ну, как, все посмотрели? – спросил папа.

– Все, только совсем неинтересно, – обиженно сморщилась Нина.

– А холодно там как, – кивнула я в сторону сеней и поежилась.

– Не то смотрели, потому и неинтересно, – улыбнулся папа. – Взгляните-ка на окна, разве это неинтересно?

Мы подняли головы и некоторое время внимательно рассматривали покрывавшие стекла узоры.

– Нравится? – спросил папа.

– Нравится, – кивнули мы согласно головами.

– Кто это все сделал? – спросила Нина.

Но ответить нам папа не успел, его позвала мама.

– Вы о чем это? – подала голос бабушка, убиравшая в буфет посуду. – Если об узорах да цветах, что на стеклах расцвели, так это работа деда-мороза. Всю ночь трудился, чтобы вас порадовать. А вы такую-то красоту и не заметили, – добавила она с упреком.

– А где он сейчас, этот дед-мороз?

– Наверное, домой пошел, – продолжая греметь посудой, ответила бабушка.

Мы призадумались. Было совсем непонятно, как же это дед-мороз сумел пробраться в столовую да так, что его никто и не заметил, разукрасить стекла, снова вы-

браться наружу и пойти домой. Где же у него дом? И какой он, этот дом? Ни Нина, ни я не знали.

– Давай спросим бабушку, – предложила Нина.

– Давай, – согласилась я, и мы отправились искать бабушку.

Нашли мы ее в сенях. Бабушка выслушала наши вопросы, но отвечать отказалась.

– Идите в столовую и посмотрите хорошенько в окна. Вот и узнаете, где живет мороз. Сюда же больше не приходите. Не дай бог, простудитесь.

И бабушка решительно выпроводила нас из сеней. Чтобы поглядеть в окна, пришлось придвинуть стулья и взобраться на подоконники. От крыльца к воротам шла широкая расчищенная дорожка. С обеих ее сторон высились снежные горы. Они были такими огромными, что за ними ничего не было видно. Мы слезли с подоконников и перетащили свои стулья в детскую. И вдруг, словно по волшебству, все сразу изменилось. Вместо расчищенной и разметенной среди сугробов дорожки перед нашими изумленными глазами предстал во всей своей красе зимний сад: посеребренные инеем деревья, низко пригнувшийся под тяжестью покрова кустарник. И повсюду, куда проникал наш взгляд, лежал сверкающий под лучами зимнего солнца снег. Пушистым ковром раскинулся он по скованной морозом земле, белыми тугими валиками украсил забор и полузанесенную садовую скамью, высокие боярские шапки нахлобучил на столбы забора.

Как замороженные, рассматривали мы сказочную по красоте работу деда-мороза, впервые увиденную нами так близко.

Белобокая сорока, сбивая снег, опустилась на забор и застрекотала, раскланиваясь и поглядывая на нас воробьиным сорочьим глазом. Мы постучали. Сорока дернула хвостом, соскользнула с забора и скрылась.

Среди дня пришла Анна и привела с собой деревенскую девушку – свою племянницу Мотрю. Бабушка спросила, что Мотря умеет делать по дому. Оказалось, что ничего не умеет. И бабушка долгое время мучилась с ней, пока научила ее чисто мыть посуду, не выламывать у чайных чашек ручки и пользоваться вилками. Мы немало забавлялись, глядя на Мотрю, когда она во время обеда сначала насаживала мясо на вилку рукой, а потом отправляла его в рот.

Всем домашним премудростям Мотрю обучала бабушка. И обучала ее с таким терпением, что Мотре можно было только позавидовать. Но бывало, что и у бабушки лопалось терпение. И случалось это, большей частью, тогда, когда из рук Мотри появлялась обезрученная, дырявая чашка, а то и еще хуже: вместо чашки оказывалось две совершенно независимые половинки.

– Да как же ты так вытираешь? – возмущалась бабушка. – Всю посуду перекалечила. Скоро и пить не из чего будет. Нет, уж лучше делать все самой. Надежнее будет, – говорила бабушка и безнадежно махала рукой.

Глаза у Мотри наливались слезами, и она, опустив голову, тыкалась носом в стенку. Бабушка смягчалась и, вздохнув, снова, в который уж раз, принималась объяснять ей, как следует вытирать чашки, чтобы не разламывать их.

В такие дни и бабушка, и мама часто вспоминали Ольгу и без конца сокрушались, что не взяли ее с собой. Жалела об этом мама и позже.

Приходила и Анна. И мы встречали ее приход всегда с большой радостью. Простая приветливость Анны расположила нас к ней. Тем более что только Анна умела так весело и охотно отвечать на все наши вопросы. На Мотрю Анна покрикивала, сравнивая ее со всеми домашними животными. То Мотря становилась у нее сонной кобылой, то гладкой телкой. Причем она говорила не гладкой с ударением на «а», а гладкой, с

ударением на «о». От криков тетки Мотря впадала в отчаяние, и у нее и подавно все валилось из рук.

БОЛЕЗНЬ. ЗОЛОТАЯ ЧАШКА

Первое время во двор нас не пускали – не было валенок. Анна, справившись со своими делами, привозила большие набитые соломой салазки. Закутав нас в платки и усадив в салазки, она накрывала нас еще бабушкиным старым одеялом, и, подоткнув его со всех сторон, везла нас на прогулку. Мы быстро привязались к Анне и каждое утро с большим нетерпением поджидали ее прихода.

Первым долгом Анна познакомила нас с коровником, где толстые коровы флегматично жевали сено. Потом она показала нам своих любимиц – огромных лопоухих свиней, прозванных ею за черный цвет Жуками. По протоптанной ночным сторожем дорожке покатила нас вокруг княжеского дома. Окна дома были плотно прикрыты ставнями, и дом казался погруженным в зимнюю спячку. Высокие нетронутые сугробы, наметанные ветром, подступали под самые ставни. Большой барский сад под покровом снега показался нам таким таинственным, как в сказке. Все это было совершенно ново для нас, потому и смотрели мы вокруг себя с необыкновенным изумлением и любопытством.

Вскоре папе по делам службы понадобилось побывать на станции Инза, где он купил нам по паре валенок и по деревянной лопатке. Дни побежали веселее и незаметнее. Теперь мы больше не выглядывали из окон прихода Анны, а самостоятельно гуляли во дворе. И сугробы, казавшиеся из окон столовой такими неприступно-высокими, на деле оказались совсем уж не та-

кими страшными. С хохотом мы взбирались на самые высокие из них, возились и барахтались в снегу, пока не скатывались кубарем вниз. И тут же снова карабкались наверх.

Домой возвращались с пылающими щеками и такими красными руками, что бабушка ни за что не хотела верить, когда мы уверяли ее, что руки у нас нисколько не озябли. Поворчав для порядка, бабушка стаскивала с нас заскорузлые от снега варежки и, сунув их для просушки в печурку, принималась растирать нам и без того горячие руки. А вечером, видно решив, что одной парой никак не обойтись, достала из своего комода спицы и постукивала ими до тех пор, пока не связала нам еще по паре варежек «на перемену», как она сказала маме, заметив ее недоуменный взгляд.

Когда все сугробы были обследованы и исхожены вдоль и поперек, интерес к ним пропал, и нам стало скучно. Тут мы и вспомнили про свои деревянные лопатки, валявшиеся в забросе где-то в прихожей. Овладев этим нехитрым инструментом, мы быстро приловчились прорывать в сугробах пещеры с входами и переходами.

Вот тогда и случилась со мной беда. Однажды, когда работа в одной из пещер подходила к концу, свод внезапно обвалился, и меня засыпало снегом. Я испугалась, хотела закричать, но не тут-то было: снег моментально забил мне рот, и мне стало трудно дышать. В ужасе заработала я руками, ногами и даже головой. И когда, наконец, мне удалось освободить из снега голову, первое, что я увидела, была Нина. Она с недоумением и страхом смотрела, как на месте обвала из сугроба вылезло на свет божий какое-то снежное существо с живыми, испуганными глазами. И только после того, как это удивительное существо то ли от страха, то ли от радости завопило моим человеческим голосом, Нина опомнилась и бросилась помогать мне выбираться из

сыпучего плена. Мы долго и старательно отряхивались, выбирали снег из рукавов и валенок, но, как ни торопились, снег, набившийся за ворот, все же успел растаять. Мне стало неудобно и холодно. Уходить со двора не хотелось, и мы продолжали гулять, пока у меня по спине не забегали противные мурашки, а ноги в сырых валенках не превратились в настоящие ледышки.

Ночью у меня начался сильный кашель, а за ним поднялась и высокая температура. Ни растирания скипидаром, ни горячее молоко с медом, ни малиновый чай не помогли. Температура упорно лезла вверх, пока не добралась до сорока. Врача в округе не было, и утром привезли фельдшера. Он-то и определил воспаление легких. А к вечеру я уже никого не узнавала, бредила и все порывалась куда-то бежать.

В бреду мне казалось, что горит стена, возле которой стоит кровать. Пламя, разгораясь, гудит и ревет с такой силой, что, как мне казалось, голова моя не в состоянии перенести этого шума и вот-вот расколется. Стена качается, падает, и вот уже загорается кровать. Я задыхаюсь, в ужасе вскакиваю, но чьи-то сильные руки успокаивают меня и снова укладывают в постель. Утомленная борьбой, я начинаю засыпать. Но появляется страшная старуха с налитыми кровью глазами. Со злобным хохотом хватает она меня и сталкивает в огонь. Загораются ноги. Я с плачем зову маму, мама берет меня на руки, и старуха исчезает. Я успокаиваюсь и вновь начинаю дремать. Только почему-то язык становится вдруг таким большим и непослушным. Почему он увеличился до таких огромных размеров, что ему становится тесно во рту? Я хочу позвать маму, но язык не подчиняется мне, и я снова задыхаюсь. И снова заботливые сильные руки приходят мне на помощь: несколько капель прохладной воды, влитые с ложечки, возвращают пересохшему от жара языку присущие ему размеры.

Болела я сильно и долго. Случались дни, когда ни у кого не оставалось ни малейшей надежды на мое выздоровление. Однако ослабевший до крайности организм все еще не хотел умирать. Тоненькой ниточкой, готовой каждую минуту оборваться, цеплялся он за жизнь и победил.

Была ночь, когда я впервые после длительного беспомощства пришла в себя. От слабости у меня двоилось в глазах. Около кровати сидели почему-то две бабушки. Одна была настоящая, это я понимала, а вот вторая – какая-то призрачная, как бы в тумане. Откуда же появилась она? Я попыталась было разобраться, почему бабушек стало две, от напряженных мыслей закружилась голова, и я снова надолго потеряла сознание. Когда я вторично пришла в себя, был уже день. Зимнее солнце, пробиваясь сквозь шторы, освещало комнату. Около меня стояла мама, и какой-то высокий незнакомый мужчина с длинными хохлацкими усами. Из разговоров я поняла, что это врач. Он придержал усы, выслушал меня, проверил пульс и объявил, что опасность миновала и что теперь дело пойдет на поправку.

– Посмотрите, какие мы сегодня молодцы, – с гордостью говорил он. – Теперь надо хорошенько кушать, чтобы побыстрее набраться сил.

Мама спросила, что мне можно давать и от чего лучше воздержаться.

– Вот мы ее сейчас и спросим, – улыбнулся фельдшер, принятый мной за врача. – Ну-ка, скажи, чего бы тебе попервоначалу хотелось?

– Золотую чашку, – поборов слабость, не сказала, а, скорее, как-то выдохнула я, и глаза мои наполнились слезами.

Грубую позолоченную чашку я увидела однажды на полке небольшой еврейской лавчонки в Дубно, куда мы изредка заходили с мамой. И я была потрясена ее красотой и блеском. «Золотая чашка, – умилилась я, – вот

бы мне такую». И я стала просить маму купить чашку. Мама же, несмотря на мои горячие просьбы, почему-то отвечала одним и тем же категорическим «нет». Так повторялось каждый раз, когда нам случалось проходить мимо лавчонки. Вскоре мы уехали, а золотая чашка как была, так и осталась моей незабываемой мечтой.

Вот почему на вопрос фельдшера, чего бы мне хотелось, я и назвала свое давнишнее желание.

– Что ты сказала? Золотую чашку? – с недоумением переспросил фельдшер. – Как же так... Тебе обязательно хочется золотую чашку? – продолжал удивляться он.

Я молча кивнула головой.

– Ну, хорошо. Раз уж так хочется, я попытаюсь раздобыть тебе золотую чашку. Только, чтоб не плакать, – растерянно добавил он, заметив слезы, стоявшие у меня в глазах.

Фельдшер, покосившись на маму, улыбнулся, потрепал меня по руке и вышел.

На этот раз, наверное, и мама не отказалась бы выполнить мою любую просьбу, так как все были рады благополучному исходу болезни. Но лавчонка осталась в Дубно, а в Юлово вообще не продавалось никаких чашек.

Прошло несколько дней, и вместо ежедневного бульона и яичек всмятку я стала просить котлет, соленых огурцов и черного хлеба. Мне отказывали, я поворачивалась к стене и от обиды начинала плакать. В таких случаях мама прибегала к угрозе.

– Хорошо, не ешь, – говорила она. – Только знай: золотой чашки тебе не видать как своих ушей.

Этого было вполне достаточно, чтобы взяться за ложку. Кому-кому, а нам-то было хорошо известно, что бросаться на ветер словами мама не умеет. Отдавая все свои помыслы обещанной чашке, я с нетерпением ждала прихода фельдшера. Поскольку же я перешла в раз-

ряд выздоравливающих, а больных и кроме меня у него всегда было предостаточно, то фельдшер, как видно, не очень торопился со своим визитом.

И вот пришло время, в прихожей раздался звонок, и я услышала бас того, кого так ждала. Сердце у меня подскочило и замерло.

– Как наша больная? Надеюсь, все хорошо? – спросил фельдшер, здороваясь с бабушкой.

– Хорошо-то хорошо. Только ест совсем плохо, – посетовала бабушка.

– Это дело поправимое, – проговорил бас.

Дверь растворилась, и в детскую вошел, лукаво прищурясь, лечивший меня человек с небольшим свертком в руках.

– Золотая чашка? – обомлела я. – Неужели золотая чашка! – я чуть не задохнулась от радости.

Мама развернула сверток. Так сбылась моя золотая мечта. Я не слышала, что говорил фельдшер, передавая мне сверток, как благодарила его мама. Не знала, поблагодарила ли я его сама. Я держала в руках золотую чашку – это было главное. Остальное в тот момент для меня не существовало.

Когда первая радость немного схлынула, я посмотрела на маму. Глаза наши встретились, и мне показалось, что мама расстроена. Наверное, ей было жаль, что это не она заставила мои глаза сиять от счастья.

С того дня здоровье мое быстро пошло на поправку. Я с нетерпением и утром, и в полдень, и вечером поджидала свою золотую чашку. И ни бабушке, ни маме не приходилось больше стоять у меня над душой с уговорами.

ВЕСНА. ПАСХАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ

Зима прошла. А у нас из-за моей болезни не было ни елки с приглашенными, ни веселых святок с ряжеными, ни праздника Нового года.

Когда меня впервые выпустили во двор, была уже весна. Знакомые сугробы снега потемнели и осели. Днем с крыш, торопливо догоняя друг друга, закапала и запела разными голосами весенняя капель. За ночь, как стеклянная бахрома, по краям крыш повисали длинные сосульки. Нам нравилось сбивать их палками, и сосульки, падая, звонко разбивались, разлетаясь мелкими сверкающими осколками. Снежная баба, слепленная Ниной, с красным носом – кеглей, и черными глазами – большими пуговицами, огрузла и покосилась. Простояв долгое время в одиночестве посреди двора, разморенная весенним солнцем, она решила вдруг отдохнуть и, примеряясь, куда улечься поудобнее, покривилась на один бок, да так и застыла до поры до времени. Нина, радуясь моему освобождению из-под домашнего ареста, первым делом потянула меня к снежной бабе, с гордостью показывая свое искусство. Во дворе Нина держалась хозяйкой, а я после большого перерыва выглядела рядом с ней гостьей.

Снег быстро таял. Побежали суетливые ручейки. Работая лопатками, мы помогали им выбраться за ворота, где они сливались с другими и с шумом и звоном неслись с пригорка, на котором стоял наш дом. Вскоре появились и первые проталины. С каждым днем проталин становилось все больше. Набирая в галоши воды, мы прыгали по проталинам, собирая осколки давным-давно разбитых кем-то тарелок и чашек. Собранные осколки промывались в ледяной воде и раскладывались на солнце для просушки. Когда осколков набралось великое множество, и их стало негде сушить, они как-то сразу утеряли для нас свою первоначальную ценность и были забыты.

Пасха в тот год была поздняя. Уже к страстной неделе на деревьях и кустарниках зазеленели светлые листочки. А там, где совсем еще недавно лежал снежный ковер, появилась трава. В доме полным ходом шла весенняя уборка. Было так тепло и солнечно, что в кухне и столовой вынули зимние рамы. В комнате сразу посветлело и запахло свежей зеленью.

Словно опьянев от терпкого весеннего воздуха, носились мы по дому вокруг печки, заглядывали в раскрытые окна, выскакивали на балкон и, облетев двор, с визгом и гомоном снова врывались в столовую.

Чтобы усмирить наши шумные восторги, бабушка вынесла на балкон огромный таз вареных яичек, усадила нас за стол и, поставив перед каждой стаканы с краской, показала, как красят пасхальные яйца.

Занятие, предложенное бабушкой, понравилось. Мы давно уже пристрастились к рисованию, а перспектива вволю повозиться с красками буквально захватила нас. Да и процедура крашения оказалась простой и ничуть не обременительной. Мы опускали в стаканы с краской яички, следили, чтобы они окрасились равномерно, затем сушили их на разостланной бабушкой белой тряпке и уже просохшими смазывали маслом. Пройдя через эти нехитрые операции, яйца становились блестящими, красивыми и по-весеннему нарядными. Расчет бабушки оправдался. Часа два возились мы с красками, накрасив гору разноцветных яиц. Красные, зеленые, желтые, синие и даже лиловые, они заполнили весь стол, умиляя нас своим радужным разноцветьем.

На следующий день с утра бабушка снова привлекла нас к работе. Только вместо красок она раздала нам какие-то совсем неинтересные, тусклые листочки, такие тоненькие, что нам было даже страшно дотрагиваться до них. Бабушка же смело взяла листик, завернула в него яйцо, замотала ниткой и, придерживая за хохолок, опустила в кружку с кипятком, добавив в нее

что-то из бутылки. На балконе остро запахло уксусом. Затаив дыхание, заглядывали мы в кружку, ожидая обещанного бабушкой чуда. Но сколько мы ни смотрели, никакого чуда в кружке не происходило. А бабушка, глядя на наши вытянувшиеся от разочарования лица, почему-то улыбалась. Она-то знала, что чудо будет, и не торопилась нас успокаивать.

Но вот бабушка взяла яйцо за хохолок, вынула его из кружки и развернула. Из невзрачного листика выкатилось такое нарядное яичко, что мы только рты пораскрывали.

– Ну, как? Нравится? – спросила бабушка, смазывая чудо-яйца маслом. – У нас такие яички называют мраморными, а вот на Украине они зовутся писанками. И раскрашивают их девушки. На каждую писанку много труда и выдумки требуется. А у нас, видите, как все просто и быстро получилось.

Бабушка ушла, и из кухни вскоре запахло ванилью, кардамоном и еще чем-то необыкновенно праздничным. В раскрытые окна нам было видно, как мама, держа в руках поваренную книгу, с озабоченным видом готовила пасхи. На столе возле нее лежала груда яичной скорлупы.

К полудню дел поубавилось. Пасхи: простая творожная, заварная и шоколадная разложены по пасочницам, с вырезанными у них по бокам буквами «ХВ», и вынесены на погреб. Лишь бабушка все еще хлопотала возле куличей. Она устала, но ее лицо выражало полное удовлетворение. Тесто вышло на славу. В высоких формах куличницах стоит оно, накрытое белоснежным полотенцем, и ждет своей дальнейшей жаркой участи. Теперь у бабушки одна забота: не опоздать бы с выпечкой. Бегать по кухне и хлопать дверями бабушка нам не разрешает. Тесто может опасть, и тогда ее кулинарное искусство будет посрамлено навек. Она поминутно заглядывает в печь: красные угли должны лежать ров-

ным слоем, и бабушка внимательно следит, как бы не упустить жар. Милая бабушка! Раскрасневшееся ее лицо озабочено.

Ну, слава богу. Все благополучно закончено. Куличи лежат на подушке и отдыхают. Испечь таких красавцев – это тоже немалое искусство.

Впрочем, в кулинарном мастерстве бабушки сомневаться не приходилось. Надо было только видеть, да и попробовать изготовленные ею слойки с вареньем, чтобы окончательно убедиться в этом. Бабушкины слойки походили на пышные розы, настолько тонки и прозрачны были их лепестки. Пекла нам бабушка и сдобные орешки на сметане, которые мы предпочитали слойкам, и рассыпчатые лепешки на пахтанье. В те годы мы не умели ценить бабушкиных изделий и порой даже сердились, когда она слишком настойчиво предлагала их нам.

– Дети, – говорила бабушка, – что ж вы слойки не едите? Ешьте, пока есть. Смотрите, придет время, и ржаной корочке будете рады, да взять ее будет негде.

– Слойки, слойки. Надоели твои слойки, – непочтительно отзывались неблагодарные дети и, откромсав на кухне по куску ржаного хлеба, убежали во двор.

Таскать куски нам строго воспрещалось. Но что может быть вкуснее свежесдобленного на поду душистого хлеба, съеденного притом, не отрываясь от игры?

Когда мама заставляла нас возле каравая, она тотчас отбирала нож.

– Сколько раз вам было сказано, чтоб не смели бегать с кусками. Перебьете аппетит, а обедать за вас кто будет? – сердито выговаривала она.

Как водится, ни одно поместье не обходилось без собак. Держали собак и в Юлово, хотя они и не отличались породностью. Одна помогала пасти скот, другая сопровождала ночного сторожа в его походах, еще две

сидели на цепи и от безделья и скуки нещадно драли наши одежды, когда нам приходила фантазия поиграть с ними. Были еще и охотничьи собаки Леди и Ворон, принадлежавшие папе. Но эти жили на привилегированном положении и питались остатками с нашего стола. Вот для этих собак и выпекался специальный хлеб с большой примесью отрубей и с малой толикой соли. Но ни то, ни другое нас не смущало.

Чтобы избежать лишних объяснений с мамой, мы и приладились добывать, когда нам этого хотелось, запрещенные куски на чердаке. Да, да, на чердаке, где жили и пряли свои предательские сети толстые пауки, где в безнадежной тоске зывали о помощи попавшие в сети мухи и где в старой кадке хранился выпеченный для собак хлеб, прикрытый мешковиной. Пользуясь полной бесконтрольностью, мы и лакомились этим хлебом, когда и сколько нам этого хотелось.

Мама, недоумевая, вопрошала: «Что случилось? Почему дети ничего не едят? Неужели малокровие?». И посылала на Инзу за новой порцией гематогена. Со всем иначе выражала свое неудовольствие бабушка.

– С этими собаками только мышей на чердаке разводить, – ворчала она. – Опять на хлебе все корки обглодали.

Так и продолжались бы наши набеги на чердачный хлеб, если бы однажды не застала нас бабушка на месте преступления. Мы приуныли. Неминуемая гроза нависла над нашими головами. Но прошел день, другой, грозы все не было, и мы успокоились. И когда снова пришел аппетит на вкусные корки, отправились на фуражировку по старому адресу. Но, увы... Нас постигло великое разочарование: на дверях чердака висел здоровенный замок.

Однако пора вернуться и к пасхальной неделе.

На этот раз, после наших долгих приставаний и слезливых упрашиваний, мама, наконец, согласилась взять нас к заутрене.

Со дня отъезда из Дубно волосы наши значительно подросли, и мама даже ухитрилась накрутить их на папильотки. Папильотки уморительно торчали во все стороны, и мы, забавляясь ими, долго крутились перед зеркалом. Но не век же можно любоваться какими-то торчавшими торчком рожками и, когда они нам надоели, мы показали им язык. Головы с рожками сделали то же. В ответ мы соорудили по недовольной гримасе. За гримасой появились рожи. И пошло. Превратившись в истых дикарей, мы строили рожу за рожей, с громким хохотом старались перещеголять друг друга. В какие только отвратительные маски не превращала я свое лицо. Нина давно уже вышла из игры и с восхищением смотрела на мое кривлянье. Наконец, не выдержала, взвизгнула и повалилась на кровать, дергая руками и ногами.

На шум вошла бабушка и, застав меня перед зеркалом, укоризненно покачала головой.

– И не стыдно так кривляться? – с огорчением проговорила она. – Святая неделя доходит, к заутрене собираетесь, а бога гневите в такой-то день. Погодите, накажет он вас за такие художества, и останетесь навечно кривыми да косоротыми.

Остаться кривой и косоротой в мои расчеты не входило, кривлянье и смех как рукой сняло. И как раз вовремя. В детскую вошла мама. Она принесла наши белые наглаженные платья и, повесив их на спинку стула, вышла. Платья были все те же, в которых нас снимали еще в Дубно. На фотографии Нина получилась страшно недовольной, а я какой-то пришибленной. И вот почему.

Прежде чем снять, нас долго мучили, заставляя то сесть, то встать. Требовали, чтобы кроме своих люби-

мых кукол Наташи и Зины, мы держали еще и Бориску. А он как раз пребывал в отличном настроении и не хотел сидеть спокойно. Ему хотелось прыгать, он вырывался из наших слабых рук, и нам было не под силу справиться с ним. Под конец мама начала сердиться, а мы, вконец задерганные, совсем уж было собрались зареветь, как папе пришла великолепная мысль, вмиг разрядившая сгустившуюся было атмосферу. Он присел позади Борискиного кресла и за рубашку держал его в повиновении до тех пор, пока фотограф не сказал «готово». Вот так нас и сняли.

Чтобы за заутреней не дремалось, нас уложили спать сразу после ужина. Но страх, что спящих нас обязательно забудут, не давал уснуть. Мы долго ворочались, шептались, договариваясь спать по очереди, и не заметили, как уснули.

Разбудила нас бабушка.

– Вставайте, греховодницы, – тормошила нас она. – Скоро к заутрене зазвонят, а вас не добудиться.

Мы вскочили. Сна как не бывало. Мама и бабушка были уже одеты. Мама в воздушной шелковой блузке, с пышными буфами на плечах, и белой шерстяной юбке выглядела настоящей царевной-недотрогой. Не менее авантажной нашли мы и бабушку в ее черном кашемировом платье, надеваемом ею лишь по особо торжественным дням. Черный цвет очень шел бабушке, оттеняя ее и без того черные глаза и темные с проседью волосы, отчего бабушка становилась как бы моложе и еще красивее.

Снимая папильотки, мама больно дергала нас за волосы. Но мы готовы были терпеть и не такие еще муки, лишь бы мама не передумала и не оставила нас дома. Наконец, к общему благополучию, с прическами покончено, вместо рогатых папильоток – симпатичные завитушки, подхваченные бантом. Мы с интересом огляделись и решили, что получилось совсем уж не так

плохо. Как всякой женщине, кокетство не было чуждо и нам.

К огорчению мамы, с платьями получилось далеко не так благополучно, как с прическами. За зиму мы подросли, и наши парадные платья стали нам узки. Стоило неосторожно повести плечами, как кнопки у ворота расстегивались. Заниматься переделкой было уже поздно, и мама ограничилась лишь тем, что посоветовала нам стоять у заутрени спокойно и не вертеться.

В ожидании одевавшегося папы, мы заглянули в столовую. Стол был уже раздвинут и накрыт белой скатертью (в обычные дни на нем лежала клеенка). Приборы и красиво приготовленные закуски расставлены. На середине стола, как какое-то чудо искусства, возвышался самый большой бабушкин кулич, смазанный белой глазурью и посыпанный мелким, как пшено, разноцветным драже. Не были забыты и крашенные нами яички. Разложенные на блюде среди зеленой щетинки овса, выращенного бабушкой специально для этой цели, они придавали необыкновенную нарядность праздничному столу.

Уже был подан экипаж, а папа все еще возился со своим новым галстуком. И когда, наконец, с помощью мамы галстук был приведен в повиновение, папа, чуточку смущенный своим великолепным видом, вошел в столовую, где мы его поджидали. Наконец-то все в сборе – можно и отправляться.

От дома до церкви можно было вполне дойти пешком. Но по случаю большого праздника все же решили воспользоваться экипажем. Так было и солиднее, и торжественнее. Кроме того, мама боялась, чтобы мы не промочили ног, попав в потемках в одну из многочисленных, все еще не просохших луж.

Итак, старшие заняли в коляске места, мы примостились у них на коленях, кучер, в новой поддевке, в круглой шапочке с пером, разобрал вожжи, и мы покатались.

Нам еще не доводилось бывать в ночное время вне дома. Немудрено, что эта пасхальная ночь, напоенная весенними ароматами; и небольшая церковь, воздвигнутая князьями Оболенскими еще в прошлом столетии; и невиданное скопление телег и повозок возле нее; и множество людей, прибывших к заутрене, произвели на нас огромное впечатление.

Мы вошли в ярко освещенную церковь, прошли к левому клиросу и заняли места, принадлежавшие испокон веку владельцам имения. Принадлежавший им коврик по-прежнему лежал на полу, стоял и стул, что дозволялось церковным обычаем далеко не всем. Раздевая нас, мама заметила расстегнутую на моем платье кнопку. И только закончив процедуру раздевания, она наклонилась и застегнула кнопку. Кнопка щелкнула, и тут же позади нас раздался приглушенный смех и перешептывание. Я вспыхнула.

Мама строго оглянулась, и все смолкло. Но мое восторженное настроение было уже испорчено.

– Если у самих в головах нечисто, то думают, что и у меня так. Знали бы кнопки, не хихикали бы, – едва сдерживаясь, чтобы не зареветь, с обидой размышляла я.

А служба, тем временем, шла своим порядком, и я мало-помалу стала забывать о своих неприятностях. И забыла о них совершенно, когда вокруг церкви пошел крестный ход.

По окончании заутрени бывшие в церкви крестьяне начали подходить к нам поздравлять со светлым Христовым воскресением. Прежде чем похристосоваться, мужчины степенно оглаживали свои бороды, а женщины вытирали губы аккуратными сложенными платочками.

Мама не любила обряда христосования, и нам случалось слышать, как она говорила: «Что за нелепость целоваться с малознакомыми людьми. Кто знает, не больны ли они, или, возможно, кто-нибудь болен у них дома». И, чтобы уберечь нас от возможного заражения, она поспешно одела нас, выдворила из церкви, усадила в коляску и в ожидании папы и бабушки села и сама. Вскоре подошли папа и бабушка, и мы все вместе вернулись домой.

Христосуясь с родителями и бабушкой, мы подарили им по самому хорошенькому, заранее припрятанному, мраморному яичку. И были счастливы услышать похвалу нашим подаркам. От родителей мы получили по большому яйцу с сюрпризом. Бабушка подарила нам по такому же большому сахарному яйцу. Через небольшое отверстие внутри яйца были видны сахарные ясли и белые сахарные барашки. Вытянув шею, они заглядывали в ясли, где лежала крохотная сахарная куколка. Бабушка сказала, что это совсем не кукла, а младенец Иисус.

К большому удовольствию оставшейся с Бориской Мотри, ей подарили ситец на платье и розовое яйцо. Только яйцо было из туалетного мыла.

Когда подарки были розданы, все сели за стол разговляться, хотя кроме бабушки у нас в семье никто не постничал. После жирного разговенья бабушка наутро заболела. Папа возмущался:

– Не понимаю, для чего это вам понадобилось поститься. Вы у нас, Вера Ивановна, и без постов самая праведная. Вот проболеее все праздники, и кому от этого радость? Хватит, на следующий год сам послежу, чтобы вы не думали поститься.

Но пришел следующий год, и все осталось по-прежнему.

Как только лучи весеннего солнца, пробившись сквозь нежную зелень деревьев, заиграли и запрывали

по нашим подушкам, мы сразу проснулись. Как мы долго спали! А еще просились вообще не ложиться, чтобы не потерять ни одной минуты этого необыкновенно ясного дня. Скорее одеваться!

Папа с мамой принимали в столовой пришедших с поздравлением священника и дьякона. Отслужив короткий молебен, они с нескрываемым вождением сели за стол, и, перекрестившись широким крестом, придвинули тарелки и занялись едой. Похваливая и покрывая после каждой выпитой рюмки, они добросовестно уничтожали все подряд, чем бы их не потчевали. А мы, приоткрыв дверь, с удивлением наблюдали, как быстро исчезают у них с тарелок и куски кулича, и пасхи.

Бабушки в столовой не было. После ночного разговора она все еще была нездорова и, чтобы не мешаться, отлеживалась в папином кабинете, куда в праздничные дни редко кто заходил.

Вслед за священником потянулись с поздравлениями служащие поместья и крестьяне, почему-либо не сумевшие своевременно поздравить «Лянея Петровича» и «матушку-барыню» с праздником. Христосуясь с папой, они с поклоном вручали ему по окрашенному луковой шелухой коричневому яйцу. Папа, в свою очередь, одаривал их крашеным яйцом, для чего на столе стояла большая миска, полная наших разноцветных изделий. Затем все во главе с папой выходили на балкон, где был накрыт специальный стол с вином и закусками. Выпив стаканчик и закусив, поздравители низко кланялись, и со словами «премного благодарен» степенно уходили.

На смену им уже шли новые. Для праздника вместо повседневных посконных рубах на всех были новые, ситцевые, а на тех, кто побогаче, даже сатиновые. Самотканые полосатые портки заменили черные моле-

скиновые. Волосы у всех были обильно смазаны маслом и приглажены.

С каждым новым посетителем папе пришлось чокнуться и для приличия глоточек выпить. К концу приема заболел и папа. Он, как-то боком, смущенно проскользнул к себе в кабинет, и бабушке пришлось перебраться к нам в детскую на свою кровать. Мама не замедлила принести нашатырный спирт, и, как папа не брыкался, ему все же пришлось его выпить.

Наша пасхальная неделя началась совсем иначе. В обычные дни нам запрещалось общаться с крестьянскими ребятишками. На просьбы поиграть с ними мама, отказывая, говорила, что мы еще слишком малы, чтобы суметь отличить, что хорошо, а что плохо, и по глупости можем от них набраться всяких неприличностей. По случаю Пасхи запрет был снят.

Вскочив пораньше, мы наскоро выпили по чашке кофе (тут уж было не до завтрака) и со всех ног полетели за ворота, где на зазеленевшей лужайке крестьянская детвора уже катала яйца. Наши нарядные яички среди коричневых, крашенных луковой шелухой, выглядели слишком заманчиво, чтобы не вызвать у ребят желания завладеть ими. При нашем появлении игра сделалась особенно шумной. Всех охватил настоящий азарт. Все только и делали, что били по нашим яичкам. И когда это удавалось, счастливец коршуном налетал на добычу и, не чуя ног от радости, мчался домой. Позднее мы узнали, что выигранные у нас яички подвешивались в виде украшения в переднем углу под образами, где они и висели в течение целого года.

Но не всегда наше участие в пасхальной игре заканчивалось благополучно. Бывали и огорчения, и даже тайные слезы, когда какой-нибудь сорванец, отчаявшись заполучить удачу честным путем, без всяких правил хватал с кона наши яички и давал такого стрекача, что нечего было и думать преследовать его. Перемах-

нув через плетень, похититель скрывался, а мы, надутые и разобиженные подобной несправедливостью, уходили домой.

САД

Как только стаял снег, и немного подсохло, наш изученный вдоль и поперек небольшой садик стал нам тесен, и мы все чаще и чаще стали убегать в большой сад-парк, окружавший княжеский дом. Словно на круглом блюде, стоял он посреди залитой солнцем площадки, посыпанной необыкновенно желтым песком. Как площадка, так и разбегавшиеся от нее веером дорожки были обсажены, как нам показалось, какими-то ужасными кустами, доставившими нам при первом знакомстве массу огорчений своими колючками, пока мы не научились остерегаться их.

И все же для нас, городских жительниц, как в саду, так и в расположенном за ним парке, всегда находилось много нового, неожиданно привлекательного.

То серая, неприглядная поляна перед домом, не успев освободиться от снега, превратилась в ярко-зеленую лужайку; то на враждующих с нами кустах посреди колючек вдруг набухли туго скрученные бутоны. И не успели мы сообразить, что это такое, как вместо бутонов на кустах закачались распустившиеся розы. С каждым днем роз становилось все больше и, словно по волшебству, прежняя лужайка превратилась в пышный ковер с пестрой каймой роз.

Привлеченные яркостью цветов, в саду появились необыкновенные жуки в золотисто-зеленых фраках. Пулей неслись они к млеющим под солнцем розам, нетерпеливо тыкались в них носом и разочарованно отлетали.

– Что им не нравится? – не раз задавались мы вопросом, и, не найдя ответа, поймали нескольких жуков и отправились к папе за разъяснением.

– Так что вас интересует? – спросил папа, заглянув в наши ладошки, и, узнав, что нас интересуют жуки, пожал плечами. – Что же тут интересного? Обыкновенные навозные жуки.

– Навозные? – раскрыв рты от удивления, переглянулись мы.

– Тогда почему они такие красивые? – недоверчиво пробормотала Нина.

– А почему они не сидят в навозе, а вьются над розами? – присоединилась к Нине я.

– Потому что их привлекают сильные запахи. Будь то запах роз или навоза – им безразлично. Обследуют цветок, поймут, что он для их потомства не подходит, и улетают. Только и всего. А вот брать их в руки не следует, – наставительно заметил папа. – Посмотрите, сколько на них паразитов.

Мы посмотрели. Паразитов, действительно, было много. Мелкие, как манная крупа, они суетливо копошились на жуках.

С того дня красота жуков нас больше не интересовала.

Вслед за жуками появились стрекозы. Трепеща перламутровыми крылышками, они повисали над цветком, как бы примеряясь, куда поудобнее опуститься, и вдруг, резко метнувшись в сторону, молниеносно исчезали. Поймать стрекозу редко удавалось. Они были куда проворнее наших рук, вооруженных сачками.

За розами густой стеной стояла сирень, а дальше начинался тенистый парк. Расчищенные когда-то аллеи парка заросли травой и кустарником. А деревья разрослись так сильно, что их кроны перепутались, образовав тенистые коридоры, где можно было надежно укрыться

как от зноя, так и от внезапно налетевшего грозового дождя.

С раннего утра в парке стоял гомон множества птичьих голосов, а вечером, когда неугомонное население парка наконец замолкало, в свои права вступали соловьи. В эти часы мама любила посидеть в одиночестве на своей любимой скамейке под сиренью, слушая их пение. В эти минуты мы не смели нарушать ее уединение.

Мы любили ее и относились к ней с большим уважением, несмотря на ее строгости и нетерпение в отношении нас. И не было для нас большего удовольствия, как ранней весной принести ей первый из первых расцветших подснежников. Или букетик из скромных фиалок – любимых мамой цветов с тонким, нежным ароматом. И не было у нас большей радости, как удивить или порадовать маму. К сожалению, она не всегда понимала порывы наших детских душ и не всегда откликалась на них.

Однажды в глухом, тенистом уголке парка среди зарослей папоротника нашли мы ежика. Он был еще совсем деткой-ежиком, но колючки на его спине уже грозно топорщились, а черные глазки-бусинки беспокойно и недоверчиво поглядывали на нас. Такая находка! Живого ежика мы видели впервые. Для нас он явился настоящим лесным чудом. Как же было не показать его маме? Мы ходили вокруг зверька и не знали, с какой стороны к нему подступиться. С какой стороны мы не пытались взять его, ежик упрямо топорщил нам навстречу свои колючки. И мы поспешно отдергивали руки.

Потеряв всякую надежду завладеть находкой, мы уже готовы были от нее отступить, как на наши возбужденные голоса прибежала наша единственная подружка Ольга Юртаева, дочь служащего имения. Сдер-

нув с моей головы панамку, она ловко закатила в нее палкой ежика и победоносно посмотрела на нас

– Эх вы... Так надо ловить ежей, – авторитетно заявила она.

Теперь встал вопрос, кому нести его к маме. Мы поспорили, я уже собиралась заплакать, как Нина мудро разрешила наш спор.

– Давай, понесем его вместе, – предложила она.

Я с радостью согласилась, и, взявшись за панамку с двух сторон, мы весело побежали к дому. К нашему огорчению мама не выказала большого удовольствия при виде нашей находки. Совсем даже наоборот. Она лишь разрешила нам напоить его из блюдца молоком, после чего потребовала, чтобы мы снова отнесли его в парк и выпустили на том же месте, где он был нами пойман.

– У него есть мать, ежиха, – сказала мама, – Она будет искать ежика и беспокоиться. Ведь ежик совсем еще маленький, и ему без нее будет плохо.

Приказ мамы выпустить ежа нас огорчил. Но решение напоить его молоком, в какой-то степени, сгладило наше огорчение. И мы побежали к бабушке. Бабушка налила в кошкино блюдце молока, и мы поспешили обратно. Ежик, не ожидая для себя ничего хорошего, неподвижно лежал среди комнаты, свернувшись клубочком. Поставив возле него блюдце, мы уселись подле и стали ждать, когда он начнет пить молоко. Вдруг ежик пошевелился, и из-под колючек выглянул черный крохотный носик пяточком. Принюхиваясь, носик задвигался так забавно, что мы захихикали и завозились. Ежик испугался и снова превратился в комочек. Мама посоветовала нам отойти подальше и не шуметь. Зверек снова зашевелился и, не обнаружив нас, быстро развернулся и покатил к двери балкона. По дороге он наткнулся на блюдце, молоко разлилось, и от мокрых лапок ежика потянулась цепочка молочных следов. Ко-

гда он, было, приготовился перевалиться через порог, перед ним возник большой шершавый нос. Ежик недовольно фыркнул. Незнакомый запах испугал его. Это была Леди. Она издали наблюдала за зверьком и теперь решила познакомиться с ним поближе. Ежик в испуге снова свернулся клубком и, не удержавшись на узком пороге, скатился в комнату. Мамин окрик остановил собаку.

Тогда мама принесла коробку и, уложив в нее ежика, тоном, не допускающим возражений, приказала нам немедленно отнести его обратно в парк.

Вечером, когда мы были уже в кроватках, пришла мама. Она присела возле нас и рассказала о пользе, которую приносят ежи. «Питаются они, – говорила мама, – всякими вредными насекомыми: улитками, червями, а также мышами и даже смело вступают в бой с крысами. Поэтому в помещении, где водятся эти отвратительные твари, некоторые поселяют ежей. Вообще-то в комнатах их держать не следует. Стоит им некоторое время побыть в закрытом помещении, как в нем начинает дурно пахнуть. И знаете, дети, – продолжала свой рассказ мама, - ежи поедают также и змей. Даже и самых ядовитых. Колючки ежа служат ему хорошей защитой от укуса. Если змея заметит ежа, она постарается поскорее убраться по добру по здорову. Но это ей редко удается. Еж проворнее, и он ее легко настигает. Видите, какие это полезные зверьки. Никогда не обижайте их и не мешайте заниматься их ежовыми делами. А теперь спать». Перекрестив нас, мама вышла и прикрыла за собой дверь.

Всю зиму княжеский двор стоял с крепко запертыми дверями и с наглухо закрытыми ставнями.

С наступлением тепла ставни открыли, но окна, закрытые белыми полотняными занавесями, оставались

закрытыми и выглядели безжизненными, точно глаза слепца, затянутые бельмами.

Вскарабкавшись на фундамент дома, тщетно пытались мы заглянуть в таинственное помещение, но все попытки разглядеть что-либо были напрасны. Зато большая терраса, закрытая лишь с трех сторон, была всецело в нашем распоряжении. Две из трех сторон террасы были застеклены разноцветными стеклами. Прижав носы к стеклам, мы подолгу рассматривали сад со всеми его дорожками, цветами и лужайками. И каждое стеклышко делало окружающий нас мир совсем иным, чем мы привыкли его видеть.

Желтые – усиливали блеск солнечного дня, заливая золотом песчаные дорожки. Синие – переносили нас от яркого золотого света в волшебный полумрак, в котором желтые розы становились зелеными, а зеленая трава совершенно темной. Каждое цветное стеклышко создавало свой особый мир, и это было так увлекательно, что мы забывали про остальные игры.

Залитая горячим солнцем терраса, розы, опьяненные собственным ароматом, и тенистый парк, наполненный разноголосым пением птиц, вспоминаются мне с такой яркостью, как если бы я только что вышла из заколдованного мира своего детства.

Наш скромный дом управляющего находился неподалеку от княжеского дома с его садом и парком. Перед домом зеленела ровная лужайка, на которой мы с ребятами в пасхальные дни катали яйца. Лужайка эта делила Юлово на две половины: нагорную, где был наш дом и церковь, и низовую – под горой.

Стоило нам перебежать дорогу, как мы оказывались в заповедном саду. Садовник, и он же огородник, по распоряжению папы не препятствовал нашему вторжению. Из остальных ребят доступ в сад вместе с нами имела только дочка конторщика Юртаева, моя тезка Ольга. Мать Ольги, худая, высокая и подслепова-

тая женщина, была настолько близорука, что, даже воткнувшись носом в волосы дочери, не замечала упущений в уходе за ее головой. Из-за чего нашей маме приходилось особенно тщательно следить за нашими волосами. Она сердилась, запрещала нам дружить с Ольгой, но все ее запреты были напрасны. Других подруг для нас не находилось, и Ольга оставалась нашей единственной, к тому же, необыкновенно покладистой и верной подружкой. Семья конторщика занимала помещение под одной крышей с конторой, и нам было просто невозможно не забежать за ней, особенно, когда у нас намечалось какое-либо мероприятие. Всем известно, что чем больше людей участвует в игре, тем игра интереснее и веселее.

При нашем появлении мать Ольги приветливо встречала нас, называя ласкательно «касатками». Она торопливо приглаживала свою дочку, надевала ей чистое платье и, только проделав все это, отпускала ее с нами.

Мы, городские жительницы, многого не знали и не понимали в деревенской жизни. Ольга, выросшая в сельской местности, с видом превосходства просвещала нас. И если б мама слышала ее поучения и толкования скрытых от нас таинств природы и жизни, даже невозможно представить, сколько раз на день ей пришлось бы падать в обморок.

ЛЕС

Итак, в саду мы пропадали беспрепятственно. Сад и парк были огорожены, и родители всегда знали, где нас можно сыскать в нужную минуту.

Совсем иное дело было с лесом. Позади села начинался большой сосновый бор. Прямые, как свечи, сос-

ны высоко в небе зеленели мохнатыми вершинами, распространяя вокруг сильный хвойный запах. Под жаркими лучами летнего солнца длинные тени темными дорожками ложились меж стволов сосен. Зноем и смоляным духом веяло от сухой опавшей хвои. За день она сильно нагревалась и вбирала в себя столько солнечного тепла, что даже за ночь не успевала остыть. Лежать на ней было непередаваемым наслаждением. Когда же налетал ветер – предвестник грозы – сосны беспокойно и суматошно раскачивали вершинами. Внизу под деревьями ветер не ощущался, но тревожный шум, идущий сверху, заранее предупреждал о надвигающейся грозе. Под напором все усиливающегося ветра сосны жалобно скрипели, а то грозно гудели, сталкиваясь ветвями. С громким треском падали на землю сухие сучья. Лес наполнялся гулом и тяжкими вздохами.

Притихшие, сидели мы на крылечке, вслушиваясь в стоны и жалобы леса. Бабушка торопливо закрывала окна и затыкала самоварную отдушину, а самовар накрывала. Бабушка была убеждена, что медь притягивает молнию. И только уж после того, как все предохранительные меры были ею приняты, она выходила на крыльцо и уводила нас домой.

Если папа бывал дома, он вступал с бабушкой в спор.

– Напрасно вы так делаете, – недовольно говорил он. – Дети не должны бояться явлений природы. Пусть растут смелыми. А ну, дети, пошли!

Он забирал нас и выводил на балкон. Ветер с яростью набрасывался на нас: завихривал волосы, трепал платяшки и так забивал легкие, что становилось трудно дышать.

– Смелее, – говорил папа, – грома бояться не следует. Если молния блеснула и не причинила вреда – гром вреда не причинит. Прогремит, сколько ему по-

ложено, и смолкнет. Без молнии и грома не бывает. Смотрите, дети, красота-то какая! Сила-то какая! – восторгался папа.

Тучи клубились, напоззали одна на другую, их прорезали частые молнии. Оглушительный гром грохотал над нами, сотрясая дом. Стекла балконной двери откликались ему жалобным звоном. При особенно сильном ударе, когда казалось, что все небо раскалывается на куски, мы в испуге хватались за папу и крепко зажмуривали глаза. Папа смеялся, а иногда и сердился. Он настойчиво приучал нас к грозе и добился, что мы перестали бояться небесной канонады. Научил нас папа определять и расстояние, на котором от нас бушевала гроза.

Только мама, истая горожанка, так и не смогла побороть страха перед грозой. На все папины уговоры выйти с нами на балкон, мама отмахивалась обеими руками и, ткнувшись на кровать, прятала голову под подушку. Папа смеялся:

– Ты, Аля, словно страус, прячешь голову.

– Ах, оставь меня, пожалуйста, – отмахивалась мама и глубже зарывалась в подушки.

В этот сосновый бор, то такой тихий и приветливый, то тревожный и грозный, ходить одним нам было строго запрещено. Среди сосен, неподалеку от нашего дома, стоял рубленый двухэтажный дом. Желтые его стены сочились янтарной смолой. И нам казалось, что дому одному скучно, и он плачет. Никто в доме не жил, и никто не знал, с какой целью он был построен. И дом одиноко блестел среди сосен своими многочисленными окнами. Лишь красные букашки с черными крестами на спине во множестве выползали из-под дома, красной каймой рассаживались вдоль фундамента, греясь на припеке.

Когда папе приходила в голову фантазия помузыцировать, он вооружался кларнетом и уединялся в новом

доме, потому что мама не выносила папиных музыкальных экзерсисов. У бедного музыканта совсем не было слуха. Из открытых окон второго этажа неслись такие резкие, а порой и фальшивые звуки, что даже красные букашки приходили в волнение и в беспокойстве шевелили черными усиками, как бы спрашивая друг друга, что происходит, почему так расшумелся всегда такой спокойный дом. Капризный инструмент не хотел подчиняться музыканту, и успехов в игре не наблюдалось. Только нас папины музыкальные занятия не смущали. В музыке мы не разбирались. Главным было то, что играл папа, и это нас вполне удовлетворяло. Надудевшись и насвистевшись в полное свое удовольствие, папа выходил из убежища в прекрасном настроении. Мы пользовались этим и упрашивали его пойти с нами в лес.

Прогулки, возглавляемые папой, были для нас настоящим праздником. Ведь не было вопроса, а задавали мы их множество, на которые бы он не ответил. А для нас, повторяю, городских детей, было все ново и увлекательно.

Обладая какой-то непостижимой памятью, папа быстро и легко запоминал все, о чем читал, и с чем ему приходилось сталкиваться как в работе, так и в жизни. Он даже помнил все, что проходил в школе и в сельскохозяйственном училище. У него была не голова, а настоящая справочная книга, поражавшая нас не только в детские годы, но и в старшем возрасте.

Когда мы приезжали на каникулы, папа любил нам устраивать экзамены и, к его великому огорчению, он своими познаниями загонял нас в тупик.

– И чему вас только учат, – говорил папа, – ничего-то вы не знаете.

Но были и у нас против папы два козыря, о которых расскажу позднее.

Немудрено, что прогулки с папой являлись для нас настоящим откровением. Он знал названия всех цветов и трав, не говоря уж о деревьях, кустарниках и злаках. Знал всех птиц и пичужек и безошибочно узнавал их по голосам. Умел находить гнезда и в кустах, и на земле. Показывал нам лежащие в них яички, рассказывал, кому они принадлежат, у кого какие повадки. Но никогда не разрешал дотрагиваться до гнезд. На все наши просьбы дать нам одно-единственное пестрое яичко, всегда отвечал отказом.

– Величайшая, отвратительная жестокость – разорять птичьи гнезда, – говорил при этом папа.

Природа для папы была открытой книгой, читать которую учил он и нас. И хотя папа всегда был занят и не имел, в силу этого, возможности часто уделять нам внимание, все же, благодаря ему, от случая к случаю, мы изучили лес со всеми его тайнами так же хорошо, как наш садик возле дома. Только тогда мы стали свободно пропадать в лесу по целым дням. И никому больше не приходило в голову беспокоиться за нас. Лес стал нашим вторым родным домом.

ПЕРВОЕ ГОРЕ

Жизнь моей необыкновенной золотой чашки оказалась недолгой, а конец – печальным.

Мы сидели на балконе и пили вечерний чай. Бориска, большей частью, в это время уже спал. На этот раз он долго капризничал, плакал и от слез и бессонницы окончательно раскис. Чтобы его немножко обдуло и успокоило, мама разрешила вынести его на балкон.

Обычно братишку кормили отдельно. Нянька сажала его на колени, иначе удержать его на месте было не-

возможно, ставила тарелку на перила балкона и начала кормить.

– Кушай, Боренька, кушай, – приговаривала она, – большой-пребольшой вырастешь. С супика да с каши, знаешь, какой сильный будешь. Всех поборешь.

Но розовощекий бутуз не хотел есть, не хотел расти и без всякого интереса относился к борьбе. Он крутил головой, размахивал руками, размазывал кашу и кисель по щекам и нередко, изловчившись, отправлял тарелку с перил балкона вниз на землю. Совершив свое злое дело, он перегибался через перила и с интересом заглядывал вниз, где лежали осколки тарелки с остатками его обеда.

Ахнув, нянька принималась журить Бориску.

– Что же ты, проказник, наделал. Мамаша сердятся и накажут нас с тобой.

Братишка надувал губы и, состроив плаксивую рожицу, жаловался:

– Мама, она меня югает.

– Как же она тебя югает? – спрашивала мама.

– Едак, – отвечал Бориска и глубоко вздыхал.

– Едак? – смеялась мама. – Да за что же это тебя ругают, проказник ты мой?

В ответ братишка лишь плутовато поглядывал своими огромными, синими, как вечернее небо, глазами. На голове у него не менее плутовато завивался золотой вихорок.

Кончились Борискины забавы тем, что ему купили эмалированные тарелки и чашку. Теперь страдал один обед, тарелки оставались целыми, и это для братишки было уже неинтересно.

Как только Бориска появился на балконе, он потребовал, чтобы его посадили вместе со всеми за стол. На этот раз мама отступила, и он оказался рядом со мной.

Над столом горела большая керосиновая лампа под розовым абажуром. Как это всегда бывает, на огонь

слетелось множество ночных мотыльков и бабочек. Они кружились вокруг лампы и, обжигая крылья над огнем, падали на стол, попадая то в молочник, то в вазочки с вареньем. Большая мохнатая бабочка долго кружилась над столом. Бориска с интересом наблюдал за ней и даже пытался поймать, но бабочка каждый раз увертывалась от его ручонок и, как нарочно, крутилась у меня перед глазами.

Бабушка разлила чай и, когда очередь дошла до меня, передала мне мою заветную золотую чашку. В этот момент снова появилась бабочка. Бориска засмеялся, взмахнул руками, и чашка полетела со стола. Я закричала, попыталась поймать ее, но не успела. Все произошло слишком быстро и неожиданно. Обварив мне руки, чашка упала на пол и разлетелась на мелкие осколки. Я уже не помню, кто из нас заплакал горше: я или виновник катастрофы.

Так окончилось существование моей мечты – золотой чашки.

Сейчас мне много лет, жизнь подходит к концу, но, если б я встретила где-нибудь золотую чашку, я непременно купила бы ее в память о моей недолгой радости и настоящем детском горе.

ДЯДЯ ВИТАЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Однажды утром, выйдя на балкон, где в хорошую погоду было заведено у нас пить утренний кофе, мы увидели незнакомого молодого человека с впалыми от худобы щеками. Вышитая белая косоворотка, свежая и хорошо выглаженная, была ему очень к лицу. Тонкую талию опоясывал кавказский чеканный пояс.

Мама весело разговаривала с ним. По их оживленным лицам было видно, что разговор им приятен. Папы

не было. Как и обычно, он разъезжал по своим хозяйственным делам.

Заметив наше замешательство при виде незнакомого человека, мама подозвала нас и представила гостю.

– Вот, познакомьтесь, – улыбаясь сказала она. – Старшая – Нина, средняя – Оля, а это – Бориска. Пока в семье самый младший. А это, дети, папин брат Виталий Петрович – ваш дядя.

– Почему так официально, – засмеялся новый дядя. – Зовите меня просто дядя Витя, так удобнее для вас и приятнее для меня.

Тут новый дядя сгреб нас в охапку и притиснул к себе. Знакомство состоялось.

– А теперь быстро завтракать и пойдём гулять. Но первое время вам придется быть моими гидами и познакомить меня со всеми чудесами здешних мест, – весело сказал он.

С того дня дядя Витя повел себя так просто, как если бы был давным-давно знаком и с взрослыми, и с нами.

Во время завтрака вернулся папа и совсем не удивился, увидев брата. Видимо, дядя Витя приехал ночью и уже успел и отдохнуть, и привести себя в порядок, и поговорить с папой.

С приездом Виталия Петровича жизнь наша потекла по иному руслу. Если раньше нам лишь изредка удавалось заманить папу в лес с нами, то с появлением дяди Вити надобность в этом совершенно отпала. Дядя Витя оказался большим любителем и ценителем природы. Он охотно бродил с нами по лесу, где каждая полянка, каждая, освещенная солнцем лесная опушка, занимали его воображение. Он мог подолгу любоваться какой-нибудь стройной елочкой, молодой березкой или каким-нибудь редкостным лесным цветком. Только я замечала, что лицо его при этом часто становилось задумчивым и грустным.

Возвращаясь домой, мы шли то полем, где набирали васильков; то лугами, где дядя Витя любил полежать на мягкой траве и посмотреть на белые облака, плывущие в голубом просторе, в то время как мы собирали цветы. Целыми охапками приносили мы их из своих походов. Немудрено, что на всех столах и подоконниках томились букеты, собранные нами для дяди Вити. За короткое время он прочно вошел в нашу жизнь и стал нашим настоящим другом и любимым человеком.

Теперь я должна немного отвлечься, чтобы рассказать о своей привязанности к дяде Вите особо.

Я уже писала, что Виталий Петрович был подвержен и задумчивости, и грусти. Случалось, что в разгар веселой возни с нами, он без видимой причины замыкался в себе, и лицо его тогда становилось печальным.

В детстве я была слабым, не в меру впечатлительным ребенком. И каждая смена настроений дяди Вити болезненно отзывалась и на мне. Осознать, почему это так происходит, в свои четыре с небольшим года я, конечно, не могла. Вдаваться в размышления – не умела, и единственно чем я располагала, чтобы как-то облегчить свое душевное смятение и жалость, были слезы. И я начинала плакать.

– Что ты реवेशь? – недоумевала мама. – Что за бессмысленный рев? – говорила она часто, сердясь и расценивая мои слезы как обычное, порядком надоевшее всем, явление.

И никто ни разу не задался вопросом, почему у меня в те дни, когда у нас гостил Виталий Петрович, щеки сухими бывали не так уж часто.

– Плакса ты, – как-то заключила выведенная из терпения мама и перестала обращать на меня внимание.

Виталий Петрович также не любил слез. Мой, как ему казалось, беспричинный плач сердил его. Его не-

терпеливое ко мне отношение добавляло мне расстрой-ства, что не способствовало успокоению.

Стараясь доставить брату как можно больше удовольствий, доступных в деревне, папа устраивал поездки в дальние, незнакомые нам места. Сам папа из-за его постоянной занятости не мог сопутствовать нам. Он призывал кучера Михайло, о котором я расскажу позднее, и обстоятельно объяснял ему, в какой лес ему следует нас доставить. Получив задание, Михайло закладывал пару лошадей в линейку и подавал ее к крыльцу.

Линейка... Более несовершенного экипажа для езды по лесным дорогам было невозможно придумать. Сидя спиной друг к другу и упираясь ногами в подножки, взрослые и те с трудом удерживались на сиденье, когда колеса линейки то ныряли в глубокие колеи, то прыгали и тарахтели по оголенным корням деревьев, пересекавших дорогу. Наши же детские ноги до подножки не доставали и, чтобы не сползти с сиденья и как-то удержаться, нам приходилось почти безостановочно балансировать ногами, что было и трудно, и утомительно. К тому же, придорожная трава и колосья ржаного поля, через которое пролегала дорога, были густо смазаны дегтем и колесной мазью проезжавших телег и экипажей. Не успевали мы отъехать, как наши ноги оказывались перепачканными дегтем, и нам прибавлялась новая забота: сохранить чистыми хотя бы платья (деготь плохо отстирывался). Но другого, более подходящего для прогулок экипажа, не было, и приходилось мириться и с линейкой, и со всеми ее неудобствами.

Как только линейка съезжала со двора, начинались волнения для мамы.

– Тише, Михайло! Дети, да держитесь же вы хорошенько, – без конца напоминала она, забывая, что держаться, собственно говоря, было совершенно не за что.

С появлением в нашей семье дяди Вити все волнения прекратились. Усадив рядом с собой, он держал нас так крепко, что мы и думать забыли о своих прежних заботах. И как бы нас ни трясло, как бы ни подбрасывало, мы только весело хохотали.

Никогда не чувствовала я себя такой счастливой, как во время этих поездок до леса. Обратная дорога часто проходила несколько иначе, но об этом расскажу в свое время. Езду на лошадях я страстно любила, как любила и самих лошадей. Дядя Витя был рядом, чего же еще можно было желать. Но как только мы приезжали на место, моему благополучию приходил конец.

Соскочив с линейки и ссадив нас, дядя Витя шутиливо желал нам всяческих благ и углублялся в лес. Мама, всегда такая нетерпеливая в отношении нас, никогда не выражала ни малейшего недовольствия, если его прогулка затягивалась, и нам приходилось поджидать его.

Совсем иначе к отлучкам дяди Вити относилась я. Стоило ему скрыться за ближайшими кустами, как на меня нападала смертельная тоска. И в то время как мама и Нина с кузовками и кружками отправлялись собирать ягоды, я, отказавшись сопутствовать им, торчала возле лошадей, а мой хорошенький берестяной бурачок сиротливо валялся в траве неподалеку от своей разобиженной на весь белый свет хозяйки. Нина подходила ко мне, косилась на мой бурачок и, насмешливо пожав плечами, уходила. Это окончательно портило мое и без того кислое настроение, и я принималась плакать. Впрочем, не только обида на сестру являлась причиной моих слез. Уж если я начинала капризничать, то причин для слез отыскивалось множество: то мне было жарко; то ни с того ни с сего у меня вдруг заболел живот; то мне хотелось пить, а теплая вода меня не устраивала; то начинала хныкать, что меня закусали комары.

Кучер Михайло – крупный, бородатый и добрый по натуре человек – заводил лошадей от слепней в кусты, накрывал их густыми березовыми ветками и подходил ко мне.

– Никак плачешь? Кто ж это тебя так разобидел? – спрашивал он, и заскорузлой рукой, пахнувшей ременной сбруей и конским потом, вытирал мне мокрые щеки. – Ягодок не насобирила что ли? Так это мы с тобой мигом поправим. Ну-ка, бери бурачок, я тут неподалеку знатные ягодки приметил.

Я нехотя поднимала бурачок и плелась за Михайло. Бурачок был невелик, и Михайло быстро наполнял его.

– Вот и готово. Теперь можно и маменьке показать. Вот так на их голоса ты и иди, да гляди не упади, – говорил он, легонько подталкивая меня в спину.

Заплаканная и все еще надутая, еле переставляя ноги, направлялась я к маме. Но по дороге обязательно натыкалась на какой-нибудь пенек, притаившийся в густой траве, и падала. Бурачок отлетал в сторону, ягоды рассыпались. Сидя над пустым бурачком, я снова принималась плакать. И снова рядом со мной оказывался Михайло. Присев на корточки, терпеливо собирал он просыпанные ягоды, приговаривая:

– Вот ведь незадача-то какая получилась. Ты не реви, не велика беда. Соберем.

Надо прямо сказать, мое поведение отравляло настроение не только маме, но и Виталию Петровичу. Застав меня хнычущей, растрепанной и заплаканной, он вскипал и однажды даже сказал, что если меня и впредь будут брать в лес, то он предпочтет оставаться дома. Но как только отправлялись в обратный путь, и я оказывалась рядом с дядей Витей, я веселела, дядя Витя переставал сердиться, и все становилось на свое место. Я самоотверженно держала свой бурачок на весу, чтобы ягоды не утряслись. Нельзя же было приезжать домой с полупустой посудинкой.

Дядя Витя так и не узнал, что он-то и являлся, чаще всего, причиной моих детских переживаний. Думаю, что, если б он об этом догадался, он не стал бы на меня сердиться.

Бывали дни, когда тяжкая тоска овладевала Виталием Петровичем. Забрав книгу, он уходил в сад и подолгу сидел где-нибудь в зарослях сирени. Но он не читал. Он думал. И лицо его было хмурым и напряженным. В такие минуты мы не решались подходить к дяде Вите. Пристроившись где-нибудь поблизости, мы тихонько играли в камушки, лишь исподтишка посматривая в его сторону. Очнувшись от невеселых мыслей, дядя Витя встряхивал головой, хлопал рукой по своей, так и не раскрывшейся книге, как бы ставя точку одолевавшим его мыслям, и вместе с нами возвращался на балкон. Отправив кого-нибудь из нас за маминой гитарой, он присаживался на ступеньку высокого крыльца и начинал петь, подыгрывая себе на гитаре. Большим голосом он не обладал, но пел свои грустные романсы с большим проникновением. Чаще всего напевал он романс «Волны Дуная», из которого в моей памяти сохранилось два куплета.

Волны Дуная от края до края
Гонят широкие воды свои.
Чувство не скрою, и за волною
Летят вдогонку мысли мои.

Туда, где я так счастлив был,
Где я страдал, где я любил,
И где взамен любим я был,
Но все прошло, увы, как дым.

А вот из второго, также часто певшегося дядей Витей романса, запомнилось мне всего лишь четыре строчки.

Не для меня придет весна,
Не для меня Буг разольется.
И сердце трепетно забьется
Не для меня. Не для меня.

Грустное настроение певца передавалось и маме. Притихшая, слушала она его задушевное пение. Передавали возиться и мы.

Сумерки сгущались. На балконе зажигалась висючая лампа. Стол накрывали к ужину, а дядя Витя, отложив гитару, уходил к себе, сославшись на отсутствие аппетита. Бабушка ужасалась: «Как же это так, уйти без ужина». И отправляла вслед за дядей Витей молоко и сдобные булочки, печь которые была большая мастерица.

Бывали случаи, когда дядя Витя по несколько дней не выходил из своей комнаты. Мы скучали и порывались проникнуть к нему. Но мама говорила, что дядя нездоров, и не разрешала нам его беспокоить.

В один из ненастных вечеров, когда сырой воздух не располагал находиться на балконе, мы ужинали в столовой. Дядя Витя хандрил, отказался от ужина и рано покинул нас. В девять часов мы отправились спать, а мама с папой остались в столовой. Дверь нашей комнаты была приоткрыта, и мы слышали, о чем они разговаривали.

Мама выразила свою озабоченность здоровьем Виталия Петровича. Папа согласился с ней и после продолжительного молчания сказал:

– Ты, Аля, вряд ли знаешь, что брат незадолго до того, как к нам приехать, был освобожден из заключения.

Мама ответила, что из разговоров она кое-что заподозрила, но расспрашивать не стала, посчитав неудобным.

– Он был замешан в каких-то антиправительственных делах. Был арестован, находился в заключении и за недостаточностью улик освобожден.

Тут папа понизил голос, и мы остались в недоумении относительно заключения. Этого слова мы еще не знали. Потом папа заговорил снова:

– Брат говорил, что он пробыл там недолго, но для его слабого здоровья и такого срока оказалось вполне достаточно, чтобы получить чахотку. И, как мне кажется, дела его очень плохи. Между прочим, он подозревает, что до сих пор находится под негласным наблюдением полиции. А вчера он сказал, что ему, пожалуй, следует уехать, чтобы не доставить нам лишних хлопот.

Мама горячо запротестовала и стала доказывать, что Виталию Петровичу даже и думать об отъезде не следует. Папа просил ее не волноваться и обещал уговорить брата остаться.

– Ты же сама знаешь, что тебе волноваться нельзя, – добавил папа, и на этом их разговор закончился.

На утро при встрече с мамой мы первым делом заговорили о взволновавшем нас отъезде дяди Вити.

– Мамочка, мы тебя очень просим, пожалуйста, пусть дядя Витя не уезжает. Мы не хотим, чтобы он уезжал, – чуть не плача, тянули мы в два голоса.

Но мама была не в духе и не захотела разговаривать с нами на эту тему.

– Вас, ходатаев, еще не хватало. Пейте лучше кофе и не мешайтесь не в свои дела, – оборвала она наши излияния.

После ночного разговора родителей Виталий Петрович пробыл у нас совсем недолго. Он все больше кашлял, все чаще оставался в своей комнате и перестал гулять с нами.

Мы бродили вокруг дома в надежде пробраться к нему, но двери всегда находили закрытыми. Лишь глухой кашель, доносившийся из открытых окон его комнаты, говорил нам, что дядя Витя там. Потом окна закрылись, и мама сказала, что полюбившийся нам дядя Виталий Петрович уехал.

Как ни странно, отъезда дяди Вити я не помню. Скорее всего, он уехал, не пожелав проститься с нами, детьми. Но почему он так сделал, и как это произошло, так и осталось для нас тайной.

Больше мы его не видели. Глубокой осенью пришло сообщение, что Виталия Петровича не стало. Чихотка сделала свое злое дело. Все мы горько оплакивали его смерть, и с того дня мама запретила мне петь его любимые грустные романсы.

До сих пор их напев вызывает у меня чувство сожаления о чем-то большом и навсегда утерянном.

ЛЕДИ И КРОШКА

Как-то раз, возвратившись из очередной деловой поездки, папа в рукаве своей шубы (дело было зимой) привез в подарок маме маленького щеночка с тонкими высокими ножками, острой мордочкой и большими выпуклыми глазами.

Он был так мал, что получил кличку «Крошка». Короткая гладкая шерстка плохо грела собачку, она постоянно зябко дрожала и при всяком удобном случае старалась забраться к кому-нибудь на колени. А поскольку мама была самая малоподвижная из всех нас, то Крошка чаще всего устраивалась у нее.

С наступлением же тепла это маленькое существо ожило и не упускало случая, чтобы не увязаться за нами во время наших походов в так называемый даль-

ний лес. Постоянной нашей спутницей в подобных походах была папина охотничья собака – рыжий сеттер Леди. Вот на нее мы и возложили заботы о маленькой Крошке. Высокая трава для Крошки была настоящим бедствием. Запутавшись в тугих стеблях, она принималась звонко тявкать и жалобно подвывать, требуя нашей помощи.

– Ах! Ах! Подождите! Неужели не видите, что я застряла! Ах! Ах! – вопила Крошка.

В таких случаях первой останавливалась Леди и некоторое время терпеливо поджидала Крошку. Когда же ожидание затягивалось, а вопей продолжался, отправлялась к Крошке на выручку. Что там у них происходило, и каким способом Леди ее выручала, мы не интересовались. У нас были свои заботы, свои разговоры, и на собачьи дела мы как-то мало обращали внимания, к тому же не сомневались, что Леди приведет Крошку. И, действительно, спустя некоторое время Леди догоняла нас, а с ней появлялась и истеричная Крошка с мокрыми от пота и пережитого волнения глазами, крайне возбужденная и страшно довольная.

– Ах! Ах! Вот и мы. Можно отправляться дальше.

Мы спускались с пригорка, и новый дом скрывался за высокими соснами.

Чтобы дойти до леса, надо было перебраться через глубокий овраг, подняться на Алешкину гору. Берега оврага были обрывисты, и мы с трудом перебирались на другую сторону. Леди кое-как справлялась сама, а вот Крошку, большей частью, приходилось тащить на руках. Весной в половодье в овраг сбегало множество ручейков талой воды. Овраг наполнялся. Вода с шумом неслась по оврагу, завиваясь воронками и обрушивая берега и кустарники. Но как только таяние снегов кончалось, овраг пересыхал. От многоводного потока оставался небольшой ручей да в некоторых местах глу-

бокие, наполненные водой ямы, кишевшие в летнюю пору головастиками.

Забавный случай произошел с нами в этом овраге. Обнаружив в одной из ям какие-то прозрачные сгустки шариков с черными точками, мы в недоумении остановились. Что бы это могло быть? Во всяком случае, они нам показались весьма загадочными.

От прислуги нам неоднократно приходилось слышать невероятные истории с участием домовых, нечистой силы и злых оборотней. И от прислуги же мы научились все непонятное, все, что мы не знали, как объяснить, расценивать как козни нечистой силы, способной на любые выдумки и пакости. Так мы отнеслись и к увиденным в луже шарикам, глядевшим на нас множеством круглых глазок. Способствовала этому еще и обстановка: глубокий овраг, обрывистые склоны, заполненные темной водой ямы. Ну, чем не место для всякой нечисти. А что будет, если это и в самом деле оборотень, прикинувшийся безобидными на вид прозрачными шариками, возьмет и утащит нас в яму. При этой мысли неприятный холодок пополз по нашим спинам. Бежать? Да разве от оборотня убежишь?

Посоветовавшись и набравшись храбрости, мы решили не ждать нападения, а попробовать разрушить колдовские чары, преграждавшие нам путь. Но как? Может быть, заплевать их? Ведь говорила же нам бабушка, что после святого причастия плевать – грех. Ну а если другого выхода нет. Тогда как?

Эх, была не была, плюнем по разочку, а вдруг нечистая сила испугается святого причастия и пропадет. Мы плюнули раз, плюнули еще раз, от волнения во рту пересохло, а нечистая сила продолжала плавать, как ни в чем не бывало. Тут уж мы окончательно струсили и пустились наутек.

Ну и хохотал же папа, когда мы, запыхавшиеся и взволнованные, прибежали домой и рассказали о своей встрече с нечистой силой. Бабушка же с сокрушенным видом посмотрела на нас и, покачав головой, укоризненно проговорила: «Ох, и глупыши же вы, глупыши. Ну, какая же это нечистая сила? Это икра лягушиная, и выведутся из нее головастики. Надо же выдумать такое».

В тот день мы так и не попали на Алешкину гору. Прошло несколько дней, и мы снова предприняли новую прогулку по старому маршруту. На этот раз мы благополучно перебрались через овраг, поднялись на Алешкину гору, где нос к носу столкнулись со знакомыми нам крестьянскими ребятами. Они сидели стайкой на краю луга и о чем-то громко не то спорили, не то что-то обсуждали. При нашем появлении самый младший, увидев Крошку, вскрикнул:

– Глянь-ка! Собачка-то, какая махонькая. Погладить бы ее. Не укусит?

И он несмело протянул руку к Крошке.

– Не бойся, не укусит, – сказала поощрительно Нина.

– Никак спужался, – рассмеялись ребята, – гляди, Васька, нос кабы не откусила.

– Да ты не бойся, – снова сказала Нина и подозвала Крошку.

Васька несмело протянул руку и осторожно погладил Крошку. Та уморительно сморщила нос и показала зубки. Это окончательно развеселило ребят.

– Ишь ты... И вся-то с комара, а скалится.

Подошла Леди, ребята опасливо подобрали руки и насторожились. Воспользовавшись их молчанием, я спросила:

– Почему гору называют Алешкиной?

– Да утоп тут один, а звали его Алешкой. Вот и стала гора Алешкиной.

– Как утоп? – снова спросила я.
– Во время полой воды утоп. Давно это было. Мамка сказывала, меня в ту пору в живых еще не было, – ответил самый старший из ребят – Егорка.

– А ты расскажи, – попросила Нина.

– Чего ж тут рассказывать. Пришли как-то ребята из села поглядеть, как овраг бушует. Весной это было. Алешка и подожди к самому краю. Сверху-то не видеть, что вода берег подточила. Только он вступил, берег – как ухнет, и Алешка с ним. Тут и начало его крутить. Ребята спужались – да в село. Мужики прибежали с баграми, нашли Алешку, да только мертвого. Может, воды нахлебался, может, обо что ударило. Вот и стала эта гора Алешкиной.

С того дня каждый раз, когда мы бывали в овраге или влезали на гору, мы вспоминали бедного утопленника, обсуждали его падение и всячески жалели его.

Итак, направляясь через овраг, по дну которого протекал небольшой ручей, Крошка снова впадала в истерику. Осторожно лизнув воду, она в страхе пятилась назад и принималась испуганно тьявкать:

– Ах! Ах! Ой, как страшно!

По мере того как мы удалялись, вопли ее становились все отчаяннее.

– Ах! Ах! Куда же вы? – заливалась она визгливо.

И снова на ее вопли первой отзывалась Леди. Остановившись по другую сторону ручья, она внимательно наблюдала за действиями Крошки и, не дождавшись, когда та переберется через ручей, догоняла нас и требовательным лаем заставляла кого-нибудь возвращаться, чтобы забрать Крошку. А вот чтобы взять ее за шиворот, как это делают кошки, таская котят, и без нашей помощи перенести ее через воду, на это у Леди смекалки не хватало.

Мы не любили, когда эта беспокойная мамаина любимица увязывалась за нами, и не очень-то старались опекать ее и заботиться о ней. Вот так, однажды, даже не знаю, как это могло получиться, мы оставили Крошку в лесу. И удивительнее всего было то, что даже Леди ничуть не была озабочена ее отсутствием и спокойно вместе с нами направилась домой.

Зато мама, поджидавшая нашего возвращения, сразу заметила отсутствие своей любимицы.

– А Крошка где? – с беспокойством спросила она, как только мы появились во дворе.

Мы переглянулись. Никто из нас не знал, где, когда и почему исчезла Крошка.

– Не знаем, – недоумевая огляделись мы.

– Кто же знает? Пошла-то она с вами. Где же она?

Но на все мамыны вопросы мы лишь пожимали плечами.

– Ну что ж, сумели потерять, сумеете и найти. И чтоб без собаки не возвращаться. Идите и ищите.

Было жарко. Мы устали. И нам не улыбалось снова тащиться в лес. Но мама настаивала, и пришлось подчиниться.

Тем временем Леди уже забралась в холодок под крыльцо, где она всегда спасалась от жары, и на все наши приглашения пойти в лес лишь ласково шурила свои желтые глаза да лениво помахивала хвостом. Обругав от расстройства Леди дурой и бессовестной мордой, мы нехотя побрели на поиски пропавшей собачонки.

– Противная Кроха, никогда больше не возьмем ее с собой. Пусть сидит дома! Отстала, а ты изволь ее искать, – ворчали мы, подходя к новому дому.

Но как только наши печальные фигуры скрылись за толстыми стволами сосен, любящее сердце Леди не выдержало такой несправедливости, и, расставшись с холодком, она помчалась догонять нас.

– Слушай, вдруг оживившись, проговорила Нина, – а что если на поиски послать Леди? Ведь это она потеряла Крошку, пусть сама и ищет.

Предложение Нины мне понравилось, и я с готовностью подхватила.

– Давай попробуем. А вдруг найдет. Тогда нам и идти незачем.

– Леди, – закричала Нина. – Где Крошка? Крошка где?

Леди, поводя ушами и наклонив голову, внимательно слушала и смотрела на нас, соображая, чего от нее хотят.

– Ищи Крошку, наперебой твердили мы, показывая на лес

– Ищи, ищи! Где Крошка?

И вдруг Леди поняла. Она весело махнула хвостом и скрылась между деревьями. Мы постояли, подождали некоторое время и повернули домой.

– Почему вы вернулись одни? Где собаки? – строго спросила мама.

– Леди побежала искать Крошку, а мы хотим есть.

Мы знали, что против такого аргумента мама не устоит. Если дети просят есть, надо кормить немедленно, пока не расхотели. Но все же лицо мамы оставалось недовольным.

– Ты не беспокойся, Леди найдет Крошку. Вот увидишь, найдет, – твердили мы, пытаясь успокоить маму.

В столовой все было готово к обеду, и мы сели за стол. Когда подали молоко и собранную нами землянику, в столовую влетела Крошка. Она запрыгала вокруг стола, громким тьяканьем и визгом заявляя о своем прибытии.

– А вот и я! Вот и я, – заливалась она, умильно поглядывая на мамины руки.

Чего бы только она ни порассказала, если б умела говорить. Но мы и без слов ее понимали.

В дверях балкона стояла Леди, и грустными глазами наблюдала, как мама наливала суп в Крошкино блюдце. А ей вход в столовую был запрещен. Тогда мама вынула из суповой миски кусок вареного мяса и протянула его Леди. Леди отступила.

– Бери, не бойся. Это тебе за труды, – сказала мама.

После случая с Крошкой мы решили раз и навсегда отучить ее бегать за нами. Для этого мы набрали незрелых ягод земляники и затолкали их Крошке в рот. Крошка тут же брезгливо выплюнула их. Тогда мы снова набили ей рот земляникой, а чтобы она не смогла вновь избавиться от нее тем же способом, зажали ей мордочку. Крошка вырывалась, крутила головой, но мы не отпускали рук, и ей волей-неволей пришлось ягоды проглотить.

– Вот так-то лучше, – засмеялись мы. – Накормим тебя кислятиной досыта – забудешь, как бегать за нами, – мстительно ликовали мы.

Но что это? Не успели мы поднести к ее носу очередную порцию ягод, как Крошка без всякого насилия с большой готовностью слизнула их с наших ладоней. Мы оторопели. Такого уж мы никак не ожидали. Так, потерпев в тот день полное фиаско, мы «выкопали яму, в которую сами же и попали».

Познакомив Крошку со вкусом ягод, мы нажили неутомимого конкурента. Крошка так проворно обворовывала нас, что просто не было никакой возможности справиться с ней. Стоило протянуть руку к ягоде, как Крошка уже съедала ее. И куда бы ты ни повернулась, всюду тебе под руку попадался вместо ягод ее холодный, мокрый носик. Тогда начиналась настоящая война. Мы поднимали невероятный писк и визг, оттал-

кивая Крошку. Сметенная шумом Леди начинала недоуменно лаять. Лес наполнялся гомоном встревоженных птиц. И только когда наши бурачки все же наполнились до самых краев, а живот Крошки заметно надувался, возня прекращалась, и мы, усталые, но довольные, отправлялись домой.

К сожалению, я не родилась писателем и не умею писать рассказов о животных. Можно было бы много чего порассказать о наших друзьях – собаках. Особенно же про Леди.

Умна она была необыкновенно, а ее привязанность к нам, детям, просто безгранична. Это была настоящая подруга нашего раннего детства, безотказная участница всех наших игр. Она терпеливо позволяла запрягать себя в разные импровизированные экипажи, в которых катала кукол. Во время дождя по собственному почину бегала в сад и приносила насквозь промокших Машек и Матрешек. Охотно относилась в кухню похищенные для наших надобностей бабушкины кружки и ковши. Бабушке она приносила поленья дров, а иногда, в пылу рвения, притаскивала какую-нибудь заброшенную, давно никому ненужную плетенку, что вызывало у бабушки шумный протест. Было и одно большое неудобство в ее услугах. Все, что поручалось ей снести на кухню, она относилась, но складывала под русскую печь. Возможно, она как-нибудь видела, что под печь убираются ухваты и кочережки, и решила, что это не такой уж плохой склад для приносимых ею вещей.

Бабушка сердилась, заставляла нас искать исчезнувшие вещи. Иногда дело доходило до открытого конфликта. Но однажды, совершенно случайно, бабушка обнаружила под печкой устроенный Леди склад. С того дня, как только чего-нибудь недоставало, бабушка вооружалась кочергой и до тех пор шуровала под печкой, пока нужная ей вещь не объявлялась.

БРАТ ЖЕНЯ

С отъездом дяди Вити жизнь наша вернулась в прежнее русло и потекла по-старому. А тут и осень окончательно вошла в свои права. Деревья в саду, утерев свой красочный наряд, оголились. Лес заметно поредел и стоял мокрый и неприветливый. Упрямо изо дня в день моросил нудный дождь. Было сыро, холодно и неприятно. Мы сидели дома и невероятно скучали. Быстро промелькнуло лето, а с его уходом окончились и все наши прогулки и забавы. Мы то приставали к бабушке, то ходили неотступно за мамой и никак не могли приспособиться к жизни в четырех стенах.

От безделья и скуки мы стали невольно присматриваться ко всему, что происходило в семье и что окружало нас. Так, в один из этих томительных дней мы с Ниной вдруг заметили, что мама почему-то ужасно располнела. Вдвоем с сестрой мы все пытались обхватить ее, но у нас ничего не получалось. Мы суетились вокруг мамы до тех пор, пока она не рассердилась и не отправила нас в детскую.

А мама и сама, наверно, скучала. Она все ходила из комнаты в комнату, перебирала Борискины рубашонки, из которых он давно вырос. Все что-то шила. Часто и подолгу шепталась с бабушкой. Чувствовалось, что в доме что-то неладно.

Каждый день по утрам мы, первым делом, заглядывали в окна в надежде, что дождь уgomонился, и нам разрешат побегать во дворе. Но дождь продолжал сыпать, как и во все предыдущие дни. На дворе образовались большие лужи. В них плавали бурые запоздалые листья. Наохлившись, вышагивали встрепанные, мокрые вороны. Грустно смотрели мы через помутневшие

стекла. Все было так же, как и вчера, и еще несколько дней тому назад.

Но что это? Из трубы нового дома, одиноко мокнувшего в окружении таких же мокрых, потемневших сосен потянулась тонкая струйка дыма. Вскоре повалил, низко припадая к земле, густой черный дым. Стекла дома сразу запотели.

– Как, по-твоему, зачем его топят? – поинтересовалась я.

– Наверное, кто-нибудь придет, – неуверенно ответила Нина.

Это было уже настоящим событием. Ведь из-за осенней распутицы сельская жизнь совсем замерла. Все сидели по домам, и никто не решался пускаться в дорогу. И вдруг – гости.

Но вместо ожидаемых гостей исчезла мама. Утром, обежав комнаты и не найдя ее, мы отправились к бабушке.

– Чего всполошились? Уехала она. Поехала купить вам в подарок маленького. А то вам все скучно да скучно. Бориска вырос, а без маленького и в доме как-то нерадостно. Вот купит и вернется.

– Кого купит? Мальчика или сестренку? – оживились мы.

– Ну, это как удастся. Кто будет, того и привезет.

И все же, несмотря на обещанный подарок, отъезд мамы порядком расстроил нас. Мы еще не забыли вот такого же таинственного исчезновения дяди Вити, после чего он умер. А вдруг и мама умрет? Притихшие бродили мы по опустевшим комнатам, останавливались то у одного окна, то у другого.

Во дворе показалась бабушка. Накрывшись большой шалью, торопливо шла она с узелком в руках по направлению к новому дому. И снова вопрос. Зачем пошла бабушка в пустой дом, что она там собирается делать? Спросить не у кого. Папа то появится, то снова

уйдет. Вид у него такой озабоченный и хмурый, что нашего присутствия он совсем не замечает. Какие уж тут могут быть вопросы. А вечером нас до срока уложили спать и наказали, чтоб мы вели себя тихо.

Все это было до того непонятно и тревожно, что нам стало совсем тоскливо. Можно было вполне воспользоваться отсутствием старших и побиться немножко подушками, но даже эта веселая запрещенная игра на этот раз нас не прельстила.

Проснулись мы рано. За долгую осеннюю ночь нельзя было не выспаться. Тускло горел ночник, еле еле освещая комнату. Бабушки не было, даже кровать ее как была, так и осталась не разобранной. В комнатах стояла такая тишина, словно в них никто не жил. Грустно сидели мы, завернувшись в одеяла, чутко прислушиваясь к томившей нас тишине.

Но вот хлопнула в сенях входная дверь, и в детскую тихонько вошла бабушка. Платок кое-как держался на ее голове, а глаза весело улыбались.

– Да никак, вы не спите? А я-то крадусь. Что так рано поднялись? Один Боренька, молодец, спит себе на здоровье. Да что это вы какие кислые? А я-то торопилась вам хорошую новость сообщить.

Мы недоверчиво смотрели на бабушку и молчали.

– Какую новость? – сиплым со сна голосом пробасил Бориска.

– Вот тебе раз. Никак и ты не спишь, – засмеялась бабушка, – а я-то похвалила тебя. А новость, вот какая. Мама приехала и маленького братика вам привезла. Ну как, хороша новость?

Тут уж мы не выдержали, кубарем скатились с кроватей и с визгом запрыгали вокруг бабушки.

– Мы сейчас пойдем смотреть нового братика. Скажи, сейчас? – тормошили мы ее.

– Нет, не сейчас, мама с дороги устала и спит. Беспокоить ее не стоит. Да и маленькому покой нужен. Не торопитесь. А сейчас умываться и за стол.

Только через три дня нам было позволено навестить маму. Получив от папы строгий наказ – не шуметь и вести себя благоразумно, мы несмело переступили порог комнаты, где лежала мама. И только после того как она, подозвав нас, всех приласкала и поцеловала, все огорчения и страхи последних дней как рукой сняло. И мы осмелели и с нетерпением потребовали показать нам брата.

Когда бабушка подвела нас к колыбельке, мы были и смущены, и разочарованы. Вместо братика, каким мы его себе представляли, в колыбельке лежала какая-то маленькая, совсем некрасивая живая кукла, смешно кривившая на бок рот и подслеповато щурившая глазки.

– А поддержать ее можно? – спросили мы.

– Поддержать нельзя, – бабушка решительно пресекала дальнейшие просьбы. – Этого я вам позволить не могу. Еще уроните. А вот поцеловать можете.

И бабушка вынула куклу из колыбельки. Без особого удовольствия приложились мы к сморщенному существу, после чего нас отправили к себе.

Странная штука – память. Сборы и отъезд из Дубно, пропажа Пушистика, слезы Ольги – все это отчетливо сохранилось в моей памяти. А вот о рождении брата Бориски я совершенно ничего не помню.

Через несколько дней мама покинула новый дом и вместе с братиком вернулась к нам. В тот же день за вечерним чаем всем семейством выбиралось имя новорожденного. Мы с Ниной упрашивали назвать его Андрюшей. Папе нравилось имя Александр, возможно, потому, что мама была Александра. Но мама настояла на Евгении. Так наш маленький братишка стал Женей.

Время шло, и живая некрасивая кукла все больше и больше становилась настоящим братиком. На его головке закурчавились нежные золотистые прядки. Глаза неожиданно стали большими и синими, такими же синими, как и у Бориски. Необыкновенно ласково и спокойно взирали они на окружающий мир. И если бы поменьше плакали мы, то эти чудесные глаза не плакали бы никогда.

К тому времени маме надоело наше бесцельное шатание по комнатам, наша беготня и наши шумные игры, часто будившие ребенка. И нас засадили за букварь. Мне не было еще и полных шести лет, когда на мою вихрастую голову свалилось, как мне тогда казалось, такое ужасное лихо. И все потому, что маме было чуждо терпеливое к нам отношение. Чего только не бывало: забытая буква вызывала ее раздражение, неумелое обращение с пером выводило ее из себя настолько, что она начинала кричать, а то и награждать нас подзатыльниками. И большей частью уроки для нас заканчивались слезами.

Посмотрев со стороны, можно было подумать, что у мамы вообще отсутствует чувство материнской любви и снисходительности к своим детям. На самом же деле, такое заключение оказалось бы в корне ошибочным. Надо было хотя бы раз видеть, с какой болезненной страстью любила она своего маленького сынишку, как иступленно ласкала и зацеловывала его, что будь это другой ребенок, а не Женя, вряд ли он стерпел бы подобные изъявления нежности, а стал бы отбиваться и плакать. Но Женя, безропотно перенося свою долю житейских невзгод, иначе подобное проявление любви не назовешь, лишь шурил глаза, и мы ни разу не слышали, чтобы он запротестовал или заплакал.

Стоило же ему увидеть наши заплаканные лица, как его чудесные глаза тоже наливались слезами. Знали это мы, знали все домашние, знала и его туповатая нянька,

не раз приходившая к нам на выручку. Лишь только мама поднимала шум, а мы начинали лить слезы, как нянька с Женей на руках появлялась в столовой, где обычно проходили занятия. Слезы сынишки действовали на маму отрезвляюще, она отбирала его у няньки, и уроки заканчивались.

Чтобы в последующих главах не возвращаться к нашим занятиям, расскажу один из многих более поздних случаев нашего трудного обучения.

Мама готовила Нину к поступлению в институт, находившийся в Нижнем Новгороде. А попутно с ней занималась и со мной, предполагая и меня отдать в институт, когда мне исполнится десять лет. Мама прихварывала, и, видимо, из-за нездоровья была особенно нетерпелива и раздражительна. Проходили мы грамматику, и мама объясняла нам производные уменьшительные от имен существительных. И для наглядности предложила мне назвать уменьшительное от слова «чашка». Я поторопилась с ответом и, не подумав, сказала «чажечка».

– Не верно, – сказала мама и повторила свое объяснение.

Но со страха на меня напало какое-то тупое затмение, и я упорно повторяла свою «чажечку». Кончилось тем, что мама вспылила и больно дернула меня за волосы. Слезы давно уж душили меня, и я заплакала.

– Вот только и умеешь реветь, – закричала мама. – Боря маленький, а и тот сумеет ответить правильно. Боренька, – позвала она деловито занимавшегося своими игрушками брата, – иди сюда и скажи этой зареванной дуре, чтобы она, наконец, поняла, чего я от нее хочу. Вот послушай: на столе стоит большая чашка. А как ты назовешь ее, если она станет маленькой? – Бориска задумался. – Ну, скорее, ты же умный мальчик.

– Блюдечко, – ответил не ожидавший ничего плохого братишка.

И, получив от мамы подзатыльник, обиженно заплакался.

– Нет, это просто невыносимо! – с возмущением проговорил папа, появившись в столовой. – Ты хоть маленького-то оставь в покое. За что ты его ударила? Черт знает, что такое!

Взбешенная заступничеством, мама снова подняла руку, чтобы ударить меня, но папа поймал ее руку.

– Что б этого больше не было. Слышишь? Взясась заниматься, так имей терпенье. Совсем запугала девочек своими колотушками.

Нам еще не случилось видеть папу в таком возбуждении. Выскочив из столовой, мама заперлась в своей спальне и до вечера просидела в ней, пришивая рукав пышной блузки, случайно оторванный папой. А вечером нам было обидно и больно слышать, как папа же, вконец расстроенный, просил у мамы прощение за свое заступничество.

Бывали слезы и иного порядка: Нина была более способная, нежели я. Заданные уроки она быстро усваивала, отвечала их маме и счастливая уходила гулять. Справиться с уроками так же быстро, как это получалось у Нины, я не могла. Подолгу корпела над заданным и со слезами зависти и обиды поглядывала в окно, как она резвилась во дворе.

Наутро роли менялись. С трудом заученное накануне прочно застревало у меня в голове. Я быстро отвечала маме уроки и отправлялась гулять. Нина насколько быстро заучивала, настолько же быстро и забывала. Вынужденная заниматься повторением, в то время как я гуляла, она сидела дома и плакала от досады.

– Ну что за наказание, – возмущалась мама. – Ревут словно по расписанию: одна – утром, другая – вечером. И что мне с ними только делать, – жаловалась она папе.

Выручавшая нас нянька вскоре была просватана, и на ее место пришлось взять другую. И все у бабушки началось сначала. И трудности обучения, и битые посуды, и, больше всего раздражавшая бабушку, ее непробиваемая леность. Все это и нас настраивало к новой няньке критически. И мы, со своей стороны, принялись порядком донимать ее указаниями. А у меня возникало еще и неумное желание поддразнивать ее, а то и недобро подшучивать.

Так, однажды, когда она с Женей на руках, вместо того чтобы оглянуться и взять стул, долго нащупывала его позади себя ногой, а нащупав, совсем было собралась сесть, я, не подумав, что, падая, она может уронить Женю, взяла и в наказание ей за леность потихоньку стул убрала. Как рыхлое тесто плюхнулась она на пол и, сидя на полу, так громко завопила, что прибежала мама.

В тот день мне пришлось выслушать длиннейшую нотацию и вдобавок постоять еще и в углу.

Лето было жаркое. По селу ходила эпидемия дизентерии. С эпидемией никто не боролся. Больных приносили к маме и с поклонами и причитаниями просили «попользовать» их. Но мама и сама не знала, как быть. Она советовала соблюдать диету, заведомо зная, что никакие диеты выполняться не будут. Детишки умирали.

Чтобы мы меньше сталкивались с больными, нас с Женей и нянькой отправляли в большой сад. И каждый раз, отправляя нас, мама строго-настрого приказывала няньке следить, чтобы ребенок ничего не брал в рот. Как ягоды, так и овощи мы имели право есть только дома и только после соответствующей обработки.

Дремучей тупицей нянькой все мамины наказания расценивались как простая блажь. И как только мы приходили в сад, она отправлялась на огород, набирала пол-

ный передник огурцов, устраивалась где-нибудь поукромнее и с жадностью, словно какую невидаль, поедала их, соблазняя нас своим неумным аппетитом. Забыв о маминых наставлениях, пристрастились к огурцам и мы. Так и шло, а мама об этом даже ничего и не знала. Только когда глупая девка дала огурец и Жене, мы опомнились и пригрозили пожаловаться маме.

– Ну, так что. Вас же маменька и выдерет, – нагло ответила девка. – Ай, сами не ели? Пожалитесь маменьке, и я тоды про вас скажу. Мало они вас дерут, так еще добавят.

Мы до того были запуганы колотушками и подзатыльниками, что струсили и малодушно смолчали, и хождения на огород продолжались. И Женя заболел. А ведь так легко можно было предотвратить его болезнь и смерть, если б мы в первый раз не побоялись навлечь на себя гнев мамы.

– Что ты давала ребенку? – в отчаянии спрашивала мама таращившую глаза няньку.

– Ничего не давала. Вот те «хрест», ничегошеньки не давала, – божилась и крестилась нянька. – Вот хоть их спросите, – и мы снова из трусости смолчали.

Началась отчаянная борьба за жизнь братишки, но ни рисовый отвар, ни кисель из сушеной черники, ни привезенный папой из Инзы врач успеха не имели. Братик лежал, как пласт. В комнату, где лежал Женя, нас не пускали. Все ходили убитые. Мама прибегала к нам в детскую и, уткнувшись в бабушкину подушку, горько плакала. Видеть ее слезы было для нас жестоким наказанием, и, зная за собой вину, мы не смогли долго молчать. Мы рассказали все, хотя нам было очень трудно это сделать. Девку выгнали. Но могло ли это помочь брату? Он молча страдал, молча и умер. И это неимоверно усугубляло наше общее горе.

Спустя некоторое время после того, как Женю похоронили, сквозь сон мне слышалось, что он зовет меня. Прислушавшись, я приподнялась с подушки. Братик стоял у меня на кровати и с улыбкой протягивал ко мне ручки. Задохнувшись от радости, я начала звать маму.

– Иди скорее! Женечка пришел! Вот он у меня на кровати, – плача от радости повторяла я.

– Бог с тобой, – сказала мама, – торопливо входя в комнату. – Здесь же нет никого, тебе это показалось.

И, действительно, когда мама вошла, Жени уже не было.

Так и запомнился он мне улыбающимся, с протянутыми руками.

КАК МЫ С МАМОЙ СТАЛИ ВРАЧАМИ

Трудное то было лето. После смерти Жени в доме поселилась гнетущая тоска. Мама почти не выходила из своей комнаты. Папа дольше обычного засиживался в кабинете. Притихли и мы. Любимым занятием у нас стала тихая возня с глиной. Мы лепили человечков, сушили их на солнце, мастерили им из цветов и листьев нарядные платья, после чего укладывали их в коробочки и несли хоронить под большой куст бузины. Из прутиков делали оградки и кресты. Вскоре под бузиной образовалось настоящее кладбище. Это была игра в горе. Мрачная игра.

Однажды, разыскивая своих сбежавших питомцев «жуков», скотница Анна, проходя мимо нас, увидела наше кукольное кладбище. Она остановилась, долго и осуждающе наблюдала за нашей игрой и с укоризной сказала:

– Не к добру вы затеяли такую игру. Ох, не к добру. Смотрите, не накликайте новой беды. Нельзя так играть. Ну-ка Женечка помер – царство ему небесное. Видно, так уж ему было на роду написано: добрая безгрешная душенька и богу угодна.

Она кончиком платка вытерла навернувшиеся слезы и пошла дальше. Пророчество Анны напугало нас, и мы перестали играть в похороны. Но все же возню с глиной не оставили. Сидя где-нибудь в тихом уголке, мы продолжали заниматься лепкой. Только теперь это были коровы, собаки и целые стада разных домашних животных и птиц.

Нашла себе поддержку и мама. Когда острота душевной боли чуточку притупилась, мама выписала медицинскую книгу первой помощи больным. Сознание собственного бессилия при виде страданий и смерти как сельских ребятишек, так и собственного ребенка, так потрясло ее, что она по целым дням не расставалась с книгой. Все что-то изучала в ней, словно искала ответа на какие-то свои мысли. Потом по ее же просьбе папа привез целый короб ваты, бинтов и медикаментов, и всем стало понятно, что мама решила оказывать сильную помощь нуждающимся в ней. А у папы в кабинете появился небольшой шкаф со стеклянными дверцами и крепким запором.

Как только мама выходила на балкон – приемы происходили по утрам – следом за ней появлялись и больные. Она выносила свой медицинский справочник, и прием начинался. Первое время ей приходилось чуть ли не по каждому вопросу заглядывать в книгу. Но по мере того, как ее знания увеличивались, обращение к книге сокращалось.

Не так давно я смотрела инсценированный рассказ Чехова «Деревенские эскулапы». Не знаю, какое медицинское образование имели они, у мамы его не было, но культурой в лечении и в обращении с больными она

составляла полную противоположность чеховским врачевателям.

Приходили с порезами, нарывами и ожогами. Бывали случаи, когда от вида некоторых ран маме становилось дурно. В таких случаях призывали меня. Мама обрезала мне ногти, заставляла тщательно вымыть руки и только тогда допускала к работе. И если пациент громко стонал, охал и ежился, это меня не останавливало. Своими тоненькими пальчиками я довольно быстро отыскивала в порезах стекло и вытаскивала его. Приготовленным мамой раствором промывала попавшую в рану грязь. По ее же указаниям там, где требовалось, смазывала йодом. Только после того, как предварительная обработка была проделана, мама накладывала повязку и строго приказывала самим бинтов не снимать, а приходить к ней. Крови я не боялась и всегда охотно участвовала в лечении и даже гордилась своей ролью хирурга.

Однажды молодая бабенка принесла дико орущего малыша.

В те времена да, кажется, и поныне, по селам и деревням разъезжали так называемые тряпичники. Имея на возу короб со всякой мелочью, они меняли свой нехитрый товар на разное, бесполезное даже в крестьянском хозяйстве, тряпье.

Жили в деревнях бедно и безденежно. Развлечений, кроме церкви и кабака, не было и в помине. О граммофонах, которые в ту пору только-только начали появляться у богатых помещиков, знали лишь понаслышке и по невежеству считали его бесовским наваждением. К слову сказать, не было граммофона и у нас.

Немудрено, что появление тряпичника являлось своего рода развлечением, к тому же давало возможность не за деньги, а за ненужное тряпье, приобрести какую-нибудь мелочь, крайне необходимую в хозяй-

стве, в виде моточка фабричных ниток, деревянного гребешка или просто длинной иголки с широким ушком и названием «цыганка».

Как только раздавался голос тряпичника, извещавшего о своем прибытии, со всех сторон к возу спешили покупатели и покупательницы. Самыми активными, конечно, оказывались ребята. Схватив тайком у матери какое ни то нужное ей старье, они за бесценок спускали его. Удачливые – за глиняные свистульки или, до страсти соблазнительные, размалеванные алой краской (фуксином) пряники в виде добрых молодцев с растопыренными в пляске ногами или в виде петухов и разных, смотря, кому что нравилось, зверюшек. Неудачникам, пойманым с поличным, вместо пряников доставались от матери звонкие затрешины.

Процесс обмена захватывал не только деревенских ребят и баб, но и нас. И не потому, что мы в чем-то нуждались. Нет. Просто было очень интересно участвовать в общей суматохе и беготне. Бабушка, невзирая на мамины запреты, понимая наш обменный азарт, собирала кое-что из старых вещей, и мы, счастливые и довольные, со всех ног бежали к возу. Принесенные нами вещи ценились менялами, и они охотно снабжали нас и деревянными скоморохами, пляшущими на веревочке, и медными колечками с цветными камешками, совсем как золотыми. Надев на палец, мы даже любовались ими. Потом медь становилась зеленой, колечки теряли свою первоначальную привлекательность, и мы забрасывали их. Мама говорила, что медные кольца носить вредно.

Вот так появление в селе тряпичника и явилось причиной, по которой одной нерадивой бабенке пришлось срочно бежать к маме.

– Матушка-барыня! – причитала она. – Печка протопилась, стала я жар в загнеток загребать, а тут и закричи тряпичник возле избы. Выхватила я кочережку,

бросила ее в угол, да на улицу. А ребенок-то ползал по полу. Видно, подполз к печке да сел на кочережку-то. А она раскалилась в печке-то. Он и закатился.

Дальше можно и не рассказывать. Увлеченная обменом, выторговывая лишнюю булавку, она и не обратила внимания, что из избы неслись нечеловеческие вопли, а когда спохватилась и прибежала, ребенок с закатившимися глазами и посиневшим лицом корчился возле печки. В избе пахло горелым мясом. Подхватив ребенка, вся зареванная прибежала она, и мне снова пришлось мыть руки и исследовать последствия ожога. К счастью, кость не была задета, и мама приступила к лечению.

Удивительно, как быстро в те времена заживали всякие болячки. Никаких антисептиков мамой не применялось. Да их в то время и не было. Зарубцевался ожог у малыша.

В другой раз перепуганная насмерть баба принесла девочку. Она была еще совсем крошка, эта девочка. В день, когда суждено было случиться несчастью, взрослые были в поле. Оставив ребенка со старшей сестренкой, которой и самой-то еще была нужна нянька, они для удобства перевесили зыбку пониже к полу, а чтобы ребенок не плакал, мать нажевала ржаного хлеба и, зажав жвачку в тряпицу, сунула ее ребенку в рот.

– Пусть забавляется, абы не плакала.

Тучи мух жужжали и кружили над зыбкой, привлеченные кислым запахом жвачки. Некому было видеть, как маленькая вытащила изо рта надоевшую соску, да так, зажав в кулачке, и уснула. «Няньке» не сиделось в душной избе, и она убежала к подружкам, оставив дверь открытой.

Голенастая поджарая свинья с длинным рылом-хоботом вошла в избу и, почуяв запах хлеба, подошла к

зыбке и вместе с соской откусила и половину детской ручки.

Обезумев от страха, мать ребенка прибежала к маме. Увидав залитую кровью тряпицу и укороченную ручку ребенка, мама побелела как мел и чуть было не лишилась сознания.

– Нет-нет, – в ужасе твердила она. – Здесь нужен врач. Я помочь ничем не могу. Везите на Инзу да поскорее, иначе ребенок изойдет кровью.

По дороге в больницу девочка умерла. Да и что бы она безрукая делала в деревенских условиях, если бы даже и выжила.

Но не всегда случаи, с которыми приходилось сталкиваться маме, носили драматический характер. Бывали и курьезы.

Вот так однажды, старый дед в длинной посконной рубахе и разбитых лаптях, кряхтя и отдуваясь, приволок на своей согбенной, костлявой спине рыжего теленка и положил его возле крыльца. Оказалось, что у теленка на передних ногах были перерезаны сухожилия. Стоять он не мог. Поминутно хлопая себя по худым ляжкам, дед рассказал, как он косил траву, а трава густая да высокая; как с ним произошла промашка и как он сослепу не заметил телка и отмахнул ему ноги. Кланяясь в пояс, он слезно просил «матушку-барыню» приживить телку подрезанные ноги. На все вразумления, что этого сделать нельзя, дед никаких резонных признаний не хотел, а продолжал просить и кланяться.

В дверях показался папа. Он давно уж раскусил хитрое упорство старика и с улыбкой наблюдал забавлявший его спор между стариком и мамой. Разговор и увещания затягивались, и папа не выдержал.

– Слушай, дед. Теленка твоего вылечить нельзя, а на мясо он вполне пригоден. Если согласен, мы заберем твоего теленка. А ты получай деньги и сыпь домой.

Дед умильно заморгал подслеповатыми глазами, а получив деньги, каких он, по-видимому, не ожидал, с поклонами заспешил к воротам. Но, все еще не веря своему счастью, по дороге с беспокойством все оглядывался назад, по всей вероятности, опасаясь, как бы Лией Петрович, как крестьяне называли папу, не передумал. И только оказавшись за воротами, он успокоился и быстро запыхтел своими лаптями. И по всему было видно – как медицина, так и его собственная смекалка его не подвели.

Так в чужих делах и чужих несчастьях мама старалась приглушить собственное горе.

После смерти братишки было решено услугами крестьянских женщин больше не пользоваться, и вся работа по дому легла на бабушку. Бабушке было трудно управляться одной с навалившимися на ее плечи делами, и она надоумила маму написать в Дубно Ольге и предложить ей приехать к нам.

О КНИГАХ, КРЫСАХ И НИ О ЧЕМ ОСОБЕННОМ

Прошло лето и не оставило по себе доброй памяти. Опять заморосил осенний дождь. Но на этот раз для скуки и бесцельного шатания по комнатам у нас не оставалось времени. Возобновились занятия с мамой. После смерти братика Жени, возможно, вспоминая его слезы, мама стала относиться к нам значительно мягче и с большим терпением. Ну а если не было колотушек, значит, не было и слез. Да и мы с Ниной умели прилично читать и даже писать, не разбрызгивая чернил и не сажая жирных клякс.

Облюбовав спальную комнату родителей, мы забирались с ногами на полюбившийся нам стоявший у ок-

на сундук и с упоением читали теперь уже не вслух, а про себя.

Детские книги привозил нам папа. Получить в подарок ко дню рождения книгу было настоящим счастьем. Но книг было недостаточно, и мы до тех пор перечитывали их, пока не выучивали наизусть. Так мы выучили «Сказку о рыбаке и рыбке», «Сказку о царе Салтане», «Конька-горбунка». Большой любовью у нас пользовалась история «Лизочкиного счастья», вызывавшая слезы жалости и сочувствия. Больше же всего, особенно по вечерам, привлекала наше внимание толстая книга Брема о животных. Часами мы рассматривали ее. О некоторых животных даже читали, а по виду знали их всех, что называется, на зубок.

Мы не только читали. Положив руки на подоконник и глядя в окно, мы занимались изучением жизни крысиного семейства, квартировавшего под домом.

Первой из продуха вылезала толстая крыса-мать с длинным облезлым хвостом и жирным мешком под животом. Следом за ней появлялась усатая, с недобро прижатыми ушами, голова папы-крысы. Высунувшись наполовину из продуха, он внимательно принюхивался, поводя носом, не грозит ли какая опасность его обожаемому семейству. Только удостоверившись, что все вокруг тихо, и опасности не предвидится, присоединялся к своей смелой супруге.

За папой-крысой появлялись крысята. И тут начиналось самое интересное.

В то время как родители уходили на поиски пищи, детвора весело резвилась, предусмотрительно не отходя далеко от спасительного отверстия, куда можно было юркнуть в случае опасности. Они то играли в чехарду, кувыркаясь друг через друга, то бегали в догонялки, а то занимались борьбой. Наигравшись, рассаживались на солнце и подолгу чистились и умывались, забавно

орудуя своими лапками, словно мухи, попавшие в молоко.

Возвращались родители, и мирная картина резко менялась. Жадно бросались они на принесенные из помойки отбросы. Со злобным писком, нередко пуская в ход зубы, вырывали куски друг у друга. Картина злобной жадности была настолько отвратительна, что мы стучали в окно, и все семейство, забыв распри, моментально скрывалось под дом. К весне их расплодилось столько, что от них не стало никакого спасения.

– Леонид Петрович, хотя бы вы что-нибудь предприняли. Доняли меня крысы. Не успею цыплятам корм поставить, как они его тут же поедают. Удивляюсь, как они еще самих цыплят не перетаскали

Наконец, настойчивые жалобы бабушки проняли папу.

– Ох уж, мне эти крысы. И без них забот хватает, – вздохнул папа. – Несите, Вера Ивановна, свой корм, только смотрите ни кур, ни цыплят не выпускайте. Я сейчас, – сказал папа, пошел в кабинет и вернулся с ружьем.

– Как, Вера Ивановна, корм поставили?

– Как сказали, так и сделала, – ответила бабушка.

– А крысы собрались? Или это ваша фантазия?

– Какая там фантазия. Не верите – посмотрите в окно, – обиделась бабушка.

– Ну и ну, – удивленно протянул папа, – сейчас мы их прикончим, – решительно сказал он и взвел курок.

Грянул выстрел. Глиняная плошка с кормом разлетелась на куски. Крысы прыснули в разные стороны, но все же несколько трупов осталось рядом с развалившейся плошкой.

– Эх, дробь не та, – с сожалением проговорил папа. – На сегодня хватит, а завтра заряджу мелкой дробью, и охоту продолжим. Глядишь, от ваших крыс, Ве-

ра Ивановна, останутся одни неприятные воспоминания.

– Продолжить-то продолжим, да только откуда я столько плошек наберусь, – уныло пробормотала бабушка и пошла позвать дворника, чтобы он закопал папин трофей где-нибудь подальше от дома.

На следующее утро, забыв о вчерашнем разгроме, крысы снова облепили вынесенную бабушкой новую плошку с кормом. И снова выстрел папы уложил значительно большее количество крыс, чем это было накануне, и вдребезги разнес и вторую плошку. При виде осколков бабушка впала в уныние.

– Да вы не расстраивайтесь, Вера Ивановна, – рассмеялся папа. – Вот придет горшечник, и купите новых, сколько вам только потребуется. Грошовое дело ваши плошки. Зато на корме большая экономия будет.

Прошла неделя, и от крыс, действительно, осталось одно воспоминание. То ли папа перебил их всех, то ли напуганные ежедневным разгромом, оставшиеся в живых перебазировались куда-нибудь подальше от смертоносного грохота.

Той же осенью мы пристрастились еще и к рисованию. Краски привез нам папа. Получить краски было величайшим счастьем. Вооружившись кисточкой, Нина довольно удачно копировала и раскрашивала картинки из книг и журнала «Нива».

Я же такого вида искусство не признавала, предпочитая самостоятельное творчество. Я рисовала невиданные, экзотические цветы, аляповато раскрашивала их самыми яркими красками и, влюбленная в свои творения, назойливо показывала их по несколько раз на день всем домашним, требуя пристального внимания к моим творениям и восхищения ими.

Итак, дальше...

Стена папиного кабинета и спальни родителей составляли угол, где стояла кадка с дождевой водой. Как-то мама, занявшись с бабушкой какими-то хозяйственными делами, поручила мне, подвернувшейся случайно под руку, присматривать за Бориской. Было ему года два с половиной. Заигравшись, я забыла про свои обязанности няньки и вспомнила о брате только тогда, когда услышала его плач.

– Ниня! Ниня! – звал он глухим, словно из подземелья, голосом.

Прибежала сестра, и мы вдвоем обыскали весь сад. Все напрасно, Бориски нигде не было, и лишь голос его где-то рядом продолжал настойчиво призывать Нину. Мы еще раз обежали сад и снова безрезультатно. Отчаявшись разгадать таинственное местонахождение брата, мы решили позвать кого-нибудь на помощь, влетели в кухню и до смерти перепугали бабушку и маму, заявив, что Боря куда-то подевался, кричит, а самого нигде нет.

Бабушка и мама, побросав дела, побежали в сад вслед за нами, и мама без труда, ориентируясь на голос, нашла Бориску в той самой кадке, что стояла в углу под стоком. Ухватившись за край кадки, он висел на руках, удерживая голову над водой. Одному богу известно, как он не захлебнулся, когда, перевернувшись, какое-то время находился под водой. Мокрого и перепуганного выхватила мама его из кадки. А я здорово поплатилась за свою забывчивость. В тот день мне снова напомнили, что для провинившихся существует особый вид каши – березовый.

Мне было года три, когда я впервые познакомилась с этой недоброй кашей. Не помню, чем не угодила мне мама, но только чтобы отплатить ей, я залезла под кровать и, забившись в самый дальний угол и почувствовав себя в полной недосыгаемости, а значит и безнаказанности, принялась, вопя и размазывая по щекам злые

слезы, поносить ее самыми бранными словами, какие только знала: «собачье говно». На требование мамы немедленно вылезти из-под кровати, я не обращала ни малейшего внимания и продолжала упорно, как попугай, повторять свою брань.

И, увы... Мой угол не оправдал себя. Без особого труда кровать отодвинули, выволокли меня на свет божий и больно высекли березовыми розгами.

С того дня я твердо запомнила, что вступать в перебранку со старшими лучше не стоит.

ПРИЕЗД ОЛЬГИ. ПРУД. ГОРЕ БАБУШКИ

Получив мамино письмо, Ольга так обрадовалась, что не стала дожидаться обещанных на дорогу денег, собрала кое-как на билет и вместо ответного письма приехала сама.

Мы, дети, узнали Ольгу не сразу. Вместо заплаканной девочки-подростка, какой она мне запомнилась в день нашего отъезда из Дубно, на балкон легкой походкой поднялась довольно высокая кареглазая девушка с задорно вздернутым носом и сияющей улыбкой. Почтительно поздоровавшись с мамой, она бросилась обнимать бабушку и целовать нас.

– Да яка ж ты большая стала, да гарная, серденько мое, – покрывая поцелуями мое смущенное лицо, приговаривала она.

Дальше я должна перейти на родной русский язык. Украинский, которым свободно владела в раннем детстве, в настоящее время забыт мной настолько, что, пожалуй, будет лучше, если я не стану прибегать к нему.

– Александра Петровна! Вера Ивановна! До чего ж я рада, что вы не забыли меня. Вовек от вас не уйду,

если сами не прогоните, – говорила Ольга, блестя своими карими глазами и счастливо смеясь.

На следующее утро она весело принялась за работу. Вихрем носилась из комнаты в комнату. Все что-то мыла, скоблила, без конца перетирала, пока дом и все, что в нем находилось, не приняло праздничного вида.

Как-то, наблюдая, как Ольга умело помогала нам одеваться, как ловко расчесывала наши длинные волосы и плела косы, мама сказала находившейся в комнате бабушке:

– Почему бы тебе раньше не догадаться выписать Ольгу. Простить я себе не могу, что доверила свою крошку какой-то темной девке. Будь Ольга с нами, не умер бы Женечка, – и мама заплакала.

Не одна нянька была повинна в гибели младшего брата. Не будь мы такими запуганными, и не уделяй мама так много времени всевозможным припасам, она могла бы самолично присматривать и за нами, и за ребенком.

В километре от дома под высокой, покрытой стройными соснами, горой, точно в малахитовой чаше, лежал большой пруд с живописными берегами. В тихую летнюю пору в зеркальной глади пруда отражались глубокое небо и густые, темные кроны сосен. Вдоль берега, припадая к воде, теснился кустарник, потому вода под берегом казалась темно-зеленой и таинственной. Под вечер над водной гладью толклись комары и мошки. Но ни веселые пляски комаров, ни всплески играющей рыбы не нарушали присущего пруду покоя.

Когда у папы выдавалось свободное время, что случалось довольно редко, он забирал нас, и мы всем семейством отправлялись на пруд, где под ветвями плакучей ивы стояли две лодки. Припорошенный мучной пылью, из мельницы выходил мельник, молча кланялся и шел в сарайчик за веслами. Все усаживались в большую лодку, и мельник отталкивал ее от берега. Папа

брался за весла, и увлекательное путешествие вокруг пруда начиналось. Сколько радости вызывали у нас подобные прогулки! К сожалению, папа не часто имел возможность проводить свой досуг в кругу семьи. Одни к пруду мы не ходили. Это было запрещено, и этого запрета мы никогда не нарушали.

Мельник, плечистый старик с насупленными, клочкастыми бровями, почему-то внушал нам страх. Так же, как и непривычная мельничная обстановка. Вода из пруда с шумом падала на замшелое мельничное колесо. Колесо медленно с плеском перебирало своими покрытыми зеленой тиной лопастями, поочередно погружая их в глубокий с черной водой омут, где водились, со слов мельника, огромные щуки.

Стоило представить, в каком леденящем ужасе замирали глупые рыбешки, по оплошности попавшие в омут – царство щук, когда перед ними оказывалась зубастая пасть и два рыжих беспощадных глаза, как и нам сразу становилось не по себе.

От работы жерновов старое здание скрипело и тряслось как в лихорадке. И мы, помня о черной воде омута, даже в присутствии папы с замиранием сердца переступали порог мельницы, где так безобидно пахло мучной пылью и горячим зерном.

Добывать к столу живую рыбу поручалось деду. Рано поутру появлялся он на кухне и вываливал из ведерка в подставленный бабушкой таз еще живых, жадно открывающих круглые рты, окуньков, яззей и плотвичек – на уху. И крупных, жирных лещей – на второе. Рыбы в пруду было много. Катаясь в лодке, мы приходили в настоящий ажиотаж, когда рыба с шумом выплескивалась из воды и, блеснув серебряной чешуей, снова падала вглубь, оставляя за собой расходящиеся вширь круги.

– Да сидите ж вы смирно. Лодку перевернете, – нередко оговаривала нас мама.

Чтобы умерить наши восторги и поддержать маму, папа как-то сказал, что радоваться тут нечему, что рыба не играет, а выплескивается из воды, чтобы спастись от преследования щук.

В одно из наших весенних посещений пруда, дед почтительно доложил папе, что он приметил в омуте «огромдную» икряную щуку. Ежели Ляней Петрович пожелает покушать икорки с лучком и постным маслицем, то он с помощью сына постарается ту щуку поймать, покуда она не отметалась. Папа одобрил предложение мельника, и пару дней спустя сын деда, такой же плечистый, как и сам дед, принес в мешке большую толстобрюхую рыбину. Она широко открывала зубастую пасть и с ненавистью глядела немигающими, точно у змеи, рыжими глазами.

Чтобы икра получилась чистой, без примесей крови и пленок, маме посоветовали спускать икру, пока рыба не уснула. Щуку положили на стол. Она была хвостом, вырывалась, и, чтобы справиться с ее норовом, всем взрослым пришлось дружно приняться за работу. Мама держала щуку за хвост, Ольга – за голову, крепко придавив ее к столу, в то время как бабушка осторожно выдаивала икру. Чашка, в которую стекала икра, быстро наполнилась, и бабушка взялась за вторую. Операция затянулась, и понемногу все успокоились и утратили осторожность. Угомонилась и щука. Она смиренно лежала на столе, не делая никаких попыток к освобождению. Но это только так казалось. Почувствовав некоторое ослабление, щука внезапно сильно рванулась, и не успела Ольга снова прижать ее голову, как сама Ольга оказалось пленницей страшной пасти. От боли и страха потерять кисть руки Ольга закричала, попыталась освободиться от острых, как иголки, зубов, но щука крепко держала свою добычу и не была склонна с ней расставаться. Первой опомнилась бабушка. Она схватила большой кухонный нож и попробовала разжать

зубастые челюсти, но от мысли, что ножом она сможет поранить и без того сильно пострадавшую руку, бабушка отложила нож и вооружилась скалкой. Не знаю, чем окончилось бы ее сражение со щукой при помощи скалки, если б не вернулся папа. Не обнаружив никого в комнатах, он прошел на кухню и сразу все понял. Взяв нож, папа одним взмахом распорол щучье брюхо. Щука сникла, и папа без особого труда освободил залитую кровью руку. Несмотря на принятые мамой меры, к утру рука сильно опухла, посинела и так сильно болела, что всю ночь Ольга не спала, плакала и не находила себе места. Утром ее отвезли на станцию, усадили в поезд и отправили в Пензу показаться врачу.

Через неделю Ольга вернулась. Рука поджила, и никаких осложнений, к счастью, не произошло. Сидя на ступеньке крыльца, выходящего в сад, она подробно рассказывала бабушке о своей поездке и о своей встрече с бабушкиными сыновьями, у которых она, кстати сказать, останавливалась. Веселого в ее рассказе, по видимому, было мало. Слушая Ольгу, бабушка плакала и несколько дней после разговора ходила с покрасневшими глазами и убитым видом. Узнали и мы, что старший сын бабушки серьезно болен и что надежды на его выздоровление почти никакой нет.

Младший сын бабушки, Василий, сильно пьет и пропивает даже больше, чем зарабатывает, добывая недостающие деньги не совсем красивым путем. Чаще всего, жалуясь на свои беды и напасти, он вынуждал бабушку просить денег у мамы, и я помню, какого труда стоили подобные просьбы гордой бабушке. Своих денег у нее не было, а родители наши были не богаты. Получив с трудом добытые бабушкой деньги, Василий без зазрения совести пропивал их, а семья голодала. С того дня, денег Василию больше не посылалось. Семье его помогали лишь тем, что отправляли им все наши платяшки, из которых мы вырастали.

Старший сын бабушки вскоре умер. Бабушка ездила в Пензу и вернулась похудевшая и молчаливая, в черном платочке, с которым потом долго не расставалась.

ТЕТУШКА СОФЬЯ ВЛАДИМИРОВНА

После смерти брата Эрнеста ни одна из его четырех сестер ни разу не вспомнила о нас, его детях, и ни разу не поинтересовалась, живы ли мы. И, если живы, что с нами случилось.

В свое время они дружно восставали против вторичной женитьбы брата, считая, что простая русская девушка ему не пара. И они всячески выказывали его второй жене, нашей матери, свое полное к ней нерасположение. В конечном счете, мама привыкла к их забвению, и имена сестер-тетушек стали редко упоминаться в нашем семействе. Так родня со стороны отца отошла в далекое безрадостное прошлое.

И вдруг, чего никто уж не ожидал, из Нижнего Новгорода пришло письмо от тетушки Софьи Владимировны. В нем после уверений в преданности и излияний самых лучших чувств, следовала приписка, испрашивающая, ни много ни мало, согласие на проезд на летнее время «к дорогой Сашеньке погостить и на милых братниных деток поглядеть».

Мама была возмущена.

– После всего, что было, проситься погостить? Нет... это просто верх наглости, – кипятилась она.

Папа, как человек с более мягким характером, не счел возможным отказать в приезде неожиданным гостям.

– Все же родная тетка девочек. Как ей откажешь? – успокаивал он маму, которая и слышать не хотела о своей бывшей родственнице.

Но на этот раз, хотя и скрепя сердце, папа все же настоял на своем, и согласие на приезд было отправлено.

Получив письмо, тетушка, не откладывая сборов в долгий ящик, чрезвычайно быстро известила о дне своего приезда, не постеснявшись напомнить о лошадях, чтобы уж использовать, так использовать все возможности для удобства предпринятого ею вояжа.

Нельзя сказать, чтобы мама пришла в восторг от ее торопливости. Но что было делать? «Заварил кашу – не жалея масла» гласит русская пословица. И лошади к поезду были высланы.

Прибыла, по словам бабушки, богоданная гостья, сама – третья. Сын тетушки, длинный как жердь реалист Оскар, и дочка Милуша, как называла ее любящая мамаша, оказавшись значительно старше нас, повсюду совали свои носы и, кичась городским происхождением, к большой нашей досаде, подвергали не только нас, но и весь уклад нашей деревенской жизни, беззастенчивой критике и высмеиванию. К тому же Милуша, выражая свое, непонятное для нас, недовольство окружающим, ходила с надутой физиономией и на все наши старания быть радушными хозяйками лишь шипела, как рассерженная гусыня.

Зато сама тетушка повела иную политику, которую можно было охарактеризовать, как «мягко стелет, да жестко спат». Напустив на себя необыкновенное благорасположение, она по целым дням донимала маму своими восторженными ахами.

– Ах, Сашенька, как ты чудесно выглядишь! Ах! Какие прелестные у Эрнеста детки!

Маму несказанно коробило от подобной нетактичности тетушки. Родного отца мы не знали – он умер

слишком рано. И маме не хотелось, чтобы нам до поры до времени стало известно, что наш любимый папа приходится нам отчимом. К счастью, частое упоминание тетушкой Эрнеста было нам настолько чуждо, что проходило для нас пустым звуком, не вызывая никаких, желательных для нее эмоций.

Тетушка же, встретив в нашей семье полное, хотя и вынужденное, гостеприимство, не находила нужным считаться даже с Волковичем, для нее человеком совершенно уж посторонним, и, не стесняясь его присутствия, при малейшей возможности старалась вернуть, что де бедный Эрнест умер, и что мы, дети, должны любить его и помнить.

Так, однажды, получив очередной щипок от Милуши, характер которой уже в те годы не отличался добротой и мягкостью, я громко заплакала. Тетушка, вместо того, чтобы одернуть Милушу, доставлявшую нам немало огорчений своим злобным поведением и любовью к телесной расправе, с сокрушением посмотрела на меня и, покачав бровями, с укоризной проговорила:

– Ах, Оля, Оля! Как ты можешь так реветь? Ведь ты – Тунцельман.

Высказывание тетушки относительно Тунцельман не возымело на меня никакого действия. Тунцельман, так Тунцельман. А может, она еще скажет, что я самурай японский? Ну и пусть. Чем так ругаться, лучше бы взяла и свою Милушу тоже ущипнула, чтобы та не давала рукам воли. И я продолжала кричать и плакать.

Но странное дело. Тетушкин «тунцельман» почему-то прижился в нашем семействе. Стоило мне заплакать, как кто-нибудь тут же говорил, подражая интонации тетушки: «Оля, Оля, ведь ты тунцельман». И все начинали смеяться.

Чаще всех почему-то прибегал к этой ненавистой мне фразе папа. И мне стало казаться, что ему доставляет особое удовольствие поднимать меня на смех. «Не

иначе, как папа разлюбил меня», – размышляла я. Ведь когда не было этого тунцельмана, папа никогда не строил надо мной насмешек. И чтобы не давать ему такой возможности, я в его присутствии избегала плакать. Старания тетушки все же не пропали даром. Она таки забросила в мою душу зерно недоверия и подозрительности, и я стала следить за папиным ко мне отношением.

По своем отъезде, тетушка оставила нам и еще одну поговорку, чаще всего вспоминавшуюся по воскресным дням, когда к обеду бывал сладкий пирог.

– Ах! Пирог! Пирог! Пирог!

История ее такова.

В условиях сельской жизни, когда за всяким пустяком приходилось ехать за 25 верст, в летнее время немало внимания уделялось собственным заготовкам и запасам на зиму. Не считая самого необходимого, как солка огурцов, квашение капусты и сушка грибов, в подвале и леднике выстраивались в ряд кадки с солеными груздями, белянками и рыжиками. На полках подвала хранилось великое множество банок с маринадами и вареньем. Мариновались опята, мелкие по пуговке маслята и упругие крохотные рыжики.

На длинном столе балкона с южной стороны дома, где весь день палило солнце, стояли блюда с подсыхающей смоквой. На перевернутых вверх ногами табуретках висели мешочки со стекающим ягодным соком, заготовлявшимся для киселей. Много летнего досуга даже у нас, детей, занимала резка овощей на пикули и на разные салаты. Даже чистка ягод для варений и смокв также входила в наши обязанности. Сидя за столом перед ворохом овощей, мы с сестрой часто и горько сетовали, проклиная и овощи, и ягоды вместе со всеми запасами и припасами.

Тетушка Софья Владимировна в городских условиях не имела подобной возможности. Но не желая ока-

заться в тени, всячески старалась доказать, что и она хозяйка хоть куда, и что у нее-то в хозяйстве никогда, ничего даром не пропадает.

Так, заметив однажды, как бабушка выбрасывала земляничные выжимки, оставшиеся после отжима сока, она принялась уговаривать бабушку впредь такого расточительства не допускать, а употреблять их на начинку сладких пирогов.

– Что вы, Вера Ивановна, – возмущалась тетушка, – где ж это видано, чтобы выбрасывать такое добро. Стоит не пожалеть лишней горстки сахара, и пирог будет на славу! Прошу вас, сделайте мне такое удовольствие, и вы убедитесь, насколько я права.

Бабушка, пожимая плечами, в свою очередь, пыталась вразумить тетушку, что выжимки ни на что не годны, что кроме горечи в них нет ни вкуса, ни аромата. Однако переубедить тетушку было не так-то просто, и бабушка капитулировала.

И вот для следующего воскресного пирога, чтобы доставить тетушке выговоренное ею удовольствие, сдобное тесто бабушки получило начинку тетушки.

После второго с ледника принесли молоко. Подали пирог.

– Ах, пирог! Пирог! Пирог! – вскричала она, захлопав в ладоши. – Ах, какая это прелесть – пирог с земляничной начинкой! Не знаю, кто как, а я забираю кусочек побольше, – и тетушка положила на свою тарелку изрядный кусок пирога.

Положили и всем остальным. Удивленные шумными восторгами тетушки, мы с недоумением смотрели, с каким вожделием примеривалась она к куску и с каким нетерпением вонзила в него зубы. И окончательно пооткрывали рты, когда лицо тетушки вдруг перекошилось, глаза часто-часто заморгали, и, покраснев как рак, тетушка выскочила из-за стола и скрылась в кухне.

– Что с ней? – в свою очередь удивился папа.

– Не знаю, право, – улыбнулась мама.

И только попробовав пирог, все поняли причину тетушкиного бегства. Начинка пирога, несмотря на бабушкины старания, была горькой, как полынь.

Посрамленная тетушка к столу не вернулась. Пирог выбросили. А «ах, пирог! пирог! пирог!» осталось как поговорка, когда хотели над кем-нибудь из нас подшутить за излишнюю восторженность или жадность.

Расскажу и еще об одном промахе тетушки, допущенном ею в силу все той же самонадеянности.

Как-то мама купила у коробейника на летнюю юбку легонький полосатый материал. Разложив материал на столе, она стала соображать, как бы так раскроить его, чтобы все швы получились в елочку. Мама с сантиметром в руках ходила вокруг стола, пока на балкон не вышла тетушка. Присев возле мамы, она внимательно наблюдала за всеми ее действиями и, конечно, не держала.

– Это ж так просто, Саша. Чего тут размышлять. Дай ножницы, и я тебе мигом раскрою твою юбку, – с апломбом заявила она.

Мама пододвинула ей ножницы и не успела мигнуть, как тетушка проворно защелкала ими по материалу, помогая себе высунутым от усердия языком.

– Вот и готово, – объявила тетушка, окинув маму покровительственным взглядом.

Клинья развернули, и как ни прикладывали их друг к другу, елочка не получалась. Сконфуженная тетушка пыталась было что-то предложить для исправления своей поспешности, но под холодным маминым взглядом осеклась и поспешно ретировалась. Расстроенная мама свернула куски испорченной юбки и отправила их в мешок с лоскутами.

После этого домашнего инцидента и появилась у нас новая поговорка. Когда что-либо делалось быстро, но плохо, говорили с укором: «Эх ты, швея Софья».

Так, расточая непрошенные советы и излишние наставления нам, детям, тетушка наслаждалась праздной жизнью, ничуть не смущавшей ее. В то время как мы все бывали чем-то заняты по хозяйству, тетушка со своими чадами уходила в лес, выбирала местечко поуютней и, раскрыв над собой красный в белый горошек зонтик Милуши, подолгу лежала, переворачиваясь с боку на бок, пока бока у нее не начинали болеть. Тогда тетушка перебиралась в большой сад в розарий и, пользуясь отсутствием посторонних, снимала с себя все лишнее, а лишним оказывалось буквально все, оставшись в костюме прародительницы Евы, ложилась принимать солнечные ванны.

Вначале подвернувшийся ненароком старый садовник при виде тетушки оторопело останавливался, потихоньку, чтобы не быть замеченным, конфузливо ретировался и, лишь оказавшись на почтительном от нее расстоянии, принимался отплевываться. Только пожаловавшись папе и получив от него совет – не обращать внимания на лечащую солнцем барыньку, перестал ее пугаться. Наткнувшись на тетушку-Еву, он молча отворачивался, но работы не бросал.

В подобных мероприятиях тетушка и проводила свое время. Помочь же бабушке и маме по хозяйству времени у нее, конечно, не было. Отдыхать – так уж отдыхать, и никаких гвоздей.

Длинный Оскар, которого я узнала как следует значительно позже, развлекал нас, мороча нам головы умением глотать пойманных в кухне мух. А Милуша, вечно недовольная и вечно насупленная, признавала лишь серенького котенка, проявляя любовь к нему тем, что без усталости сосала у него ухо, пока оно не облезло, а для разнообразия щипала и поколачивала нас.

Проявляли ли наши негаданные гости в отношении нас что-либо хорошее – не знаю. Возможно, и проявля-

ли, но запомнилось мне лишь то, что ни любви, ни привязанности к ним в нас не пробуждало. Мы как были, так и оставались чужими.

СТАРАЯ КНЯГИНЯ

В разгар лета, когда сенокос подходил к концу, и с лугов тянулись высокие возы душистого сена, папа получил письмо от владельца имения – князя Ознобишина.

Князь писал, что его мать, старая княгиня, решила пожить в деревенской тиши, отказавшись на этот раз от наскучивших ей заграничных курортов. Письмо, в котором князь просил папу срочно приготовить дом для приема княгини, было написано на дорогой бумаге с княжеской монограммой.

В тот же день был призван староста. Ему и было поручено нанять поденщиц и проследить за тщательной уборкой дома. Рано утром двери и окна господского дома широко распахнулись, и затхлый запах, устоявшийся в непроветриваемом помещении, под напором чистого воздуха, напоенного солнцем и ароматом роз, дрогнул, заколебался и, подхваченный веселыми сквозняками, потянулся наружу. Белые занавеси, так долго неподвижно свисавшие вдоль окон и таившие от наших любопытных глаз внутренность княжеских апартаментов, зашевелились, вздулись парусами, легко вылетели в раскрытые окна и, радуясь своему пробуждению от долгой спячки, точно живые, затрепетали и забились в лучах раннего солнца.

Приведенные старостой женщины дружно взялись за работу. И пока мы с Ниной ходили по комнатам, с интересом рассматривая незнакомые вещи, картины, нарядную сверкающую посуду за стеклянными двер-

ками шкафов и невиданную ранее фисгармонию с ключим валиком внутри, они вынесли в сад мягкие диваны, кресла и ковры и старательно заколотили палками, выбивая скопившуюся в них пыль и упрямых жирных пауков, не желающих добровольно расставаться с обжитыми местами. Когда все было вымыто, выстирано, тщательно протерто и проветрено, дом стал походить на счастливого именинника, широко и приветливо распахнувшего двери для приема гостей. Накрахмаленные белоснежные занавеси и большой букет роз, поставленный мамой в столовой, дополнили его нарядность.

Папу, проверявшего выполнение работ, мы потащили в комнату, где стояла фисгармония, и потребовали, чтобы он объяснил нам ее устройство. И папа охотно рассказал нам, для чего существует валик, а для наглядности покрутил ручку. Старая, заброшенная фисгармония несколько раз чихнула, и, поперхнувшись, с грехом пополам заиграла какую-то тягучую мелодию, наполнив комнату вздохами и всхлипами. Мы были поражены мастерством хрипевшего ящика. Папа же, бросив вертеть ручку, зажал уши и побежал из комнаты мелкими-мелкими шажками, с опаской оглядываясь на все еще вздыхавшую фисгармонию. Взрыв нашего хохота был наградой за его шутку.

Сад также принял парадный вид: дорожки тщательно подмели и посыпали желтым песком, траву вдоль дорожек аккуратно подстригли, землю вокруг кустов роз еще раз пропололи и вскопали.

Все было готово к приезду княгини, о чем папа и известил князя.

День уборки стал последним днем нашего пребывания в саду. Запрет был выдан нам тоном, применявшимся папой в редких случаях, но уж если применялся, мы подчинялись ему беспрекословно.

Но на этом чудеса еще не кончились. Из каретника выкатили новую вместительную коляску. Кучер Михайло долго трудился, протирая ее со всех сторон, пока лакированные бока коляски не заблестели. Он то поднимал верх коляски, то снова опускал его, вычищая затаившиеся в складках пылинки. Колеса с золотыми полосками на спицах были чисто вымыты и смазаны.

В день приезда княгини в коляску заложили тройку одномастных лошадей с прилежным коренником, всеми признанным специалистом по осторожному спуску экипажей с гор. Под стать ему подобрали и надежных пристяжных.

Тройка молодых лошадей выглядела бы импозантнее, но кучер Михайло решил отказаться от этой затеи. Молодые да горячие, могут и понести, кто знает, что может взбрести им в головы. А ведь коляска предназначалась не кому-нибудь, а самой княгине.

Одним словом, все было продумано и предусмотрено. Для прислуги, сопровождающей княгиню, предназначили тарантас, запряженный парой резвых лошадей, – слугам полагается приехать несколько раньше, чтобы встретить хозяйку и приготовить для нее все необходимое. Под багаж снарядили телегу.

Мы с любопытством наблюдали все эти хлопоты и приготовления и с большим нетерпением ожидали возвращения экипажей. Мама запретила нам выходить за пределы нашего двора, но как только из-за горы показалась первая упряжка, мы без раздумья ослушались запрета и вместе с Ольгой побежали посмотреть на приезжих.

Первым появился, как и должно было быть, тарантас. В нем сидели старшая горничная, лакей и повар, а в ногах у них тряслись два пуделя – белый и черный. Как ни быстро катился тарантас, мы все же успели разглядеть и собак, и их заморскую стрижку. Наш черный

пудель Кадо не был знаком с ножницами и курчавился от кончика носа до кончика хвоста.

Вскоре появилась и коляска. Согбенная старуха в большом кружевном чепце с темной вуалью на глазах, подпертая со всех сторон подушками, полулежала на сиденье. Голова ее мелко тряслась и при малейшем толчке коляски немощно качалась из стороны в сторону. Когда Михайло подкатил к крыльцу и лихо осадил тройку, чепец княгини беспомощно рванулся назад, потом клюнул вперед, и нам показалось, что старая голова вот-вот оторвется. Сидевшая рядом с княгиней немолодая особа, видимо, компаньонка, ахнула, и чуть не уронила с рук малюсенькую собачку шоколадного цвета. Пока компаньонка занималась собачкой, подбежавшие лакей и горничная помогли княгине выбраться из подушек и, подхватив ее с двух сторон под руки, осторожно провели в комнаты.

На этом представление окончилось. Чтобы не попасться на глаза папе, встречавшему княгиню, мы заспешили домой. Вскоре вернулся и папа. Он почему-то был не в духе и еще раз напомнил нам о запрете появляться в саду. На вопрос мамы, не надо ли послать на кухню княжеского дома еще чего-нибудь, кроме заранее отправленной туда провизии, папа ответил:

— Не знаю. Единственное о чем попросила меня княгиня, это чтобы ни в саду, ни вокруг дома никого из посторонних не было. Она не хочет, чтобы ее беспокоили.

Прощай, сад! Прощайте, розы, легкокрылые стрекозы и любимая терраса с разноцветными стеклами! Теперь все переходило в полное и единоличное владение ветхой княгини.

Известно, что запретный плод особенно сладок. Если мы совсем еще недавно, пристрастившись к лесу, вполне обходились без сада, то с приездом владелицы имения почему-то остро почувствовали его потерю.

Теперь сад неудержимо притягивал нас. Потихоньку от мамы мы подбирались к его ограде и с неприязнью наблюдали за старой княгиней, виновницей нашего изгнания.

В длинном кружевном пеньюаре, с неизменным чепцом на трясущейся голове, она, словно выходец с того света, медленно бродила, опираясь на палку, по дорожкам сада в обществе шоколадной левретки, семенившей следом за ней. Единственно кто оживлял мрачную картину прогулки старой дамы, были все те же два пуделя, белый и черный, суматошно носившиеся поодаль. Почему-то особую неприязнь и даже страх вызывали у нас ее сухие руки с длинными отточенными ногтями, напоминавшими нам цепкие когти хищных птиц. Если б княгине вздумалось обратить на нас внимание и хотя бы погрозить пальцем, то и этого было бы достаточно, чтобы мы в страхе разбежались.

Как только прогулка старой дамы заканчивалась, жизнь возле дома и в саду снова погружалась в дремотную тишину. Лишь струйка дыма, тянувшаяся из кухонной трубы, свидетельствовала, что дом обитаем и что повар с утра до вечера трудится у жаркой плиты. Он ежедневно появлялся в конторе. Ежедневно выписывал и забирал провизию, несказанно удивляя и расстраивая нашу расчетливую бабушку своими непомерными требованиями.

– Да куда же это ему столько, – возмущалась бабушка. – Двух дней не прошло, как масло брал, а сегодня – опять масло.

– Ты-то что волнуешься? – останавливала бабушку мама. – Пусть берет. Нам-то какое дело.

– Так-то оно так, – соглашалась бабушка и снова принималась негодовать. – Ведь этими продуктами, что он забирает, роту солдат накормить можно. Так ведь недолго и имение растащить. А в ответе кто будет? – вопрошала она.

– Опять не твоя забота, – начинала сердиться мама. – По требованию берет, в случае чего, сам и отвечать будет.

Действительно, привезенные княгиней слуги и взятые им в помощь служанки и не помышляли о каком-то там бережливом отношении к хозяйскому добру. Дорвавшись до возможности неограниченно и бесконтрольно пользоваться дарами поместья, они жили без забот и питались в свое полное удовольствие. А соответственно этому, и развлекались. Как только княгиня уходила в свою спальную комнату и засыпала, раздобревшая от безделья прислуга завладевала садом. По целым ночам напролет в нем раздавались приглушенные взвизгивания и хихиканье, а подчас и просто громкий хохот.

А наутро княгиня призывала старосту, случалось, что и папу, и, сердито тряся чепцом, требовала «остепенить мюжик», как выражалась она, чтобы не смели пугать ее по ночам. И никак не хотела понять, что подозреваемые ею мужики совершенно тут не при чем.

Папа не любил подобных вызовов и всячески старался уклониться от них. Он занимался своими прямыми обязанностями и неохотно вмешивался в личные распоряжения княгини. И все же после очередной выходки столичного лакея, папа до того был возмущен его наглым поведением, что решил не с помощью старосты, а самолично довести до старческого сознания княгини, кто является прямыми нарушителями ее приказов.

Получилось это так. В тот день, вконец расстроенные и подавленные увиденным, прибежали мы к маме и, захлебываясь и перебивая друг друга, рассказали ей, что кто-то из княжеских слуг слепил пуделей репьями, гоняют их по саду и давятся хохотом, глядя, как они с визгом кувыркаются, а разделить не могут. Мама смущенно выслушала нас, но почему-то смолчала. То-

гда и отправился папа к княгине, и все рассказал ей о наглom поведении привезенных ею слуг.

Результат папиного визита оказался самым неожиданным. Пока возмущенный папа излагал ей о необходимости принятия самых строгих мер для пресечения дальнейшего своеволия, с лица старухи не сходило крайне испуганное выражение. Вконец разволновавшись, она заявила, что давно приняла решение вернуться в Петербург, но только колебалась назначить день отъезда. Теперь же она окончательно убедилась, что уехать ей следует как можно скорее, о чем и попросила немедленно сообщить сыну.

– Если эти несносные хамы не желают выполнять моих приказов, то ведь и убить меня они могут,– добавила она, и голова затряслась еще сильнее.

Папа сделал попытку успокоить княгиню, доказывая ей, что опасения насчет убийства совершенно беспочвенны, но старая дама и слышать ничего не хотела и упорно твердила:

– Нет, нет. Я уезжаю.

Вскоре старая княгиня с приближенными, слугами и собаками покинула Юлово.

Сад снова открыл для нас свои широкие объятия, и все пошло по-старому. Прошло некоторое время, и княгиня забылась. И лишь Кадо, единственный по-настоящему пострадавший из-за ее приезда, все еще никак не мог отделаться от ужаса при виде ножниц.

Получилось это так: пришла маме фантазия подстричь нашего глубоко провинциального Кадо на манер его столичных сородичей. Кадо вымыли, и мама, нарядившись в бабушкин передник, старательно зашелкала над ним ножницами. От неожиданности Кадо сначала обомлел, а потом начал дико вырываться. Тогда мама посоветовала нам не сидеть, пораскрывав рты, а держать Кадо за ошейник. Поняв, что дела его нику-

дышные, Кадо смирился и от волнения лишь поминутно зевал и трясся всеми поджилками.

– Ты не бойся, Кадошенька,– уговаривали мы насмерть перепуганного пса, заглядывая в его добрые собачьи глаза.– Мама тебя подстрижет по-княжески, и ты тоже будешь красивый-прекрасивый.

А ножницы, знай себе, пощелкивали. Когда на скорбной мордочке Кадо появился пушистый венчик, а на передних лапах – два кокетливых помпончика, мама устала, и на смену ей пришла Ольга.

– Готово!– закричали мы в восторге, когда туалет Кадо закончился такими же помпончиками на задних лапах и кисточкой на хвосте.– Теперь тебя, Кадошенька, никто не узнает, такой ты стал красивый.

Но Кадо не разделил наших восторгов. Оглянувшись на свой оголенный зад и на необыкновенное украшение хвоста, он жалобно взвизгнул и забился к маме под кровать в тот самый памятный мне дальний угол, оказавшийся не таким уж надежным укрытием.

Несколько дней Кадо упорно сидел под кроватью, несмотря на все наши старания выманить его из добровольного заточения. И лишь поздно вечером, когда становилось совсем темно, он отваживался выскочить во двор, чтобы сейчас же вернуться обратно. Мы уже начали не на шутку беспокоиться, как бы Кадо не умер с голода. Но Кадо не умер. Постепенно он привык к происшедшей с ним метаморфозе и перестал стесняться своей кисточки на хвосте.

КНЯЗЬ ОЗНОБИШИН. МАЛЮТКА. МОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Не помню, сколько дней, а может недель, прошло со дня поспешного бегства княгини, когда папа в ответ на мамины жалобы на скуку сказал, что в имение собирается приехать сам владелец – князь Ознобишин, и

припугнул: «Вот приедет, тогда забудешь, как и скучать».

Живя в столице, князь служил в гвардейском полку. В имение наезжал редко. Часто бывал за границей и тогда обязательно напоминал о своем существовании нетерпеливыми требованиями денег.

Я смутно помню, как папа расстраивался, получив от князя подобное письмо. И как он бывал сильно не в духе, когда это случалось в момент весенних или уборочных работ. Чтобы своевременно управиться с делами, требовались сезонные рабочие-поденщики, а значит, нужны были и деньги для расплаты с ними. Получив письмо, папа ходил удрученный, часто вздыхал и жаловался маме:

– Ну, как вести хозяйство! Чтобы оно давало доход, нельзя манкировать временем. Недаром говорится, что один весенний день год кормит. И так в обороте мало средств, а тут еще князь ничего не хочет признавать и снова вот просит перевода, – папа потрясал полученным письмом. – Что же я-то буду без денег делать?

Но время шло. Папа как-то выпутывался из затруднительного положения, и князь получал требуемую сумму.

Наша деревенская жизнь в Юлово текла слишком обыденно, и маме, молодой горожанке, конечно, было скучно. Сообщение папы она встретила с большим интересом. Князь писал, что его приезд не будет продолжительным, что заводить свою кухню на несколько дней считает лишним, а надеется, что уважаемая Александра Петровна будет так любезна, что разрешит ему питаться совместно с нашей семьей. Мама с большим оживлением отозвалась на просьбу столичного гостя. И чтобы не ударить в грязь лицом, чего ей совершенно не хотелось, принялась заблаговременно на несколько

дней вперед составлять меню. И прежде чем отправить нарочного на станцию Инза, где имелись торговые лавки, тщательно обдумывала, составляя список необходимого, чего не было в нашем хозяйстве и что могло ей понадобиться при готовке.

Когда долгожданная телеграмма о приезде князя была наконец получена, а лошади, на этот раз самые резвые, к поезду отправлены, мама в полном вооружении, уверенная в успехе, отправилась на кухню.

И тут же во дворе поднялся полный переполох. Бабушкин опытный глаз безошибочно выбирал самых жирных цыплят, конюх, привозивший ежедневно бочку ключевой воды, отрубал им головы. На плите степенно закипал бульон. На столе под холщовым полотенцем вздыхали слоеные пирожки с рисом и яйцами. А Ольга старательно драила, принесенную из чулана, давно валявшуюся без внимания, вафельницу, потому что мама решила на третье приготовить трубочки с взбитыми сливками.

Чтобы яснее представить себе связанные с маминой затеей огорчения, я должна была бы рассказать более подробно обо всех ее приготовлениях. Но я не буду этого делать, итак, по словам моей дочери Наташи, я слишком часто и слишком много распространяюсь о всевозможных вкусных вещах, от которых у моей внучки не всегда вовремя начинают течь слюнки. Скажу только, что испеченные по всем правилам поваренной книги вафли не всегда желали выниматься из формы, что страшно омрачало настроение мамы, но, к слову сказать, ничуть не огорчало нас. Усевшись на лавку против печки, мы каждую испорченную вафлю встречали шумными восторгами, делили между собой на три части и с хрустом съедали.

Мама то разбавляла тесто, то делала его погуще, но вафли продолжали ломаться. Чтобы как-то разрядить свое вконец испорченное расположение духа, мама

сначала прикрикнула на нас, чтобы мы прекратили свои неуместные восторги, а затем и вообще выставила нас за дверь.

Надо сказать, что приезд князя взволновал не только маму, а и все наше семейство. Но, кажется, никто не ждал его приезда с таким нетерпением, как я. Причиной тому были события, не относящиеся ни к скуке, ни к поварскому азарту.

Просто на конном дворе у одной рабочей матки незадолго до описываемых событий родился слабенький жеребенок серо-бурой чудной масти. Прошла ночь, а жеребенок все еще не научился подниматься на свои непослушные ножки. В то время как ему с трудом удавалось встать на колени передних ног, задние разъезжались, и он снова падал. Я долго стояла у стойла, наблюдая за его беспомощными попытками, и при каждом его новом падении у меня от жалости к нему сжималось сердце.

Наконец, я не выдержала, тихонько приоткрыла дверь и просунулась в стойло. Мать жеребенка недоверчиво покосилась на меня фиолетовым глазом, шумнодохнула мне в лицо, ткнулась теплой мордой в руки и осторожно переступила с ноги на ногу. Я сделала несколько несмелых шажков и, нагнувшись к жеребенку, с трудом помогла ему подняться. Он тут же потянулся к матери под брюхо и жадно зачмокал, помахивая от удовольствия куцым хвостиком. Я засмеялась.

С того раза не было дня, чтобы я ни навестила своего нового любимца, названного за миниатюрность Малюткой.

Жеребенок постепенно окреп и неожиданно превратился в веселого, потешного стригунка, завладевшего моим сердцем настолько, что я готова была сутками не отходить от него. При всяком мало-мальски удобном

случае я подходила к папе и настойчиво упрашивала его подарить мне Малютку.

Папа даже сердился.

– Зачем это тебе нужно? – с недоумением спрашивал он. – Что ты будешь с ним делать? Это же не игрушка. Во-первых, ему нужно материнское молоко, а во-вторых... И вообще все это глупости! Не приставай ко мне. Как я могу подарить тебе чужую собственность? Об этом ты думала? Малютка принадлежит князю. Поняла?

Понять-то я поняла, и все же ни за что не хотела расстаться с мечтой завладеть полюбившимся мне жеребенком. Мечты мои зашли так далеко и стали казаться мне настолько реальными, что мне и в голову не приходило, что бывает и так, что мечты остаются только мечтами. Часто, лежа в постели, я представляла себе, как буду ухаживать за ним, как буду кормить, чистить, как он вырастет, станет большим, красивым коном. Все мне будут завидовать. А я буду скакать на нем, и никогда-никогда мы с ним не расстанемся.

Вот почему, когда папа сказал о приезде князя, я сразу решила, что как только князь приедет, я подкараулю его одного и попрошу подарить мне Малютку. Раз папа сказал, что он не имеет права дарить чужую собственность, то кто может запретить хозяину распорядиться, как ему захочется, своим жеребенком. А у него и без того много лошадей: и выездных, и рабочих. Так рассуждала я. План свой, до поры, я держала в тайне, и даже Нина о нем ничего не знала.

Как только мама выставила нас из кухни, я, не сказав никому ни слова, побежала к барскому дому, чтобы заранее подыскать такое местечко, где я смогла бы беспрепятственно поджидать удобного момента для разговора с князем. От него зависело сделать меня самой счастливой обладательницей Малютки или, о чем

даже думать не хотелось, повергнуть меня в мрачную пучину отчаяния и слез.

Обежав вокруг дома, я остановилась у старой развесистой яблони, удобно стоявшей как раз против окон княжеской спальни. Яблоня давно одичала, и мелкие плоды, ежегодно в изобилии покрывавшие ее ветви, были настолько кислыми, что когда мы их ели, то от кислоты и горечи, сводивших нам скулы, невольно строили самые невероятные рожицы.

Не долго думая, я залезла на яблоню и затаилась среди ее густых ветвей. И уже сидя среди веток, сообразила, что просить о подарке, а самой придти с пустыми руками как-то не совсем удобно. Надо что-то подарить. Но что? Я поспешно перебирала в уме все свои игрушки и совсем пала духом. Среди игрушек не было ничего достойного подарка. И тут мое внимание привлекли окружавшие меня зеленые яблочки. «Вот и подарю яблочко, – повеселела я. – Правда, они кислые. Пусть кислые, но все же лучше, чем ничего». И я принялась набивать горькой зеленушкой кармашки своего передничка. Неожиданно раздался дружный топот конских ног и громкое «тпру-у-у-у». Я чуточку раздвинула ветки и притихла.

В подкатившей к крыльцу коляске в обществе папы сидел, весело с ним переговариваясь, красивый, выхланный офицер в белом кителе и белой фуражке. Продолжая что-то говорить, он сошел с коляски и поднялся на крыльцо. Папа напомнил ему, что обедаем мы по-деревенски рано, в час дня, и предложил, что если князь пожелает остаться у себя, то обед ему будет принесен на дом. Воспользоваться предложением папы князь отказался, попросил разрешения придти к обеду к нам и посмотрел на часы.

– Уже час, – сказал он, – а я еще должен привести себя в порядок после дороги. Пожалуйста, Леонид Петрович, извинитесь перед Александрой Петровной за

невольную мою задержку. Я постараюсь побыстрее,— и, кивнув папе, князь прошел в приготовленные для него комнаты.

Мне хорошо была видна внутренность его спальни. Любопытство оказалось сильнее первоначального испуга и, раз уж так получилось, то я и не спешила покинуть свой наблюдательный пост. Притаившись среди ветвей, я смотрела, как князь вошел в комнату, как он долго плескался под умывальником и старательно чистил зубы. Покончив с водой и вынув из чемодана пушистое полотенце, он подошел к окну. Вытирая лицо и руки, рассеянно поглядывал в окно. Вдруг глаза князя посерьезнели и прищурились, так смотрят сильно близорукие люди, и он стал внимательно вглядываться в листву, где сидела я.

Разобравшись, что за зверь притаился на ветке, князь приветливо закивал мне и доброжелательно поманил рукой.

— Что ты тут делаешь, прекрасная незнакомка? — шутливо спросил он

Застигнутая врасплох, я сильно смутилась, но все же ответила, что рву яблоки, чтобы угостить его.

— Угостить меня? — засмеялся князь. — Так для этого нужно слезть с дерева и подойти поближе. Иди же сюда.

Я спустилась с яблони и несмело стала подниматься на крыльцо. Дверь в комнаты стояла раскрытой и, когда я вошла, князь все еще вытирал свои взлохмаченные волосы.

— Пришла? Давай знакомиться, — все так же улыбаясь, сказал он. — Как тебя зовут?

— Оля.

— Где же твои яблоки?

Я вынула из кармашка полную горсть зеленушек и высыпала их в протянутую князем руку. Князь выбрал яблочко покрупнее, положил в рот и, склонив голову

набок, с видом величайшего удовольствия стал его разжевывать. Проглотив и даже не поморщившись, князь с лукавой смешинкой в глазах, спросил меня, чем же ему отплатить за мое чудесное угощение. Он явно забавлялся.

– Ах да! Совсем забыл, у меня ведь есть совсем даже неплохие конфеты. Сейчас мы их достанем.

И он направился к раскрытому чемодану.

Я почувствовала, что лучшего момента для моей просьбы, может, больше и не представится и, набравшись решимости, остановила его.

– Не давайте мне конфет. Подарите мне, пожалуйста, Малютку.

– Малютку? – переспросил князь, – А что это такое – малютка?

– Это жеребенок. Он совсем еще маленький, – поторопилась добавить я, чтобы он не подумал, что я прошу большую лошадь. – Пожалуйста, – повторила я, – я его очень люблю.

– Так ты говоришь, что очень его любишь. А скажи ты мне сначала, кто твой папа.

У меня упало сердце. Теперь, конечно, откажет, промелькнула у меня испуганная мысль. Он спросит папу, а папа скажет, что ему совсем не хочется, чтобы у меня был жеребенок.

– Мой папа – Леонид Петрович, – упавшим голосом ответила я.

– Вот оно что. Ты дочка Леонида Петровича. Ну, тогда все в порядке. Забирай Малютку.

Наверное, в моих глазах вспыхнула такая огромная радость, что князь расхохотался.

– А не пора ли нам идти обедать? Ты как думаешь? – все еще смеясь, спросил князь.

– Пора! Конечно пора! – светясь от счастья, весело подхватила я.

Если б он сказал, что мне пора прыгнуть с дома, или залететь на самую высокую сосну, я, не задумываясь, ответила бы, что пора и охотно выполнила бы его любое предложение. Ведь князь подарил мне Малютку. Малютка моя! Моя, моя! – пело во мне. Я была так счастлива, как тогда, когда получила в подарок золотую чашку.

Пока я переживала радость исполнения моего неумного желания, князь надел свежий китель, поправил перед зеркалом фуражку и повернулся ко мне.

– Я готов. Веди.

Папа только было собрался встречать князя и уже спускался с крылечка, когда я махом раскрыла калитку, и стремглав полетела к нему, оставив князя.

– Папа! – закричала я. – Малютка моя! Мне подарили Малютку!

Но вместо ответной радости я увидела папины нахмуренные брови и строгие глаза.

– Перестань шуметь и веди себя приличнее. Об этом мы еще поговорим, – сказал папа и пошел навстречу князю.

У меня сжалось сердце.

Во время обеда князь держался просто, ел и прихваливал и домашние соленья, и маринады. Были поданы и трубочки с взбитыми сливками. К великому маминому удовольствию прохладные трубочки снискали также полное одобрение. Князь много смеялся, поблескивая золотым зубом, и к концу обеда все наше семейство было окончательно покорено его простотой и приветливостью.

Среди всеобщего оживления я нет-нет, да поглядывала на папу, стараясь разгадать, что может сулить мне обещанный им разговор. О чем можно еще говорить, мучилась я. Ведь сам хозяин, а не кто-нибудь, подарил мне жеребенка. Только почему он ничего не говорит об этом папе. Я все ждала и все надеялась, что князь

вспомнит и заговорит о сделанном мне подарке. Но кончился обед, все поднялись, а я так и не дождалась никакого от него сообщения.

После обеда по просьбе князя состоялась семейная прогулка к пруду. Мама, нарядная, под светлым зонтиком, была оживлена, охотно смеялась над шутками князя и выглядела довольной и счастливой. Но как это нередко случается, неожиданное происшествие испортило нашу редкостную прогулку. Неподалеку от пруда из-под горы журчал прозрачный, как льдинка, и как льдинка холодный родник. Вода родника сбегала в небольшой водоем, из которого воду набирали в бочку и привозили к нам во двор. К нему же ходили и крестьянские женщины с коромыслами и ведрами. Мы подошли к роднику, и из-под наших ног рассыпанным горохом запрыгали крохотные забавные лягушата. Я бросилась ловить их, намереваясь показать маме и князю, но князь решил, видимо, не отставать от меня в проворстве, быстро нагнул, раздавался треск, и белые бриджи князя лопнули по шву. Князь сконфуженно отпрянул в сторону, извинился перед мамой и торопливо зашагал обратно к дому.

Чтобы лишний раз не смущать попавшего в неловкое положение столичного гостя, мама умышленно задержалась у родника и, когда князь отошел на приличное расстояние, вместе с нами повернула обратно.

Два дня князь под руководством папы объезжал свои владения и осматривал хозяйство. По вечерам они сидели в конторе, вели деловые разговоры, а мы князя видели только за столом. Ссылаясь на кратковременность отпуска, он очень торопился и, как только с делами было покончено, уехал. Напомнить ему о Малютке мне так и не удалось. Попробовала я было снова пристать к папе, но он так сердито цыкнул на меня, что сразу отбил охоту не только говорить, а даже мечтать о ней.

Так вольно или невольно князь преподал мне один из житейских уроков, что не каждому слову, сказанному даже взрослым человеком, можно верить.

Кажется, потерпев полное крушение своих надежд обзавестись собственным конем, я должна была бы впасть в уныние и вернуться к своим забытым куклам. Все же этого не произошло. Правда, унынию на какое-то время я поддавалась, но перебороть своего презрения к куклам и влечения к лошадям так и не смогла. И не только на детские годы, а, пожалуй, на добрую треть всей моей жизни жила во мне горячая любовь к этим удивительным животным.

Настоящие лошади в то время были для меня недоступны, и я с помощью своего неукротимого воображения заменила их палками. Отважно скакала я на своем импровизированном коне, степенно разъезжала на паре, подражая кучеру Михайло, лихо подавала тройку под Нинины куклы. Каждая моя лошадь наделялась особым характером, а по характеру и кличкой. Был Буйан, был Резвый, конечно, Малютка, и много-много других. Каждая стояла в отдельном стойле, у каждой ежедневно в яслях менялась свежая трава, в торбочках не переводился овес, а в ведерке ключевая вода. По несколько раз на день забегала я в свою конюшню, устроенную в углу двора, и, наверное, ни один конюх не относился так добросовестно к своим обязанностям, как это делала я.

И не только палкам суждено было заменить мне лошадей. Все, что ходило, бегало или вообще самостоятельно передвигалось, не оставалось без моего внимания. И я тут же прикидывала, кого можно использовать под седло. Чаще всего такой напасти подвергались наши собаки. Но для их спин я была тяжела. При первой попытке оседлать какую-нибудь, та садилась, и не было сил заставить ее сделать хотя бы шаг. И дошла я в

своём стремлении ездить верхом до того, что не побрезговала прокатиться даже на сельском козле.

Чтобы рассказать о пережитом мной в связи с этим позоре, я должна несколько отвлечься от прямого рассказа.

В тот год стояла засуха. Некоторые соседние волости страдали от недорода, и крестьянам в качестве вспомоществования выдавалась кукуруза в зернах и в виде муки. Попал каким-то образом и к нам один початок, сухой как камень.

С тех пор как наша семья уехала из Волынской губернии, мы, дети, лишились удовольствия грызть сладкие кукурузные початки, до которых были большими охотницами. Получив семена, мы вместе с папой вскопали небольшой участок земли, посадили кукурузу и с нетерпением стали ждать урожая. Когда зерна взошли и набрали силу, я заметила, что и козел, здоровенный бородач с огромными рогами, стал что-то слишком часто заглядывать к нам во двор и косить свои рыжие глаза на наши посадки. Вот тут-то и озарила меня идея наказать его за любопытство, прокатившись на его спине.

И вот на следующий день, как только умильная морда козла показалась в калитке, я, крадучись вдоль забора, подобралась к нему, крепко ухватила за его клокастую шерсть и мигом вскочила к нему на спину. Не ожидая подобного сюрприза, бородач отпрянул от калитки и со всех ног дунул вдоль села, выделявая по дороге какие-то свои подскоки и подпрыжки, надеясь, видимо, таким манером избавиться от неожиданного наездника. Но я держалась крепко. Я уж и сама была не рада, что связалась с этим на удивление резвым козлом, но что предпринять, чтобы избавиться от него, не знала. Спрыгнуть – боялась расшибиться. В то время как козел летел сломя голову и, как мне казалось, остано-

ливаться и не собирався, неожиданное препятствие выручило меня.

Посреди села, возможно, со времен ледникового периода лежал огромный валун. Козел летел на валун, и я со страхом ждала минуты, когда он налетит на камень, и мы вдребезги об него разобьемся. Но козел вовремя заметил поджидавшую нас опасность. Он как-то весь подобрался, взвился свечой и замер на самой макушке валуна. А я, потеряв равновесие, кубарем скатилась вниз. По счастливой случайности я не ушиблась. Сидя на земле, я лишь тупо смотрела, как ко мне бежит испуганная Нина и целая орава гогочущих ребят. Они-то и вернули мне способность воспринимать окружающее. В великом смущении вскочила я на ноги и, сопровождаемая насмешками и хохотом ребят, что есть духа, полетела домой.

При моем появлении на балконе, мама охнула и зажала нос платком:

– Боже мой! Где тебя, сокровище мое, только носит. Почему от тебя так воняет? Немедленно убирайся вон, и пусть Ольга тебя как следует вымоет и переоденет. Вот уж, действительно, сокровище, – вздохнула мама.

Когда я поворачивалась, чтобы уйти, прибежала Нина и с хохотом стала рассказывать маме о моем позорном приключении. А потом еще долго дразнила меня, строя из пальцев рожки и «бекая» по-козьи.

Но на этом мои злоключения не окончились. Я уже упоминала, что дом управляющего стоял на пригорке, а перед домом со стороны балкона, за двором, находился большой пустырь, поросший крапивой, полынью и разным бурьяном – любимое место прогулок бабушкиных кур.

Там же среди бурьяна паслись забредшие из села телята. И нигде, кроме как на этом пустыре, не росли такие огромные, жирные лопухи, из которых мы масте-

рили бальные платья, зонтики и украшенные цветами причудливые шляпки.

Не помню, за какой надобностью в тот день оказалась на пустыре я. Рыжий теленок мирно бродил по бурьяну, пощипывая травку и помахивая хвостом, отбиваясь от назойливых мух. Соскучившись в одиночестве, при моем появлении он поднял голову и замычал, чем и навлек на себя беду. Я протянула руку и ласково поманила.

– Тпрусь, тпрусь, иди сюда.

Теленок доверчиво подошел. Этого я только и ждала. Только было схватилась я за него, чтобы вскочить ему на спину, как теленок шарахнулся в сторону и, оставив у меня в руке кончик своего, колючего от репейников, хвоста, бросился наутек.

– Т-п-р-у-у, – в растерянности закричала я.

Но теленок, еще больше напуганный моим криком, вместо того чтобы остановиться, заскакал быстрее.

– Т-п-р-у-у-у! – завопила я. – Так ты еще и слушаться не хочешь? – вскипела я. – Ну, подожди...

С этими словами я вырвала свободной рукой подвернувшийся куст полыни и принялась стегать теленка. После такого приема укрощения, теленок совсем потерял голову и неся по пустырю, что называется, куда глаза глядят. Тут уж мне ничего не оставалось делать, как покрепче держаться за хвост, не отставать и всеми силами стараться не упасть. Перспектива со всего маха завалиться в крапиву меня не прельщала.

И вот во время обеда мама, не щадя моего самолюбия, весело пересказывала картину, виденную ею утром.

– Вышла я на балкон, – рассказывала мама, – гляжу и диву даюсь. Носится кто-то по пустырю, а кто – не пойму, за бурьяном не видно. Присмотрелась я попристальнее, а там над бурьяном то голова теленка, то Олина встрепанная голова вынырнет. Не успею сообра-

зять, в чем там дело, как уже в противоположной стороне пустыря то промелькнет голова Оли, то снова теленка. И до тех пор я не могла разобраться, что с ними происходит, пока во двор не влетел теленок, а у него на хвосте – кто бы вы думали? – Оля... В одной руке у нее хвост, в другой – обломанный куст полыни, в таком виде и предстала она перед моим изумленным взором. Ну и вид же у нее был. Чудо! Растерзанная, будто ее собаки трепали, с испуганными глазами и репьями в голове. Насилу я выбрала их. Хотела уж стричь, – тут мама рассмеялась.

Возможно, со стороны это и выглядело смешным, иначе мама не смеялась бы так весело, заражая смехом и всех остальных. Одной мне было не смешно, когда мама выбирала репы из моих кос. Ну и досталось же мне тогда. До сих пор, встретив на дороге репейник, я обхожу его с опаской.

ЦИРКО

Но не всегда нападающей стороной бывала я. Случалось и мне страдать от нападения. Как принято говорить, все произошло чудесным майским утром, когда в первый раз выбегаешь во двор без надоевшего пальто и платка, когда на ногах нет опостылевших тяжелых галош, когда вместо башмаков с десятком неподдающихся пуговиц впервые надеваешь легкие сандалии. Ветер ласково перебирает волосы, а бант на голове выглядит особенно горделиво и задиристо.

После зимних вьюг и холодных порывов ветра во время весенних ледоходов майские дни кажутся необыкновенно светлыми и радостными. В такие дни жизнь становится по-настоящему прекрасной, и не-

вольно начинаешь верить, что иначе и быть не может и что ничто не способно омрачить твоё настроение.

Как же я ошибалась, думая так.

Давно прошло время, когда я была всем в тягость и когда мои щеки не просыхали от слез. Теперь про меня безошибочно можно было сказать «наш пострел везде поспел». За это я и была неожиданно наказана в это майское утро. А обидчиком оказался никто иной, как рябой бабушкин петушок Цирко.

Начну с того, что за зиму мы подросли. Старые платья стали нам настолько малы, что мы с трудом влезали в них. Чтобы пошить новые, приходилось ехать за двадцать пять верст на станцию Инза, где только и можно было купить, так называемый, красный товар: ситец, серпянку и прочую недорогую мануфактуру.

Предвкушая любопытную поездку, едва дождавшись, пока нас с Ниной одели, первая выскочила я на двор, где стояла поданная тройка, и завертелась вокруг лошадей. Кучер Михайло, занятый не желавшими стоять смирно молодыми пристяжными, не обращал на меня внимания. Не обращали на меня внимания и бабушкины куры, мирно бродившие по двору. Только рябенький петушок Цирко, делая вид, что кроме песка, в котором он что-то старательно выискивал, его ничто больше не интересует, шаг за шагом приближался к крыльцу.

Не обращая на него внимания, я обошла вокруг коляски, полюбовалась игравшими пристяжными и направилась домой, чтобы посмотреть, скоро ли мама закончит свои сборы. Тут Цирко, прекратив свое притворство, распустил крылья, воинственно пригнул голову и побежал мне навстречу. Не подозревая о его намерениях, я посторонилась, чтобы пропустить его, но Цирко неожиданно взлетел на перила, и не успела я отстраниться, как он уже сидел у меня на голове, цепко держась за волосы.

Я закричала. Михайло оглянулся и, чтобы сбить петушка, взмахнул кнутом, лошади дернули, и кнут просвистел мимо. Пока Михайло успокаивал лошадей, я попыталась было своими силами избавиться от драчуна, но он так больно клевался, что до него невозможно было дотронуться. На мои крики прибежала Ольга. Она ахнула, стащила за шиворот петуха с моей головы и, окунув его для охлаждения в кадку с водой, в сердцах перебросила через забор, где он и принялся истошно орать и возмущаться.

Мой пышный бант был снят и перепачкан, а настроение вконец испорчено. Пока мне замывали голову, мазали йодом, бинтовали и на все корки бранили петуха – время шло. Везти меня по жаре за двадцать пять верст мама не решалась, оставить одну дома, и тем доставить мне новое огорчение, ей не хотелось. Поездку отменили.

С того дня между мной и Цирко начались настоящие военные действия с наступлениями и поражениями. Цирко всегда нападал исподтишка. И если я вовремя успевала заметить его воинственные приготовления, то немедленно вооружалась одной из своих палок и, размахивая ею, гоняла его по двору до тех пор, пока он ни признавал себя побежденным и ни прятался в курятник.

Тревожась за наши глаза, мама не раз поднимала вопрос о ликвидации буяна, но бабушка каждый раз спрашивала ему помилование и обнадеживала, что Цирко одумается и не будет драться. Чтобы спасти своего любимца от расправы, бабушка каждое утро выгоняла его на пустырь и наглухо закрывала калитку. И только с его изгнанием во дворе водворялась тишина и покой. Но вскоре петушишка научился перелетать через изгородь, и все началось сначала. Научилась и я остерегаться своего врага и всегда успевала принять оборонительные меры при его появлении. Но Цирко

так обнаглел, что напал и на Бориску. Пока я с палкой бежала на выручку к Бориске, у него на голове успела вздуться порядочная шишка. Цирко так и не одумался и поплатился за голову брата собственной глупой головой.



ПРОКАЗЛИВОЕ ДЕТСТВО

Пришло время, когда палки и игра в лошадки с подружками перестали меня интересовать. Все чаще тянуло меня на конный двор и в загон, где дневали, точно ребяташки в детском саду, жеребята-стригунки, пока их матки трудились. Подлезая под прясла, я забиралась в загон и, разыскав среди жеребят Малютку, кормила ее сахаром, заранее припрятанным в кармашке моего фартучка. Скоро жеребенок так привык к моим посещениям, что отпала всякая надобность разыскивать его. Стоило позвать Малютку, как она с большой готовностью отзывалась на зов. Схрупав сахар и тщательно обследовав пустые кармашки, Малютка переходила к тщательному обыску. Она совала нос мне в руки, лезла своей забавной мордочкой в лицо, ухитрялась даже дунуть в ухо. Мне становилось щекотно, я отталкивала Малютку и с хохотом убегала. А Малютка, взбрыкнув ножками, припускалась за мной. Остальные жеребята, наострив уши, с любопытством наблюдали за нашей возней. При виде убегающей Малютки они также срывались с места и, поставив свои куцые хвостики торчком, неслись вдогонку за нами.

Поднималась веселая беготня. Заигравшись с жеребятами, я зачастую опаздывала к обеду. Взмокшая, словно меня гоняли на корде, с растрепанными косами,

но с сияющим от возбуждения лицом, влетала я в столовую, приводя своим независимым видом маму в ужас.

– Бог мой! В каком виде ты являешься в столовую, – возмущенно говорила она. – Иди, приведи себя в порядок, иначе я не разрешу тебе сесть за стол.

Я бежала к умывальнику, плескала в лицо холодной водой, кое-как приглаживала волосы и, все такая же сияющая, принималась за обед. Мама критическим оком осматривала меня и говорила каждый раз одно и то же:

– Смотри... В следующий раз оставлю без обеда. Так и знай.

Но приходил следующий раз, и мама снова обещала оставить меня без обеда на следующий раз.

Однажды, забыв о маминых предостережениях, я так заигралась с жеребятами, что заявила домой, когда с обедом было уже покончено, а со стола убрано. Растерянно оглядываясь, стояла я посреди столовой, когда вошла мама.

– Сегодня обеда тебе не будет, – решительно заявила она. – Так будет каждый раз, пока ты не научишься приходить вовремя. Кроме того, за каждое опоздание буду тебя запираю в детской вплоть до ужина. Ты только посмотри, на кого ты похожа, – окончательно вышла из себя мама и, окинув меня грозным взглядом, ушла.

С вытянутым лицом осталась я одна в пустой столовой. Из кухни выглянула бабушка и таинственно поманила меня. Не ожидая ничего хорошего, я не спеша поплелась в кухню, поправляя слипшиеся от пота волосы.

– Садись и ешь, – строго сказала бабушка, подвинула мне стул и пошла к плите за вторым. – Молоко не трогай. Вон ты какая распаренная, а оно холодное – простудишься, – бабушка с сожалением посмотрела на

меня. – Где ты только пропадаешь, головушка ты моя неразумная, – жалостливо сказала она. И вдруг тоном ниже пригрозила. – Будешь опаздывать – и от меня милости не будет. Запомни...

– Запомню, запомню, – лукаво косясь на бабушку, пообещала я, уплетая второе. Супов я не любила.

Угроза мамы запирасть меня в комнате подействовала на мое воображение куда сильнее, чем обещания оставлять без обеда. Не велика беда, что тебе не дадут супа. В случае чего, можно будет раздобыть хлеб на чердаке. А вот сидение взаперти меня никак не устраивало. И, пораздумав как быть, я отправилась разыскивать Нину.

Как и ожидала, я нашла позади дома, со стороны сада. Усевшись на скамеечку под большим кустом сирени, она шила наряды для своих кукол, в то время как мои находились в полном сиротстве. По натуре Нина была значительно спокойнее меня и не особенно любила принимать участие в моих беспокойных играх. Я подсела к ней. Сестра, не взглянув на меня, продолжала молча заботливо оправлять и прихорашивать своих кукол. Нарушить молчание пришлось мне.

– Нина, послушай, что я тебе скажу.

– Говори, – без всякого интереса ответила она, не оставляя своего занятия.

– Мама оставила меня без обеда.

– Ну и что? Сама виновата.

– Как что? Если б бабушка меня не покормила, ходить бы мне голодной.

– Велика важность. Не опаздывай к обеду и не будешь голодной, – сказала Нина, все так же внимательно занимаясь своими куклами.

– Хорошо тебе говорить, не опаздывай. А откуда мне знать, когда приходит. Не могу же я сидеть, вытаращив глаза, и ждать обеда. Так со скуки подохнуть можно.

Нина передернула плечами, выражение «подохнуть» ей не понравилось.

– Ничего с тобой не случится, – нехотя ответила она.

По всему было видно, что Нина не в духе, и что разговаривать со мной ей не хочется. Как же тут будешь просить об одолжении?

Некоторое время мы сидели молча. И снова первой заговорила я.

– Знаешь что, зови ты меня к обеду.

– А где я буду тебя искать? – почему-то оживившись, откликнулась Нина.

– Зачем искать? Я сама буду заранее говорить тебе, где я буду. Хорошо?

– Хорошо, – неуверенно протянула она – только давай поиграем в дочки-матери.

Отказываться было неразумно, и я согласилась.

Несмотря на уговор, Нине в поисках меня нередко приходилось бегать по всей усадьбе. Она сердилась, грозила договор расторгнуть, иногда даже больно стучала меня, но к обеду все же приводила. Бывали случаи, что мы по-настоящему ссорились, иногда даже дрались. Часто я и сама не знала, куда занесут меня мои длинные ноги, а она этого не понимала. Я начинала злиться, даже иногда затевала драку. Но Нина была значительно сильнее. Поймав за руки, она лишала меня возможности сдать ей сдачи. Такие ссоры, большей частью, кончались моими слезами. Вообще я с трудом переносила обиды, кем бы они ни причинялись. Особенно же трудно, если обида наносилась близким человеком и была незаслуженной. Такая обида запоминалась мне надолго, и я при первом случае, даже в самый неподходящий момент, могла напомнить о ней.

Случилось, что у Нины заболели глаза. Глаза покраснели, запухли и от резкого света болели так сильно, что маме пришлось наложить ей повязку. Врач по-

советовал повязку не снимать, пока глаза не придут в нормальное состояние.

Нина лишилась возможности заниматься шитьем. Сидеть же сложа руки ей было, конечно, скучно. И если до того она часто отказывалась участвовать в моих играх, то теперь, куда бы я ни шла, мне приходилось вести ее за собой за руку. По глупости я таскала ее без разбора, ничуть не заботясь, что ни кочки, ни, тем более, канавы для нее непригодны. Немудрено, что Нина шла медленно, часто спотыкалась, а когда я начинала ее тянуть, то и вовсе упиралась. Меня это раздражало, ходить с оглядкой я не умела. И как-то в раздражении я назвала ее «рыжей коровой». Нина не осталась в долгу и, в свою очередь, обругала меня противной «глистой». Это было уж слишком. Сразу вспомнив все обиды на Нину, я выдернула у нее руку и со словами «попробуй, схвати» убежала, предоставив ей самой добираться домой. Снять повязку она не решалась и кое-как, где наугад, где на ощупь стала выбираться на дорогу. Оступившись, она упала в яму, больно подвернув ногу. К счастью, яма была сухая. Выбравшись на край ямы, Нина горько плакала, что совсем не было полезно для ее глаз. Там и нашла ее Ольга, после того как я вернулась домой.

Длинное нравоучение выслушала я в тот день от мамы за допущенную жестокость. Под конец нотации мама пригрозила, что если я еще раз позволю себе нечто подобное, то она, мама, собственноручно спустит с меня три шкуры. Все было ясно и до предела понятно, кроме трех шкур. Откуда же возьмутся эти три шкуры? Я долго думала, но требовать разъяснений не стала. В душе же решила жестокостей больше не допускать.

Хотя подвернутая нога у Нины продолжала все еще болеть, это не помешало ей проявить большое великодушие в отношении меня, когда я попала в беду.

Как-то увидела я незнакомую лошадь, привязанную у тропинки, по которой мы с Ниной как раз проходили. Лошадь спала, низко опустив голову. И тут мне пришла в голову дурацкая идея напугать ее. А чтобы намеченная жертва преждевременно не проснулась, я оставила Нину на почтительном расстоянии, а сама потихоньку подкралась к лошади и звонко шлепнула ее по крупу. Результат оказался самым неожиданным. Лошадь вздрогнула, вскинула голову и ударила задней ногой так, что я кубарем отлетела от нее и плашмя растянулась как раз у Нининых ног. От неожиданности я вскрикнула и, зажимая руками разбитое колено, с недоумением смотрела, как из-под руки потянулась тоненькая струйка крови.

– Что случилось? – с беспокойством спросила Нина.

И, не получив ответа, приподняла краешек своей повязки, а увидав на моих руках кровь, окончательно разволновалась.

– Ольгушка, почему у тебя руки в крови? Ты что, порезалась?

– Совсем и не порезалась, – недовольно пробурчала я, – это лошадь меня лягнула. Я хотела ее напугать, а она проснулась и ударила.

– Зато напугала, – осуждающе проговорила Нина и начала разматывать бинт со своей головы.

– Что ты делаешь! – закричала я. – Зачем снимаешь повязку! Доктор не велел снимать!

– Ничего не случится. Глаза мои почти уж не болят, а у тебя кровь. Перевяжем и пойдем домой.

И, присев возле меня, Нина принялась забинтовывать мое кровоточащее колено. Когда весь бинт был накручен до основания, Нина помогла мне подняться, и мы, обе прихрамывая, повели друг друга домой.

Увидев разбинтованную Нину и забинтованную меня, мама даже браниться не стала, а отвела душу тем,

что снова наложила повязку Нине, а мне обильно залила колено йодом. А папа сказал:

– Впредь тебе, непоседа, наука. Скажи спасибо, что лошадь не подкована, а то быть бы тебе с перебитой ногой. Запомни раз и навсегда: никогда не подходи к лошади сзади. А еще лучше, если ты ее предварительно окликнешь.

Я назвала эту пору моего детства проказливым. Нет, то не были только проказы. Мое неудержимое тяготение к лошадям было куда сильнее всякого детского увлечения. Что же мне нравилось в этих животных? Что привлекало меня в них? Сила? Нет... я видела, как крестьянские лошаденки надрывались в непосильной работе. Красота? Но видела я и несчастных, заезженных лошадей со сбитыми в кровь холками, дрожащими, согнутыми в коленях ногами и гноящимися, тусклыми глазами. Может быть, мне хотелось бегать так же быстро, как они? Но я и сама бегала, как ветер, и ни одному деревенскому мальчишке не удавалось поймать меня. Так что же? Этого я и сама не знала.

Если обладание маленьким жеребенком оказалось для меня желанием неисполнимым, то я, наперекор всему, решила сама сделаться лошадью. Но как? Над этим стоило подумать. Долго ломала я голову, пока не пришла к выводу: лошади потому и есть лошади, что они едят не суп и не мясо, а овес. Значит, надо есть овес. И я побежала на конный двор.

Время шло. От овса у меня разболелся язык и десны. А превращения все не происходило. И как ни всматривалась я по утрам в зеркало, каждый раз видела одно и то же – два напряженных глаза и две тугие кошечки. Тогда пришло сомнение и захотелось с кем-нибудь посоветоваться. Ну, хотя бы с мамой. Правда у меня не было уверенности, что мама примет мой разговор всерьез, а не устроит из него очередного обеденно-

го развлечения, чего бы мне совсем не хотелось. Потому-то я не сразу и решилась на разговор с ней. А когда, наконец, набралась решимости, то выбрала самый неподходящий момент, когда мама сидела за книгой. А она терпеть не могла, чтобы ее беспокоили по пустякам, в особенности же, когда она занималась чтением. Но набитая овсом оскоми́на была такой болезненной, что я, отбросив все колебания, подошла к маме.

– Мама, если теленка кормить и кормить овсом, – дипломатично начала я, – он станет лошадей?

Мама, по-видимому, была настолько увлечена своей книгой, что не обратила внимания на мой робкий лепет, и продолжала читать, в то время как во мне все дрожало от нетерпения узнать ее мнение. Я подождала немного и снова повторила свой вопрос.

Нахмурившись, мама закрыла книгу и подняла на меня недоумевающие глаза.

– Что за глупости ты спрашиваешь? Какая там еще лошадь! Жирным станет твой теленок, только и всего. Придет же в голову подобная ерунда, – сказала мама и снова погрузилась в чтение.

С овсом пришлось покончить. И все же сводившее меня с ума тяготение к лошадям не погасло.



Как только наступал вечер, и коных отгонял вернувшихся с работ лошадей на выпас, тут же недремлющим оком появлялась и я. Так, крутясь возле лошадей, я скоро вывела их нравы. Одни были упрямы, и, сколько бы я их ни тянула, вцепившись в холку, сколько бы ни понукала, не двигались с места, продолжая щипать траву. Другую же ничего не стоило увести с пастбища, подтянуть к изгороди и, изловчившись, взобраться к ней на спину. Лошадь, переходя потихоньку с места на место, продолжала пастись, а я, сидя верхом у нее на спине, предавалась блаженству.

Пришло время, и простое сиденье перестало меня удовлетворять, мне хотелось передвигаться побыстрее. Тогда я стащила из конюшни уздечку, обротала одну из смиренниц, взобралась к ней на спину и весело заработала пятками.

Так я научилась ездить верхом и не на каком-то там вонючем козле, а на самой настоящей гнедой кобыле Лютне.

Нина с восторгом наблюдала за моими успехами, но сесть на лошадь, несмотря на уговоры, не решалась.

Когда о моих успехах узнал папа, из конюшни почему-то исчезли все уздечки. Но теперь это ничего изменить уж не могло. Простой конец веревки служил нисколько не хуже, и верховая езда продолжалась. Наконец, к борьбе с моей страстью подключилась и мама. Но даже самые строгие ее запреты на меня уже не действовали. И, чтобы восстановить свой престиж, мама укладывала меня на кровать и, привязав поперек живота полотенцем, приказывала лежать и не двигаться. Однако и привязывание оказалось бессильным вернуть меня в лоно послушания. И мама осознала это.

– Не знаю, что с ней и делать, – в отчаянии говорила она. Дождемся, что в один прекрасный день она свернет себе шею.

– Что ж тут делать, – вздыхала бабушка. – Наследственность. Вспомни-ка Эрнеста.



СНОВА ЗИМА. РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ. ЧЕРТИ

Только наступившая осень с ее непрерывными дождями и несусветной слякотью положила конец моей верховой езде.

А там – забуранило, навалило снега, и сравнялись сугробы с крестьянскими избами. Чтобы выйти во двор и добраться до скотины, приходилось старательно откапываться, прорывая настоящие коридоры. Когда же хозяйки разжигали огонь, то казалось, что дымят ожившие сугробы, а не домовитые матушки-печи. Неугомонные мальчишки, скатываясь на своих салазках прямо с крыш, насыпали снег в трубы. Снег таял, и сажная вода текла на шесток, попадая в горшки и плоски. Раздосадованные стряпухи, вооружившись ухватом, выскакивали на мороз и гонялись за досаждавшими им озорниками.

И вот теперь, когда пришла старость, а спутником стало одиночество, в память детских лет написала я, стараясь придерживаться стихотворного изложения, коротенькое повествование о русской зиме. Получилось довольно коряво, но чтобы хоть немного ускорить взятый на себя сложный труд рассказчика, я все же решила включить и его в повесть о моей жизни. Время летит быстро. Надо торопиться.

ЗИМА

Ты просишь рассказать про прежние года?
О чем тебе поведать, я не знаю.
Большая жизнь прошла, и стала я стара,
И много радости, быть может, много горя
Пришлось на нашу долю –

Всего-то мы хлебнули вволю.
Задачу трудную ты мне на вечер задала.

А дождь все льет и льет, нет на него управы,
Зимы и следа не видать.
Как видно, уж совсем старуха одряхлела,
Коли до нас не в силах дошагать.
Полсотни лет назад зима была иная –
И снежная, и страсть лютая.
Бывало, снег дня три несет и нанесет невпроворот,
Не видно изб, не только что ворот.

Отлутует метель, пристанет,
Потащится на отдых в лес,
А тут и солнышко проглянет
И наведет повсюду блеск.
Потом мороз снега скует, и первопуток настает.

Ведь раньше-то – не то, что ныне,
Возили все на лошадях.
Вот и потянутся обозы:
Кто лес везет, а кто с зерном мешки,
Овчины, гончары – горшки.

Оденется мужик в дорогу потеплей,
Баранью шапку иль треух надвинет до бровей,
Тулуп затянет крепко кушаком,
Завяжется под воротом платком,
А на ноги – пимы. Теплым-теплы,
Из шерсти скатаны они.

Ползет обоз с утра до ночи,
Снег под полозом визжит,
Скрипит под сапогом.
От стужи звон стоит кругом.
От лошадемок пар валит,

А мужика знобит.

Да как и не знобить?
На бороде, в усах – ледяшки,
Нос, точно маков цвет горит.
Озлятся мужики, хоть этим душу отведут –
Морозец крепким словом помянут.

Ну, а теперь зима иная стала.
В пимах куда теперь идти.
Уж скоро Новый Год,
А на дворе – дожди.
И времена совсем другие.
Кто поездом катит, кто едет на машине.

Ребята? Тут статья иная.
Мороз ребятам нипочем,
Из душных изб повылезут кто в чем:
Один опорки старые обует,
Другой куфтейку бабкину подвяжет ремешком.
Отцовы шапки, дедовы треухи – все в ход идет...

Девчонки стареньким завяжутся платком,
Кричат, бросаются снежком.
Потеха! А сколько смеха!
На горы сани втянут, навалятся гурьбой,
И вниз летят стрелой.

А кто помельче, те салазки волокут,
А кто – ледянку тянет,
Лукошко, решето, залитые водой.
Набегаются всласть,
Им и мороз – отец родной.
Их не загонишь и домой.

Да ты не егози, а лучше помолчи,
Коль слушать хочешь, так сиди смиреннько,
Все о коньках допытываешься ты...

В те года жилося худо беднякам –
Не то, что ныне вам.
Тогда и хлеба не видали вволю.
Картошку ели с серой солью,
Да хлебушек ржаной с мякиной пополам.

Ребята белый-то калач два раза в год едали
По праздникам большим: на Пасху, в Рождество.
Вот так-то, дитяtko мое. Калач за лакомство счита-
ли.

А ты все о коньках. Какие там коньки?
Вот у тебя они стальные. Ну, а у тех ребят
Коньки были иные. Из чурок вырежут колодки,
К обувкам прикрутят веревкой,
Да и бегут к реке на лед. Бегут вперегонки,
Пока не угодят в сугроб.

Визг, хохот, кутерьма слышны издалека.
Да вот беда – день зимний короток.
Известно, к ночи стужа злей.
Пора и по домам, да на печь к деду поскорей.
Такие-то дела... Ох, заболталась я.
Люблю о старом вспоминать,
Да поздно, уж пора и спать.

Зимние радости захватили и нас с Ниной. Бориска
был еще мал, чтобы принимать участие в наших раз-
влечениях, и вполне обходился катанием в салазках.
Салазки были одни, и кучер Михайло сделал для нас
две лежанки в виде довольно высоких скамеечек на по-
лозьях. Чтобы кататься с гор на подобных лежанках,
нужна была смелость, ловкость, а главное – умение.

Смелости хватало, а вот ловкости и умения совершенно не было. Скамейки опрокидывались, и в вихре поднятой снежной пыли не всегда можно было разобрать, кто на ком едет: то ли мы на них, то ли они на нас. В результате такого катания синяки и шишки не сходили с наших голов, а у мамы появилась новая забота – врачевать их свинцовой примочкой. Когда же примочка иссякла, тут и был вынесен смертный приговор ледянкам. Некоторое время они отлеживались под замком в дровяном сарае, а потом и вообще были сломаны и брошены в печь. С утерей ледянок наступили черные дни уныния. Даже прогулки нас больше не привлекали. Скучные, сидели мы у окна в столовой и с грустью смотрели во двор, где беззаботно прыгали и стрекотали веселые сороки, и важно, по-хозяйски, расхаживали взъерошенные вороны.

Вот в один из таких особо тоскливых дней мы увидели во дворе нашу добрую фею, скотницу Анну. Распугав сорок и ворон, она быстро шла, направляясь к дому. А за ней, толкаясь и постукивая ледяными боками, поспешали два старых решета, превращенных заботливыми руками феи в новенькие ледянки. О таких чудо-ледянках мы даже и мечтать не смели, а лишь с завистью смотрели на крестьянских ребятишек, когда они с гиканьем и свистом пролетали мимо точно на таких ледянках с самых высоких гор, совсем не заботясь ни о синяках, ни о шишках вроде тех, что мы приносили ежедневно домой, катаясь на своих скамейках.

Теперь время летело как на перекладных. Не успевали мы накататься вволю, как наступали сумерки, приходила Ольга, и после долгих препирательств вводила нас домой.

Незаметно приближалось и рождество, а с ним и хлопотливые святки. На семейном совете было решено, что папа поедет в Симбирск, где у него были какие-то неотложные дела, пораньше, чтобы успеть к празднику

вернуться домой. Накануне его отъезда мама весь вечер все что-то писала, перечеркивала и снова писала, задумчиво поглядывая на синее вечернее окно. Прочитав список, папа многозначительно покрутил головой, еще многозначительнее посмотрел на нас, и нам от его взгляда стало сразу весело. Но заглянуть в список самим никак не удавалось. Мама строго блюла его тайну.

Наутро, как только рассвело, тройка лошадей, запряженных по-зимнему, цугом, резво подкатила к крыльцу обитые кошмой сани. Папа, распрощавшись с нами, сунул в карман револьвер, надел огромный тулуп и вышел, прихватив с собой и ружье. Неуклюже завалившись в сани, он запахнул полы тулупа, поднял огромный воротник и со словами «ну, с богом» помахал нам на прощанье рукой. Лошади дружно подхватили сани, звонко залился под дугой колокольчик, его поддержали, весело запев, бубенцы, и папа укатил.

В зимнюю пору голодные волки, сбившись в стаи, рыскали по лесам, выходили на дорогу и нападали на одиноких путников. Обычно крестьяне или старались примкнуть к какому-нибудь обозу, или, собравшись вдвоем-втроем, чтобы отпугнуть волков, привязывали на шеи лошадей самодельные ботала. Шума волки боялись.

Дни шли. До святок оставались считанные дни, а папа задерживался. Терпение наше понемногу истощалось. Скучали не только мы, скучала и мама. Длинными зимними вечерами все собирались в столовой. Большая лампа-молния, уютно потрескивая, освещала стол и всех сидящих вокруг него. Чтобы скоротать время, все занимались каким-нибудь делом. Мама, чтобы занять нас, нарезала полоски цветной бумаги, и мы клеили длинные пестрые цепи на елку. Когда перед нами оказывалось изрядное количество полосок, мама принималась за свое бесконечное вязанье. Много труда

и терпения положила она, связав нам всем по покрывалу на кровати: красное – для папы и два белых – Нине и мне. Позднее мама с нашей помощью сделала еще одно нарядное покрывало, чередуя связанные ею прошвы с вышитыми нами яркими шелками полосами. Закончить начатое ею второе она не успела. Развивающаяся быстрыми темпами болезнь и скорая смерть прервали ее работу. Прошло шестьдесят с лишним лет, а связанные ею прошвы для второго покрывала хранятся у меня и по сей день.

Итак, мы клеили, мама вязала, а Ольга все что-то шила и вышивала. Она готовила себе приданое, как говорила бабушка. Иногда мама бралась за «Ниву» и читала вслух святочные рассказы, наивно проповедующие веру в бога, честность, доброту и человеколюбие. Иногда рассказы бывали такими трогательными, что дело не обходилось без слез. Чаще всего во время чтения краснели глаза у бабушки. Она вздыхала, а иногда, перебивая маму, говорила:

– Если бы в действительности все люди были такими милостивыми друг к другу, как об этом пишут, было бы меньше горя на свете. Может, все бы людям жилось полегче, – и, снова вздохнув, добавляла. – А уж на мою-то долю этого самого горя досталось полной мерой...

Чтобы скрыть навернувшиеся слезы, бабушка старалась незаметно уйти в детскую комнату, ложилась на кровать и лежа слушала чтение, изредка переспрашивая маму. По-видимому, нечаянно задремав, она теряла нить рассказа.

В один из таких вечеров, не лучше и не хуже остальных, когда, как обычно, каждый занимался своим делом, я неожиданно захотела есть и попросила дать мне черного хлеба с маслом. Никто не проявил большого желания немедленно удовлетворить мою просьбу. Я задумалась.

– В кухне на столе стоит хлебница. Пойди и возьми сама, если тебе так не терпится дождаться ужина, – сказала мама.

Я прошла полутемные сени и вошла в кухню, где от привернутой лампы стоял полумрак. Я подошла к столу и загляделась в окно кухни, из которого виднелась часть двора, залитого лунным светом. На сугробах под лучами луны искрился запушившийся иней. Лунный свет проник и в кухню, протянувшись узкой полосой через весь пол. Я отчетливо видела и стол у окна, и хлебницу под белой салфеткой. И только я протянула руку, чтобы взять хлеб, как за окном запрыгали и завертелись в какой-то бесовской пляске странные мохнатые существа, вооруженные большими рогами и огнедышащими черными мордами. Длинные хвосты крутились и путались меж их ног. От страха волосы у меня на голове зашевелились, сердце зашлось, колени сами собой подогнулись, и я упала на пол возле стола.

«Вот какие они, эти черти», – с ужасом подумала я. Хотелось сейчас же бежать в столовую, где было так светло и уютно и, главное, так безопасно, но у меня не было сил. Тогда я закричала, но вместо крика раздался какой-то беспомощный писк настолько слабый, что я и сама не услышала своего голоса. Так бывает только в кошмарном сне, когда хочешь бежать, а ноги, ставшие ватными, не в состоянии сдвинуться с места. Или надо во что бы то ни стало видеть, а глаза остаются закрытыми, и нет сил поднять веки. Верно, на меня напал столбняк.

Первой спохватилась мама и, встревожившись моим затянущимся отсутствием, послала Ольгу узнать, что случилось. Впотьмах Ольга и наткнулась на меня возле стола. Подняв меня с пола, она собралась отнести в столовую, но, случайно взглянув в окно, тоже увидела напугавших меня скачущих и заглядывающих в окно чертей. На шум, поднятый Ольгой, все прибежали на

кухню. Испуганные таким оборотом дела, черти попытались было скрыться, но мама задержала их и заставила войти в прихожую. Смущенные черти, стащив с головы коровьи кожи с рогами и хвостами, оказались деревенскими парнями с намазанными сажей лицами. Огнедышащие пасти они изображали, держа в зубах папиросы огнем внутрь. Дым, освещенный изнутри папиросой, казался пламенем.

Мама по очереди подводила ко мне разоблаченных чертей, называла их по именам.

– Ну, чего ты испугалась, глупышка, – говорила мама. – Никаких чертей нет. Все рассказы о них – выдумки и сказки. Не отворачивайся, посмотри. Это – Иван Колотов, это – Семен Баринов. Не бойся, ты же их всех прекрасно знаешь.

Понемногу я пришла в себя, но пошла вместе со всеми в комнату все еще на слабых ногах.

Смущенные парни были изгнаны, получив от мамы соответствующее напутствие. Оправдываясь, они сказали, что хотели только попугать Ольгу, мстя ей за выказываемое им пренебрежение. После этого случая я стала бояться темных комнат.

Папино отсутствие затягивалось, а наше терпение истощалось. Мы все чаще донимали маму вопросами, когда же придет папа. Мама в ответ только пожимала плечами. Наконец, пришла долгожданная телеграмма. Папа приезжал ночным поездом. Ни мольбы, ни слезы не помогли. Мама была неумолима и, как всегда, в девять часов уложила нас спать. Уснуть было совершенно невозможно. Мы, возбужденные скорым папиным возвращением, тихонько перешептывались, строя всевозможные приятные догадки.

Наш верный друг – будильник находился в ту ночь в таком же беспокойном состоянии и переживал вместе с нами радостное наше нетерпение. Он не изменил сво-

его хмурого, насупленного вида, но веселых музыкальных ноток удержать не мог. Каждая его такая нотка встречалась нашим одобрителем смехом. Тогда открывалась дверь, и требовательный мамин голос призывал нас всех к порядку... Но разошедшийся будильник не хотел подчиняться и продолжал подыгрывать нашему веселому настроению, заставляя все вновь и вновь приоткрываться дверь. С последним сыгранным им аккордом вместо предостережения ворвался в открытую дверь звон бубенцов и колокольчика.

Мама, забыв про нас, поспешила в прихожую, а мы, как горох из перезрелого стручка, повыпрыгивали из кроватей и полетели вслед за ней, не удосужившись в спешке сунуть ноги в валенки. До того ль тут было! Входная дверь открылась, и в клубах морозного пара вошел папа.

Мы с визгом бросились к нему и тут же снова угодили в свои кровати.

– Вы с ума сошли, – сказала мама таким веселым голосом, как будто только этого и ждала, чтобы мы посходили с ума и этим доставили ей огромное удовольствие. – Вы что, в самом деле, простудиться захотели? Лежите смирно, папа обогреется и придет с вами поздороваться. Все узнаете в свое время и подарки получите, если, конечно, заслужите их.

Одеться и выйти в столовую мама нам так и не разрешила. Ну кто же откажется заслужить елочный подарок? Наверное, такого чудака не найти. И мы подчинились маме. Но зато уж превратились в слух... Тяжело грохали об пол привезенные папой ящики. Со скрипом шлепались на пол и переставлялись с места на место корзины. Вносились, гремящие стылой бумагой, свертки. Все эти, сулящие много приятных неожиданностей звуки, мы не променяли бы на самую лучшую музыку. Прислушиваясь к приглушенным голосам родителей, мы старались разгадать тайну ящиков, корзин и сверт-

ков. Но родители упорно берегли от нас их содержимое, иначе к елке это не было бы сюрпризом.

Только бабушка спросила громко: «Во что выложить косхалву?». Мама ответила: «Да положи ее пока в суповую миску».

Ну и хлопот было потом с этой миской! За несколько дней пребывания в тепле халва расплзлась в миске, приняв ее форму. Несмотря на все усилия вынуть ее, халва упорно оставалась в миске. Ее долбили, выковыривали и снова долбили до тех пор, пока миска не разбилась. Гибелью миски бабушка огорчилась не на шутку.

– Ну-ка, – говорила она, – пропала миска!

Когда мама, разобравшись с покупками, отпустила, наконец, папу к нам, возбуждение наше уже улеглось, и нам хотелось спать. Папа расцеловался с нами, чуточку дольше задержался около Бориски и шепнул нам по секрету, оглядываясь на дверь, что Дед-Мороз был так добр и услужлив, что не только изрядно позабавился с его, папиным, носом, но и помог ему выбрать для всех желанные подарки.

– Ох, и хитрющий этот Морозко, все-то он знает, и все-то слышит, – напоследок сказал папа.

После таких намеков мы немножко догадались, о чем шепнул папе Дед-Мороз, и уснули счастливые.

Последняя неделя святок пролетела в больших хлопотах и больших ожиданиях. Папа привез картонажные листы с разнообразными деталями цветных рисунков. Из них мы аккуратно вырезали, а затем склеивали елочные украшения. Получались домики, звезды, нарядные фонарики и рога изобилия с цветами и фруктами. В доме ни до чего нельзя было дотронуться. Все прилипало к рукам: столы, ножницы, руки и даже волосы, расчесывать которые стало пыткой. Когда по утрам кто-нибудь брался за наши головы, мы вопили дикими голосами.

Привезенные папой коробки с елочными украшениями стояли высоко на шкафу, и мы только издали поглядывали на них. В один из вечеров на столе появилась разноцветная тонкая бумага, из которой мы по указанию мамы стали клеить пакеты. Пакетов, к нашему удивлению, мама потребовала наклеить побольше.

Днем бабушка возилась возле печки – она пекла великое множество разных сдобных ватрушек, плюшек и пряников на меду.

В сочельник внесли с утра в столовую большую, под самый потолок, пушистую елку. Когда ее вносили, она тонко звенела, точно маленькими колокольчиками, висевшими на ней ледяными сосульками. В тепле сосульки стали таять, и елочка заплакала. С оттаявших веток одна за одной закапали слезинки.

– Наверно, елочка заскучала о лесе и о своих зеленых подружках, – высказала предположение Нина.

Комнаты наполнились запахом хвои и свежести.

Как только елку установили, мама выпроводила нас за дверь и запретила нам заглядывать в комнату. Весь день папа с мамой оставались за закрытыми дверями, предоставив нам слоняться по дому без всякого дела. Играть не хотелось, не хотелось и читать. Даже обед на кухне за кухонным столом не произвел на нас своей новизной никакого впечатления. Запах хвои будоражил нас, а все что делалось за дверями – радовало и волновало приятной неизвестностью.

Часам к шести на крыльце, а потом и в прихожей раздался скрип снега и топот многочисленных ног. Мы, уже празднично одетые, побежали в прихожую. Бабушка, мама и Ольга принимали гостей, некоторых из них приходилось чуть ли не силой втаскивать в дом. Робея, они прятались друг за друга, толпились кучкой и мешали проходить более смелым. Наконец, все приглашенные вошли, и дверь закрылась. Это были крестьянские дети приблизительно одного с нами возрас-

та. Мы знали их всех. Вообще мы знали всех жителей села Юлово со всеми их чадами и домочадцами.

Ольга проворно стаскивала с них шубейки, платки, а заодно и их разнообразные, покрытые снегом, обувки. Папа ставил ребятишек попарно. Белые, черные и русые головы детей были аккуратно причесаны. На всех, по возможности, были опрятные платьишки и рубашки. В тугих косичках девочек торчали вплетенные вместо лент разноцветные тряпочки. Нас троих поставили во главе процессии. В столовой раздались звуки марша. Для такого дела дочка священника не пожалела предоставить в мамино распоряжение на вечер граммофон и несколько пластинок. Своего граммофона у нас не было.

Двери распахнулись, и все пошли в столовую. Нарядная елка, вся в огнях, предстала перед нашими изумленными и восхищенными глазами. Впечатление оказалось настолько сильным, что какой-то карапуз позади нас вдруг засопел и совсем неожиданно, наверное, от переполнявших его чувств, громко заплакал хриплым басом. Папа взял его за руку и, пританцовывая, повел вокруг елки. Подталкиваемые бабушкой, мамой и Ольгой, густой цепью, неуверенно пошли за нами и все остальные ребята.

Граммoфон заиграл веселую полечку, и хоровод оживился. Громко захлопали хлопушки, и у всех на головах появились разноцветные колпаки из бумаги. Робость понемногу исчезла. Все уже притопывали, а кто и приплясывал. Потом хором пели, плясали русскую, кто умел, а кто не умел – дружно хлопали в такт в ладоши. Веселье разгоралось. Глаза блестели. В комнате стало жарко. Папа подошел к окну, чтобы открыть форточку, и тогда мы обратили внимание, что все три окна комнаты облеплены ребятами, не попавшими в число приглашенных. Они с любопытством и восхищением смотрели на наш веселый праздник.

За общим весельем никто и не заметил, как свечи на елке догорели, и подарки раздавали уже при зажженных лампах. Теперь мы поняли, для чего нам пришлось клеить такое множество кульков. Все получили гостинцы. Мама снимала с елки по нитке карамельных бус и также одаривала ими маленьких гостей.

Мне кажется, что никогда в жизни я больше не видела столько детской радости, как в тот счастливый день.

Праздник окончен. Гости, довольные и счастливые, все еще полные впечатлений, под предводительством старших одевались и в клубах белого пара выходили в морозную ночь. Мы вернулись к елке и только теперь нашли под ней большие, перевязанные цветным шпагатом, свертки. Это были долгожданные подарки. Нина получила новую куклу и рукодельную коробку. В моем свертке оказалась гнедая лошадка, маленькие, но точь-в-точь как настоящие, розвальни и пестрая корова. Хоть они и не были живыми, все равно я их сразу полюбила. Ведь лошадку можно запрягать в розвальни, а корову понарошку доить.

Кто же подсказал папе о наших желаниях? Может быть, Дед-Мороз, как сказал папа? А может быть, мама, составлявшая весь вечер свой список? Но теперь это было и не так важно. Елка удалась на славу. В комнатах все еще пахло хвоей. В открытую форточку белым паром дышал дед-мороз, постукивая по дому своей палкой, отчего бревна с треском лопались. Бабушка говорила: «Какой мороз сильный, стены рвет».

Счастливые и усталые улеглись мы спать. Ведь завтра предстояла еще одна елка, на которую придут все наши приятели во главе с Ольгой Юртаевой.



МАСЛЕНИЦА

После веселого и обильного сладостями зимнего праздника Рождества мы и не заметили, как зима пошла на убыль. Дни стали длиннее и светлее. Солнце уже не было таким редким, равнодушным ко всему гостем, как это было зимой, и теперь уже больше не расставалось с нами. Днем даже начало немножко подтаивать. Но зима еще держалась за свои права, по ночам крепко подмораживало и снова присыпало хрустким снежком робкие проявления приближающейся весны.

Первый день масленицы блеснул к нам в окна совсем уже весенним солнцем и искрящимися под его лучами алмазами выпавшего за ночь снежка.

Мы заторопились одеваться. Папа обещал накануне предоставить в наше полное распоряжение лошадь и широкие розвальни.

– Почему розвальни? – переспросил папа. – А чтобы удобнее и безопаснее вам было вылетать из них, если лошадь понесет, – пошутил он.

Предвкушая всю прелесть зимнего катания, мы с непривычной живостью справились с завтраком. По минутно отрывая папу от только что привезенных газет, которые он имел обыкновение предварительно просматривать за утренним кофе, мы надоедали ему вопросами «когда же папа распорядится запрячь для нас лошадь».

Мама поддержала нас.

– Действительно, – сказала она, – пусть покатаются с утра, пока еще никого нет, а особенно пока нет пьяных. Позднее будет хуже.

Поддержка мамы нас окрылила, и мы смелее возобновили свои вопросы.

– Папа, а какую лошадь запрягут для нас? Скажи, чтобы запрягли Весту. Она, знаешь, как бегает, а нам хочется покататься быстро-быстро! Быстрее всех! Хорошо, папа, ну что же ты молчишь?

– Хорошо, хорошо, все будет в порядке, – успокоил нас папа. – Что-то я не вижу, чтобы вы были готовы. Чем приставать, идите-ка лучше одеваться. Я уже давно распорядился.

Успокоенные его словами, мы торопливо натянули зимние шубейки и вышли во двор.

На селе из всех труб вился дымок. В воздухе висел густой запах жареной рыбы, постного масла и блинов. Блины пекли самые разнообразные: пшеничные, гречишные и с пшенной кашей. Пекли на масленицу и олады: из гороховой муки, из ржаной, а кто и просто из тертой картошки – смотря, какие были достатки.

В ожидании лошади мы с нетерпением поглядывали в сторону конюшни, где стояла Веста. Но никакого движения вокруг не замечалось. Может быть, папа пошутил? Надо, пожалуй, проверить. И мы побежали. Ни конюха, ни кучера в конюшне не было. Только лошади в стойлах мирно похрустывали сеном, фыркая от попадавшей в ноздри пыли да переступая ногами.

– Что же это такое? – недоумевали мы.

– Пойдем, спросим папу, – предложил братишка.

И мы повернули к дому. Из ворот рабочего конного двора показался Чалый. На этот раз он вез новые розвальни. В них лежала большая куча свежего сена. Конюх, не торопясь, подъехал к крыльцу и, широко улыбаясь, протянул нам вожжи.

– Получайте коня! – с шуточной лихостью воскликнул он.

У нас вытянулись лица. Чалый – конь? Какой же это конь! Водовозная кляча. Ему только бочку с водой возить. Идет нога за ногу и спит на ходу. На нем и ез-

дять-то стыдно, не то что кататься. Вот подачки выпрашивать да бочки опрокидывать, на это он мастер!

Я с досадой посмотрела на Чалого, и вся моя симпатия к нему пропала.

Как-то раз, когда Чалый привез воду, я, по обыкновению, встретила его с угощением. На этот раз это была корка белого хлеба и горстка соли. Чалый с превеликим удовольствием съел хлеб и тщательно собрал мягкими губами с моей ладони соль до последней крупинки. Я погладила его по шее и побежала дальше. Чалый, наострив уши, следил за каждым моим движением и, в надежде получить добавку, все оглядывался, поворачивая оглобли. И развернул бочку так круто, что она слетела со станка и, расплескивая воду, покатила по двору.

Конюх в сердцах ударил Чалого кулаком по морде, а мне было грубо предложено никогда больше к коню не приближаться.

А что было делать сейчас? Мы подумали-подумали и решили к папе с протестом не ходить. Мы знали, что это совершенно бесполезно, все равно папа не изменит своего решения. Да вдруг еще рассердится и совсем оставит нас дома. Нет, уж лучше примириться с тем, что есть. И мы полезли в розвальни устраиваться на сене.

Я – за кучера. Как только наша удивительная упряжка выбралась за ворота, мигом набежали со всех сторон наши дружки-приятели и, кто как сумел, навалились в сани.

Привлеченная их возней, я забыла о Чалом, и он по привычке направился по хорошо знакомой дороге напрямиком к роднику. Наверное, к великому его удивлению, зазевавшийся кучер вдруг опомнился и изо всех сил задергал вожжами, поворачивая его в противоположную сторону. Чалый медленно развернулся и лени-

во зашагал обратно с твердым намерением завернуть на конный двор.

За это время насыпавшиеся в сани шумные пассажиры понемногу разобрали навалом сваленные руки-ноги, чинно расселись и приготовились к веселому катанию.

С горы Чалый потрусил для приличия немного рысцой, но как только гора осталась позади, он снова перешел на свой обычный неторопливый шаг. Ни наше шумное понукание, ни даже кнут не производили на него никакого впечатления.

– Какое же это катание? Ну и устроил нам папа масленицу!

– Ну подожди, толстый лентяй, ты у меня подремлешь, – обозлилась я и, вцепившись в его пушистый хвост, принялась изо всех сил дергать его, упираясь для устойчивости ногами в передок саней.

И вдруг Чалый ожил. Вместо того чтобы лягнуть хорошенько за такое непочтительное отношение, он зашевелился в оглоблях и, точно заправский конь, зарысил вдоль улицы.

– Ага, проснулся! – радостно закричали пассажиры, хохоча во все горло.

Так и катались. Когда Чалый переходил на шаг, мы, невзирая на свист и улюлюканье сельских ребят, снова дергали его за хвост, и он снова припускался рысью.

В этот день все допускалось, даже насмешки. Ведь это была веселая масленица.

Когда мы еще раз проезжали мимо дома, за ворота выбежала Ольга.

– Домой! Домой! – кричала она. – Обедать пора! Вера Ивановна начинает блины печь! Заворачивайте-ка скорее во двор, Александра Петровна велела!

Кто откажется от блинов? И мы с готовностью повернули к дому.

Веселые, покрасневшие и довольные вернулись мы с прогулки. Нина, первым делом, начала рассказывать маме о наших происшествиях, а я побежала к бабушке на кухню. Хозяйственные дела привлекали меня с детства.

Дрова в печке ярко пылали. Бабушка подгребала красные, с голубыми яркими огоньками, угли. На табуретке возле печки стояла квашонка. Блинное тесто устало попыхивало в ней.

Быстро заходили в бабушкиных руках тройные чугунные сковородки, и в кухне вкусно запахло блинами. Когда на тарелке выросла высокая горка блинов, я подхватила их и торжественно понесла в столовую. Все уже сидели за столом кроме, конечно, бабушки.

Не успела я разделаться с первой порцией блинов, как мне пришла в голову какая-то подробность к Нинину рассказу. Перебивая ее, я затараторила, размахивая руками, и ненароком опрокинула свою тарелку со всем содержимым. Жирные блины, сметана и семга – все оказалось на белой праздничной скатерти. Мама вскипела и...

– Встань и моментально убирайся на кухню! Если ты не умеешь себя держать прилично, то тебе нечего делать за общим столом, – жестко приказала она.

Я уже не раз слышала подобные замечания. Но на этот раз ее слишком резкий тон почему-то особенно сильно обидел меня. Ведь и мне тоже хотелось поделиться с ними полученным удовольствием, хотелось, чтобы они посмеялись, слушая наш рассказ о Чалом. И вдруг вместо этого – «убирайся в кухню» и «тебе здесь нечего делать». Слезы моментально закипели у меня в глазах, удушливый ком сдавил мне горло. Я вскочила и, предоставив сметане растекаться по скатерти, пулей вылетела за дверь и через секунду уже сидела рядом с квашонкой и, захлебываясь слезами, жаловалась бабушке.

Бабушка оставила сковородки и, приглаживая растрепавшиеся под платком волосы, спросила:

– Что случилось? Тебя выгнали в кухню? Ну, это еще невелика беда. Да разве так плакать можно? Перестань.

Она помолчала, продолжая гладить меня по голове.

– Эх, Олюшка, – с грустью добавила бабушка, – и на кухне жить можно. Вот и я на кухне. Что же теперь делать? Неужто плакать? Ты посмотри-ка лучше, каких я вашим куклам блинков напекла. Хороши? А теперь, садись-ка лучше за стол.

Она положила на тарелку блинов, полила их маслом и положила горкой густую сметану.

– Садись, ешь, а рыбки я тебе сейчас принесу, – и бабушка вышла из кухни.

Вернулась она с семгой и полным стаканом пенистого кваса.

По невеселому тону утешавшей меня бабушки поняла я, что и она кем-то обижена. Мы чисто по-детски не замечали порой трудные взаимоотношения между взрослыми, а если и замечали, то не задумывались над ними. Они как-то мало затрагивали нас. Бабушку, Веру Ивановну, мы видели в семье с первых дней нашей сознательной жизни. Была она для нас и бабушка, и бабуля, и бабка – это, когда мы на нее сердились. Кто она, откуда, почему живет с нами – мы не знали. Она о себе никогда ничего не рассказывала. Молчали и родители, а нам ни к чему было спрашивать. Всегда занятая, всегда много работающая, всегда возле нас. Это было привычно. И никто не слыхал от нее ни жалоб на усталость, ни нареканий за причиненные обиды. Они, конечно, были. Их не могло не быть. И вот впервые почувствовала я в ее словах «эх, Олюшка, и в кухне жить можно» горечь. И эта, не скрытая в этот раз, горечь заставила меня посмотреть на бабушку иными, серьезными глазами. Она устало стояла возле печки. Лицо ее

раскраснелось от жара. Был праздник, а бабушка всегда работала. Все, кроме нас, сидели в прохладной столовой. Ну конечно, бабушке, как и мне, обидно это.

И вдруг я поняла, насколько она мне дорога, и как я люблю ее. Кто виноват, что бабушка обижена, и что я должна сделать, чтобы хоть как-нибудь выразить ей свою любовь и понимание? И я принялась весело есть приготовленные бабушкой блины. А ведь мне совсем не было весело и совсем не хотелось больше блинов.

После обеда Нина пришла на кухню и потащила меня в детскую. Она как-то сбоку поглядывала на меня, и я почувствовала, что она не на маминой стороне. Она пододвинула к окну стул.

– Давай сядем на подоконник и будем смотреть, как катаются. Хочешь?

Мы уселись поудобнее и стали смотреть. Катание было в самом разгаре. Разукрашенные цветными лентами лошади, запряженные в сани с высокими задками, разрисованными цветастыми букетами, скакали галопом, перегоняя друг друга. Они неслись вдоль села, закидывая снегом встречных. Это веселились сельские богачи.

Крестьянские замухрястые лошаденки, выкатывая от напряжения глаза, старались не отставать. Они готовы были вылезти не только из хомутов, но даже из собственных шкур, лишь бы избавиться от нещадных ударов жалящего кнута.

Все эти кошелки, плетенки и простые розвальни, что мелькали мимо наших окон, были битком набиты пьяными, горланящими мужиками и бабами. Бабы, взвизгивая и размахивая платками, топтались в санях, а очумелые от водки, куражающиеся мужики с плеча стегали лошадей, стараясь попасть по самым уязвимым местам – под живот. Вся эта орущая орда мало походила на веселящихся людей. Скорее напоминала паническое бегство. Глядя на них, нам становилось жутко.

Два мужика, совершенно спятивших от выпитого вина, заспорили как раз против нашего дома, чья лошадь сильнее. Они долго кричали, ходили вокруг лошадей, заглядывали в зубы, щупали ноги, ни до чего не докричались и решили на деле проверить, какая же из лошадей сильнее. Для этого они связали розвальни задками и, ввалившись в них, принялись нещадно настегивать своих несчастных, ни в чем неповинных лошадей, кнутами. Под градом сыпавшихся на них ударов оторопелые животные в страхе металась в оглоблях. Они то рывком дергали сани, то бросались из стороны в сторону, вставали на дыбы и чуть не запрокидывались навзничь, но силы у них, по-видимому, были равные, и спаренные сани не подавались ни в ту, ни в другую сторону. Мужики с побагровевшими мордами и широко открытыми ртами били их уже не кнутами, а кнутовищами. Лошади хрипели. От их взмокших крупов валил пар. Мы давно уж всхлипывали, наблюдая за остервенелыми мужиками.

Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не Михайло. Грозно вышел он со двора с топором в руке, и не успели мужики опомниться, как он вырвал и далеко отбросил кнуты и одним взмахом топора перерубил связывающую сани веревку. Освобожденные лошади ткнулись на колени.

Ведь подохни наутро замученные лошаденки, и сами же вот эти потерявшие рассудок дураки будут ползать вокруг них, плакать и реветь осипшими голосами:

— Да и что я без тебя делать-то буду, кормилица ты моя!

Мне приходилось видеть подобные невеселые сцены.

Целую неделю праздновалась масленица, и пеклись блины. Мы еще несколько раз катались на Чалом. Катались и крестьянские ребята. Подражая старшим, де-

вочки пели тонкими голосами песни и толкались в саях. Ребята правили лошадьми стоя, изображая лихих парней.

В прощенное воскресенье, в последний день масленицы, делали соломенное чучело, с песнями вывозили его за село и там сжигали. Это были проводы веселой масленицы. Потом просили друг у друга прощения: «Прости Христа ради» – «Бог простит». Просили прощения у родителей, у бабушки и мы.

За неделю все было дочиста допито, и все запасы съедены. С первого дня Великого поста для некоторых небогатых и бедняцких крестьянских семей действительно наступал самый что ни на есть великий пост.

У нас в семье постилась только бабушка.



СВАДЬБА

Раз уж я начала говорить про дикость сельских нравов времен моего детства, то заодно расскажу и об одной свадьбе.

Выдавали замуж красивую девушку Дуняшу, дочь зажиточного мужика Прокопа. Свадьбу играли после пасхи. Помню, что было жарко.

Невесту, нарядную, с венком бумажных цветов на голове, покрытую легкой кисеей, в сопровождении подружек и свах повезли в церковь. Разномастная тройка с перевитыми лентами хвостами и гривами лихо мчала вдоль села плетеный казанский тарантас, блестящий лакированными боками. Такой тарантас, прозванный «казанкой», по цене не уступал дорогой коляске. Под дугой, разукрашенной бантами и цветами, захлебывал-

ся истошным звоном медный колокольчик. Мы, дети, знали всех крестьян из села Юлово со всеми их детьми и родичами. Знали и жениха. Это был Василий, видный парень – сын богатого мужика.

Все село от мала до велика сбежалось поглазеть, точно на диковинку, на жениха и невесту, а больше того – на многочисленных приглашенных.

Вначале все шло по чину, как положено на крестьянской свадьбе. Долго и шумно пировало почти полсела, и вскоре полсела было пьяным-пьяно. По установившемуся обычаю, пока гости застольничали, невеста со свахами и подружками ходила от своего дома до дома жениха, каждый раз переодеваясь в новое платье, чтобы все видели, какое приданое давалось за ней. Сопровождал их гармонист в длинной сатиновой рубахе, перепоясанный через плечо холщовым вышитым полотенцем. Под его забористую, с переливами и колокольчиками игру подвыпившие, взмокшие от жары и усердия свахи отплясывали, кружась возле молодой, взвизгивая и размахивая платками. Подружки невесты шли рядом, посмеиваясь и переглядываясь с парнями, дружками жениха. Они поминутно оглядывали невесту, оципывая на ней смявшиеся в сундуке наряды.

Жених в сапогах с набором, в черном пиджаке и голубой рубахе, перехваченной широким плетеным поясом с длинными кистями, прохаживался с дружками и, поравнявшись с молодой женой, горделиво поглядывал на нее.

Приданое Дуняши было богатое, перемен было много, и она много раз прошла все село из конца в конец и, конечно, устала. Повстречавшись снова, в который уж раз, с молодым мужем, Дуняша чем-то не угодила ему. Он отошел от товарищей и, сбывшись, направился к ней.

– Ты что ж это (он назвал ее нехорошим словом)! Ты как это на своего мужа смотришь? Что я тебе не люб, что ли? – донеслись до нас его грозные слова.

Дуняша подняла на него испуганные глаза, и вдруг парень размахнулся и неожиданно для всех ударил ее по лицу. Свахи заголосили и схватили его за руки. Это обозлило его еще больше.

– Да что, я неволен своей жены поучить? – разбрасывая свах, закричал разгневанный Василий.

И, вырвавшись из слабых рук захмелевших свах, он с остервенением принялся избивать свою молодую жену, с которой только что венчался.

Тут и сказались дикость обычаев и нравов деревни – «хочу жену в ступе толку, хочу – с кашей ем». Набежали любопытные, образовав вокруг молодых плотное кольцо. Подружки, сбившись в кучку, испуганно смотрели на эту безобразную сцену. Некоторые из них плакали. На поднявшийся шум, с трудом отрываясь от столов, спотыкаясь и покачиваясь, подошли и приглашенные. Но никто из них не встал на защиту бедной Дуняши. «Муж жену учит – вмешиваться не моги». А парень чем больше бил, тем больше наливался злостью. Когда Дуняша, не выдержав его ударов, упала, он стал бить и топтать ее ногами.

Несколько раз порывалась мама вмешаться и прекратить эту жестокую расправу, но папа удерживал ее:

– Посмотри на эти пьяные морды, кто их знает, на что они пойдут, если им не понравится твое вмешательство. Если б она сама пришла к нам за защитой – это было бы совсем другое дело. Ты посмотри, даже ее собственный отец, и тот близко не подходит и не вмешивается.

В это время, расталкивая всех, с воем и причитаниями прибежала мать Дуняши. Она оттолкнула зятя, заслонила дочь и попыталась помочь Дуняше подняться.

Но озверевший парень, неистово ругаясь, продолжал лезть в драку и мешал ей.

Помощь пришла совершенно неожиданно.

В селе за околицей жил в маленькой покосившейся хатенке одинокий боббль, простак Федя. Он плел из лозы корзины, драл лыко, плел лапти и из мочала, которое сам же замачивал, делал рогожи. Свой немудреный товар Федя продавал крестьянам. Тем и кормился. Это был безобидный, маленький, щуплый мужичонка, никогда и никому не причинявший зла. Если ему удавалось разжиться шкаликом водки, он чувствовал себя настоящим богатеem, ходил по селу, размахивая обтрепанными рукавами грязной рубахи, и громко пел какие-то несуразные, им самим сложенные частушки. Одна из них запомнилась мне:

Ты любила – я любил,

Ты забыла – я запил!

И хоть никогда его никто не любил, но пел Федя свою частушку с большим воодушевлением.

Надеясь пропустить стаканчик на богатой свадьбе, Федя шел в самом радужном настроении. На спине он нес свернутые трубкой новые рогожи, свой капитал, с которым он в любую минуту готов был расстаться за самую мизерную плату. Сбившаяся толпа и крики привлекли его внимание. Федя протиснулся вперед и уставился на происходящее. Веселое, беззаботное выражение постепенно сошло с его маленького сморщенного лица. Точно окаменев, с ужасом смотрел он некоторое время на бессмысленное избиение. Лицо его, как от нестерпимой боли, сморщилось еще больше. Он затрясся всем телом и вдруг сорвался с места и бросился в середину круга.

Мы давно уже улизнули из дома, стояли среди зевак и, холодея от ужаса, наблюдали за происходящим.

Этот слабый человечек, не обидевший за свою убогую жизнь даже бездомной собаки, один из всех не по-

боялся встать на защиту более слабого существа. Он сдернул с плеча рогожи и молча, с ожесточением, принялся лупить по голове зазевавшегося жениха. Вначале парень опешил, но, поняв, кто посмел вмешаться в его дела, он с силой наотмашь ударил Федю и сбил его с ног.

Толпа зашевелилась и неожиданно разразилась хохотом. Настолько диким показался нам этот смех, что мы в страхе убежали, не поняв, чем он был вызван. То ли заступничеством дурачка, каким его считали на селе, то ли его стремительным поражением. А толпа продолжала хохотать. Это озадачило Василия больше полученных колотушек. Он стоял на нетвердых ногах и бессмысленно смотрел на окружавших его людей.

Мать Дуняши и одна из осмелевших девушек, воспользовавшись его замешательством, помогли Дуняше подняться, и, вся избитая, она вбежала к нам во двор. Ворота закрыли.

Мама была в ужасном гневе.

– Скоты, звери, живодеры безмозглые, – бранилась она, – что с несчастной бабенкой сделали!

А бабенка лежала в кухне на полу и, прикрывая лицо и голову руками, глухо рыдала. Мы стояли возле и не знали, что делать.

Подошла Ольга. Она подняла Дуняшу, стащила с нее вконец испорченное платье, надела на нее все свое чистое и увела ее умыться. Мама, тем временем, принесла примочку, йод, вату и приготовилась залечивать ссадины и кровоподтеки. Дуняшу успокоили, напоили валерьяновыми каплями и горячим чаем. С застенчивой улыбкой она смущенно благодарила маму и все пыталась поцеловать у нее руку. Расстроенная видом Дуни, мама пыталась уговаривать ее.

– Не плачь, – говорила мама, – оставайся у нас, сколько потребуется, и ни о чем не беспокойся. Пусть только попробуют сюда сунуться!

Что подразумевала мама под этим «попробуют сунуться», для нас было не совсем понятным, но зато мы твердо знали, что уж кто-кто, а мама сумеет защитить попавшую в беду молодуху.

Остаток дня прошел без происшествий. На селе тоже было тихо. Обиженные сорвавшейся гулянкой гости немного погудели, размахивая руками, и, громко выражая свое неудовольствие, разошлись по домам. Дуняша продолжала сидеть в простенке и грустными, распухшими глазами смотрела перед собой в одну точку. Один глаз сильно заплыл огромным синяком. От каждого постороннего шороха она вздрагивала и принималась плакать. Как же ей, наверное, было обидно и горько, что ее Василий, за которого она шла с такой охотой, в сущности, не злой человек, вот так в день свадьбы ни с того ни с сего избил ее, унизив перед всем селом и дав тем повод охочим до сплетен бабам строить на ее счет разные грязные домыслы.

Ольга выстирала грязное платье Дуняши, погладила его, подштопала порванные места и, помогая ей переодеться, охала и посылала в адрес оскандалившегося молодожена злые проклятья. Многочисленные кровоподтеки, нанесенные сапогом, густо покрывали Дуняшины бока, бедра и руки.

– Звери! Что ни на есть кровопийцы, – ругалась Ольга. – Ну уж нет... Пусть лучше лопнут мои глазоньки, если я когда хоть на одного из них взгляну, не то что замуж пойду. Гад скаженный, що сробил! Що б ему очи повылазили! – перешла она неожиданно на родной язык.

Прошел следующий день, но никто не пришел за Дуняшей. Только ночью тайком прибежала ее мать и стала упрашивать маму покуда не отпускать дочку домой.

– Отец дюже серчает, – говорила она, – оглядываясь на окна. Серчает, что от мужика убежала. Ну-тка не

захочет он теперь принять тебя? Что делать-то будем, доченька? Ни девкой, ни бабой век свой коротать будешь! – вдруг запричитала она.

Дуня горько заплакала.

– Справу мою вернули? – тихо спросила она.

– Нет, родимая, справу покуда не вернули. Может, даст бог, и обойдется все помаленьку, – с надеждой высказала она свое горячее желание.

Около недели никто не приходил за Дуняшей. Много слез выплакала она за это время.

– Ну чего ты ревешь, глупая, – стыдила ее мама. – Ничего плохого я не вижу в том, что ты отсиживаешься у нас. Посмотри в зеркало, синяки твои почти пропали. Ну куда бы ты пошла со своими фонарями? Бабам на смех? А Василию твоему стыдно на глаза нам показаться, вот и не появляется. Потерпи еще немного. Я уверена, что он явится.

Мамино предположение сбылось. Первым пришел Дуняшин отец и довольно дерзко потребовал дочь домой. Мама возмутилась его тоном и отказала отпустить ее.

– Не сумел защитить дочь, когда надо было, так и не суйся теперь не в свое дело. Ты отдал ее Василию, так вот Василий от меня ее и заберет. Так и скажи ему. Только с повинной пусть один не приходит. Пусть придет с отцом. Вот тогда и поговорим.

На этот раз мама решила быть твердой.

Утром отец и сын появились во дворе. Вышел к ним папа.

– Говорить мне с вами особенно нечего, – начал он. – Вот в этой бумаге написано, что вот ты, такой-то, и ты даешь клятвенное обещание никогда не бить и не подвергать никаким лишениям и притеснениям Авдотью. Если согласны, то подписывайтесь и тогда забирайте. Если нет, то я дело об избиении передам в суд. Решайте.

Мужики растерянно помялись. Оглядываясь на отца, Василий первым протянул руку к бумаге и расписался. За ним поставил свою корявую подпись и отец.

Дуняша, счастливая, с сияющими глазами, вышла на крыльцо и низко поклонилась свекру и мужу. Потом все трое поклонились папе и появившейся на балконе маме. Бабушка напутствовала молодых широким крестом, и они ушли. Дуняша, все же изловчившись, поцеловала у мамы руку.

Мы больше всех радовались за Дуняшу и с гордостью посматривали на родителей.



ГОД 1904 – 1905. РАЗГОРАЛОСЬ ЛЕТО. РАЗГОРАЛИСЬ И СОБЫТИЯ

С 1903-им годом, я считаю, окончилось благополучие нашей семьи.

Наступил тревожный 1904 год. Читая газеты, мама и папа с озабоченными лицами толковали о каких-то непонятных для нас обстоятельствах. Говорили они о войне с японцами, которая вот-вот должна разразиться. Говорили о недовольстве и бунтах, вспыхивающих среди крестьян.

На вечерних молитвах перед сном после отче наш и богородицы мама заставляла нас в конце молитвы просить бога не допустить войны. Мы послушно просили: «Боженька, сделай, пожалуйста, так, чтобы войны не было». Но старому немощному богу было не до нас. Не в силах он был даже справиться со своим помазанником, со всеми его министрами, и война, как мы ее видели на картинках, в рваном плаще, с мертвыми пустыми глазами, оскаленными зубами и ржавой косой в костлявой руке, со дня на день ожидала своего часа. Не имея сил что-либо изменить, с большой тревогой наблюдали люди за ее приближением.

Теперь на молитве мы просили глухого бога хоть бы оградить нашего папу и не допустить его на бессмысленную гибель.

А тем временем все чаще и чаще стали доноситься слухи о беспорядках в городах. О враждебных правительству открытых действиях крестьян. А там запылали помещичьи усадьбы. Перепуганные владельцы побросали свои издавна обжитые места на произвол судьбы и уехали в города, где все же для них было безопаснее. Однажды, вернувшись с прогулки, мы похвастались

перед мамой услышанным на селе куплетом: «Вставай, поднимайся, рабочий народ!

Берите дубинки и бейте господ».

– Этого еще не хватало, – пришла мама в ужас. – Не смейте повторять, чего не понимаете.

Она строго-настрого запретила нам подбирать и заучивать что-либо услышанное на улице, пригрозив в противном случае не выпускать нас со двора. Мы недоумевали. Почему нельзя петь куплет, если он разрешает взять дубинку и отколотить старую злую княгиню, не пускавшую нас в сад. Ведь если дать ей хорошенько, то она наверняка не захочет больше приезжать, и тогда некому станет запираяться.

Мама же судила иначе и пообещала выдрать нас, если мы посмеем ее ослушаться.

– Повторяете разные вздорности, а папе могут быть большие неприятности, – добавила она.

В нашем уезде, кроме передаваемых из уст в уста тревожных толков, пока было спокойно. Но буря непокорности и возмущения, подогреваемая большими неудачами и потерями на войне, неслась над Россией, захватывая все новые и новые районы. По ночам то тут, то там заалели разгоравшиеся пожары.

Как-то весной, я не помню, в каком году, кто-то из сельских охотников, невзирая на государственный запрет, убил тяжелую лосиху. Внутренности убитого животного и труп еще не успевшего родиться лосенка он оставил на месте разделки туши в надежде, что волки все пожрут и тем скроют следы его преступления. Волки подвели браконьера. Лесник, объезжая свой участок, раньше волков наткнулся на останки убитого животного. Он подобрал мертвого теленка и привез в контору имения. Сам же отправился на село с твердым намерением узнать, кем совершено преступление.

Даже «шила в мешке не утаишь», а привезти тушу мяса и разделить между родственниками, чтобы все

остались в равной степени довольны, и подавно нелегко. При дележе были, конечно, и обойденные, разные там свойственники. Они-то и выдали браконьера. Им оказался известный всему селу жулик и наглец Демина.

Папа, возмущенный бессовестным поступком, тут же послал конторщика за Деминым и в присутствии сельского старосты и понятых составил акт. Дело о браконьерстве передали в суд. Демина судили и посадили. Срока наказания я не знаю. Только после его ареста по селу прошел слух, что обозленные родичи браконьера решили при первом удобном случае отомстить папе.

Такой случай, по их мнению, настал, когда беспорядки докатились до Симбирской губернии, в пределах которой находилось и село Юлово. «Вот когда можно привести в исполнение давно задуманную месть», – радовались они.

Однажды поутру, когда бабушка вышла покормить кур, на крыльчке кухни она нашла странное письмо. Бабушка подняла его, повертела в руках и отнесла маме, хотя письмо было безымянным. Читать же бабушка не умела. В письме неизвестный доброжелатель предупредил родителей о готовящейся над нашим семейством расправе и советовал «за бога ради» покинуть усадьбу. «Иначе, – писал он, – может произойти убийство». С перепуганной мамой случилась истерика.

Папа к письму отнесся скептически.

– Глупые бредни, – отозвался он о письме, – куда мы не уедем. Перестань паниковать и не пугай детей понапрасну.

На другое утро новое письмо, теперь уже с изображением косы и топора, снова появилось под дверью. На этот раз письмо выражало прямую угрозу, а ночью в окно нашей детской комнаты влетел камень. Окно с треском и звоном разлетелось на мелкие осколки. Мы

испуганно повскакали с кровати и мгновенно спрятались под стол.

Мама трясущимися руками сгребла нас в охапку и увела в свою комнату, окнами в сад. Папа оделся, вышел во двор, обошел вокруг дома, но никого не обнаружил. Все было тихо.

– Какой-нибудь шалый мерзавец решил попугать, – успокоительно сказал папа, вернувшись из обхода.

Следующей ночью Ворон, большой черный пес, с громким лаем рвался с цепи и никому не дал спать.

– Уедем, Леня, – просила мама, – я не могу жить в таком напряжении. И детей подвергать опасности мы не имеем никакого права.

– Как я могу уехать и бросить порученное мне имение, – возражал папа. – Ничего плохого мы никому никогда не делали, и нечего бояться дурацких угроз.

– Посмотри, что творится кругом, – не отставала мама. – Разве ты не знаешь, как жгут усадьбы, жгут хлеба. В соседнем имении – и того хуже! Старосту убили, а что случилось с его семьей никому неизвестно. Я прошу тебя... уедем!

– Ну что ты говоришь о соседнем имении, – старался папа успокоить ее. – Тебе же самой хорошо известно, что у Н. сожгли хлеб в отместку за скот. Помнишь, когда скот по оплошности пастуха зашел к нему в овсы? И, несмотря на то, что и потоптали-то совсем пустяки, прискакал хозяин, вместе с приказчиком загнал несколько коров и держал их взаперти, требуя непосильного возмещения убытков. А какие у мужика достатки, ты и сама знаешь. Вот и поплатился он за это своим урожаем. Относительно убитого старосты ничего сказать не могу, хоть и осуждаю эту кровавую расправу. Человек он был жестокий – это точно. Никому и ни в чем спуску не давал, только и выискивал, как бы кого поприжать посильнее. Ведь сколько разных историй про него рассказывалось. Да взять хотя бы случай с

этим несчастным Никольским. И так мужик каждую зиму буквально на мякине перебивался. Так нет! Взъелся на него невесть за что и пустил всю семью по миру. Что же ты к себе-то их равняешь?

Такие разговоры между родителями происходили каждый день. Мама молча выслушивала папины рассуждения, но по ее напряженному взгляду было видно, что она не склонна менять своего намерения уехать. Как ни странно на этот раз слабохарактерный папа, несмотря на жестокие упреки и горькие слезы оставался при своем решении, а для маминого успокоения распорядился только все выходящие на улицу окна закрыть двойными ставнями, а двери дома так же, как и ворота, крепко запереть, для чего были поставлены новые запоры. Дом наш превратился в настоящую крепость, из которой нас, детей, никуда не выпускали.

Всю последующую ночь во дворе бесновался спущенный с цепи Ворон, а утром было подобрано еще одно, переброшенное через забор письмо, содержание которого мало чем отличалось от предыдущих. Прибавилось в нем только несколько непристойных ругательств.

Просьбы мамы становились все настойчивее. Глаза ее не просыхали.

– Ну пойми же ты, наконец, – говорил папа, – не могу, да и просто не имею права уезжать. Ведь не староста и не конторщик, в самом деле, будут отчитываться перед Ознобишиным, если в мое отсутствие что-либо произойдет. Хочешь, так уезжай с детьми, а я останусь здесь. Да и в их угрозы я не верю. Зачем бы им было подбрасывать столько писем, если б они хотели нас уничтожить. Если на то пошло, то давно уж уничтожили бы и без писем. Значит, не могут. Что-то им мешает. Нет... – решительно сказал папа, – никуда я не поеду. Уезжайте...

– Что ты, что ты, – замахала мама руками, – никуда я без тебя не поеду! От одного беспокойства о тебе я пропаду.

– Ну, как знаешь, – устало отозвался папа, – тогда оставайся. Но только прошу тебя, не приставай ко мне больше. Мне и без этого есть о чем подумать!

Мама замолчала.

Работы в поместье, конечно, шли через пень колоду, но все же шли, и папе приходилось выходить за ворота, но, по настоянию мамы, он не стал надевать свой белый, слишком приметный, картуз, а только брал его с собой и нес в руке. А мама во время его отсутствия, не находя себе места, ходила из комнаты в комнату, и все валилось у нее из рук.

Бабушка не потеряла присутствия духа. Она все делала по дому и заботу о нас взяла на себя. А мы внимательно наблюдали за происходящим. «Почему, – думала я, – бабушка такая спокойная, а мама все плачет и волнуется? Гулять нас не пускает и побегать не разрешает. Все чего-то боится. Бабушка станет ее уговаривать, так она и слушать ее не хочет. Наверно, мама просто самая настоящая трусиха, – пришла я, в конце концов, к недоброжелательному выводу. – А еще бранила меня, когда я чертей испугалась».

Мы скучали. Нас тянуло из помрачневшего дома во двор, но мама была непреклонна. Окончательно ее доконала Анна.

Однажды после обеда папа прилег отдохнуть и задремал – ночами ему спать почти не приходилось. Мама, как всегда, сидела, чутко прислушиваясь ко всем доносившимся извне звукам, как вдруг кто-то сильно забарабанил в дверь. Когда дверь открыли, влетела Анна и, еле переводя дух, запричитала.

– Идут, окаянные-то! Александра Петровна! Идут! Целая толпа валом валит и с ружьями! И что это делается только, господи! – голосила она.

Мама как сидела, так и осталась, только глаза ее широко открылись, а мертвенная бледность залила ее лицо. Вбежавший папа выпроводил Анну на кухню и как можно мягче заговорил с мамой:

– Не слушай ее. Глупая баба, не разобравшись в чем дело, брякнула невесть чего, а ты и перепугалась. Иди к детям, а я выйду и все выясню.

И он направился к двери.

С громким криком «Не ходи! Не ходи! Не пущу!» мама опередила папу и, раскинув руки, загородила дверь. Перепуганные криком мы выбежали в сени и в ужасе уставились на маму. Голова ее тряслась, как у старой княгини. В это время раздался стук в ворота, и мама, как-то сразу обмякнув, медленно сползла на пол. Ей сделалось дурно. Тут уж закричали и заплакали мы.

Стук повторился. Предоставив бабушке и Ольге приводить маму в чувство, папа вышел во двор и окликнул стучавшихся.

– Что за люди? Что надо?

И когда в ответ раздался хорошо знакомый голос крестьянина Николая Кузьмича, все облегченно вздохнули.

– Ляней Петрович, – говорил он, – открой, не опасайся. Мы к тебе не со злом пришли.

Папа отпер калитку, и крестьяне вошли. Первым заговорил опять Николай Кузьмич. Это был высокий, плечистый, чем-то напоминавший мельника, старик. Семейство его было многочисленно и не богато. Как-то на валке леса сосной, неожиданно завалившейся в противоположную сторону, убило его лошадь. Папа на свой страх и риск выделил ему, взамен убитой, с конного двора поместья рабочую лошадь, заактивировав ее как непригодную. Как видно, Николай Кузьмич не забыл сделанного для него папой доброго дела. Рядом с отцом стояли его два старших сына. В руках у них были где-то добытые старые ружья.

Воспользовавшись переполохом, мы с сестрой прокрались на балкон и, притаившись за плетеным диваном, с большим любопытством уставились на пришедших. Всех их мы знали. Многим из них в свое время папа помог. Нужд у мужиков всегда было много: то понадобится лес на поправку покосившейся избы, то нехватит соломы покрыть двор. Когда у многодетного, вечно нуждающегося мужика пала коровенка, и он пришел со своей бедой в контору, папа, рискуя нажить неприятности от князя, дал ему из стада имения годовалую телушку. Мама же всех их в разное время, как могла, лечила. В числе пришедших топтался и дед, которому однажды так угодила медицина.

– Так ты, Ляней Петрович, не опасайся, – снова заговорил предводительствовавший мужиками Николай Кузьмич, – и хозяйке своей скажи, чтоб не сумлевалась. Не допустим мы этих гадов тебе зла учинить. Чай люди мы и добра твоего не забыли, да и не забудем.

Толпа одобрительно загудела и закивала головами. Николай Кузьмич перебил их.

– Тоже нашлись бунтовщики, – снова заговорил он. – Да велика ли их кучка, чтоб мы с ними не управлялись. Живи спокойно и спи спокойно, да и хозяйке своей скажи, чтоб не беспокоилась. Мы сами караул нести будем и никакого урону учинить не дадим.

Мужики снова закивали головами.

– Князь нам ни к чему, – начал было снова Николай Кузьмич, но мужики вдруг оживились, и разом все заговорили, перебивая друг друга.

– Кабы держал он старого управителя, от коего никакой жисти никому не было, не сдобровать бы и ему, – засипел, напрягая голос длинный, как шест, болезненного вида мужик в залатанной самотканого холста рубахе.

– Ни ребятишкам в лес по ягоды сходить, – подержал его другой, – сколько разов, бывало, кого поймает, кузовок отберет, ягоды потопчет. Ни себе ни людям.

– А скольких баб плетью перекрестил, кои за орехами, бывалыча, в княжеский лес забредут, а орехи себе приберет. Черт несуразный! – перекрыв все голоса, пробасил коренастый Федот, известный в селе неудачник, семья которого, и без того большая, ежегодно пополнялась новым голодным ртом. – За то, что хозяин управителя, что допреж тебя был, убрал, а на его место тебя поставил, жалеть ему не придется, – перекрывая могучим басом общую разноголосицу, закончил он.

Папа взволнованно поблагодарил крестьян, и они ушли, напяливая на головы картузы и самодельные валяные шапки.

Мама не вышла, она еще не оправилась после перенесенного испуга.

После посещения крестьян село разделилось. Родичи браконьера еще продолжали, теперь только издали, грозить и ругаться. Добровольная охрана никого не подпускала близко к усадьбе, и мама понемногу успокоилась.

Летние дни манили нас прочь из дома, потемневшего и помрачневшего за закрытыми ставнями. Открыть же ставни мама еще не решалась. Уступив, наконец, нашим бесконечным просьбам и приставаниям, мама разрешила нам выходить во двор, взяв предварительно обещание не высовываться за ворота. Играя подле забора, мы часто слышали перебранки, происходящие между злопыхателями и заступниками.

Солнце все так же, как и в спокойные дни, светило и грело. Цветы продолжали цвести, и несмотря ни на что, кукуруза начала выбрасывать зеленые мягкие косы.

Мама понемногу отошла и перестала плакать, а складки озабоченности на лице папы разгладились. Как видно, жизнь понемногу налаживалась. Только папа почему-то стал совсем плохо видеть. Как видно, не прошло для него бесследно его внешнее спокойствие во время нашей осады. Позднее он долго лечился, ел приготовленную мамой на все лады сырую говяжью печенку и по совету врачей должен был остерегаться волноваться.

За всю свою службу у Ознобишина папа никогда не получал от него такого количества писем, как в это тревожное время. Князь беспокоился за имение и без конца предлагал папе вызвать казаков для усмирения взбунтовавшихся крестьян, надеясь такими крайними мерами спасти свое имущество. Только ни разу не заинтересовался он, не грозит ли опасность самому управляющему и его семье. Как видно, эта сторона дела его ничуть не волновала.

Папа отписывал князю, что никакого бунта нет, что тревожиться за целостность имения пока нет никаких оснований, а присылку казаков считает совершенно излишней и неуместной мерой предосторожности. Однако, несмотря на заверения папы, князь все же решил по-своему.

Велико было всеобщее удивление и возмущение, когда в село вошла полусотня казаков под предводительством офицера. По запыленным угрюмым лицам людей и по их усталым лошадям было видно, что полусотня сделала большой и утомительный переход. История с убитым лосем вылилась для Ознобишина в настоящий бунт. Он воспользовался своими связями в Петербурге и поднажал. Казакам пришлось поторопиться.

Один из казаков спешил и застучал в наши ворота. На его стук из конторы вышел староста имения и попросил господина офицера пройти в контору, где в

это время находился папа. Папа поднялся навстречу офицеру и учтиво осведомился, чем может быть ему полезен. Офицер представился и с некоторым удивлением ответил:

– Собственно говоря, это мне надлежит задать вам подобный вопрос. По вашему требованию я привел своих людей, и вдруг, вы меня спрашиваете, чем можете быть полезны.

Теперь настало время удивиться папе.

– Простите, но никакого требования с моей стороны вовсе не было. Я крайне удивлен как вашим заявлением, так и появлением, – ответил папа.

– Ничего не понимаю, – возмутился офицер. – У меня на руках приказ навести порядок в вашем районе и, в частности, в селе Юлово. Если у вас спокойно, то тем лучше. А полезны вы мне можете быть хотя бы тем, чтобы накормить моих людей. Люди устали и голодны, а также не менее голодны и лошади. Взятый на перегон овес скормлен рано утром.

– Все это так, – ответил папа, – но я не имею никаких указаний от владельца имения князя Ознобишина. Как же я могу распорядиться его собственностью?

Офицер пожал плечами.

– В таком случае придется мне самому обо всем позаботиться, – сказал офицер и вышел из конторы.

Упомянутая папой фамилия князя произвела на офицера некоторое впечатление, и он решил не упорствовать.

– Филиппенко! – раздался со двора его голос. – Найди сельского старосту и приведи его ко мне. А вы, – обернулся он к казакам, – заводите лошадей во двор.

Казаки спешили, и двор наш превратился в военный лагерь. Мама забрала нас и снова засадила дома. Вводом казаков и лошадей к нам во двор она возмутилась.

Папа вышел к офицеру.

– Господин офицер, не лучше ли вам расположиться во дворе барского дома. Я считаю, что вашим людям там будет удобнее. Староста укажет вам. В этом доме живет моя семья. К тому же я не хочу вызывать осложнений с крестьянами.

Офицер согласился. В это время вернулся посланный казак и вместе с ним сельский староста.

– Предлагаю собрать с крестьян все необходимое для довольствия моих людей и лошадей. Довольствовать будете до тех пор, пока покончите со всеми беспорядками и чем скорее одумаетесь, тем для вас же будет лучше. Зачинщиков приведите ко мне. Пока все. Идите, да живо! Люди голодны!

Староста стал, было, что-то возражать, но окрик офицера заставил его поспешно убраться.

Как только казаки освободили наш двор, трое крестьян во главе с Николаем Кузьмичем снова появились перед домом и потребовали вызвать папу.

– Ляней Петрович, аль мы враги тебе, что ты казак затребовал? – решительно приступили они к нему. – Да мы же тебе говорили, что с этими горлопанами мы и сами управимся. А теперь что? Чай, Ляней Петрович, тебе и самому известно, что неоткуда нам взять довольствие для казаков. Неужто последних коровенок порезать? А овса так по всему селу и меры не наберешь. Небось, с богатеев никакого спросу не будет. Кто беден, тот и виновен? Так выходит?

Папа прекрасно понимал, что никаких беспорядков не было, что все могло обойтись только угрозами да бранью. Но что будет после того, как в селе постоят казаки, содержать которых придется крестьянам, папа мог только предугадывать.

Выслушав возмущенных крестьян, он пришел к заключению, что лучше уж взять содержание полусотни на счет Ознобишина, раз он так настаивал на их вызове, чем взбудоражить все село и вызвать настоящее

недовольство со всеми могущими последовать неприятностями.

– Так вот, – сказал папа, – никого я не вызывал. Произошла какая-то ошибка. Днями все выяснится. А пока что довольствоваться их будем за счет Ознобишина, да вряд ли они долго и задержатся. А теперь идите и успокойте сельчан.

В тот же день в Петербург к князю была отправлена телеграмма, в которой папа просил о немедленном отзыве казаков.

Так закончился бунт в селе Юлово.

После описанных событий в Юлово мы прожили еще два года.

Князь неоднократно упоминал в письмах о своем намерении продать имение. Потом пришло прямое распоряжение заняться подысканием выгодного покупателя. У папы начались новые хлопоты по продаже.

Мама усиленно занималась с нами. К первому сентября Нину отправляли в институт в город Нижний Новгород. На следующий год предполагали отправить в тот же институт и меня. Но тут события нашей жизни настолько изменили все планы, что о моем поступлении в учебное заведение совсем забыли. И невольно оно было отложено на целых два года.



ОТЪЕЗД ИЗ ЮЛОВО. ПОЖАР. НИПЕ- НИНЫ

Покупатель на Юлово нашелся и как раз такой, какого подыскивал Ознобишин.

Это был денежный купец из энергичных дельцов – прямая противоположность самому Ознобишину. Купец старался нажать побольше да полегче, а Ознобишин умел только тратить.

Уже после нашего отъезда из Юлово кто-то из бывших служащих рассказал папе, что на берегу пруда новый владелец поставил канифольный завод. Все чудесные сосны, горделиво возвышавшиеся над прудом, были безжалостно вырублены. Водой завод питался из пруда и в пруд же сбрасывал и отработанную воду. Рыба вся пропала. Чудесный уголок природы был совершенно стерт с лица земли, уступив место промышленности и наживе. Видеть это разрушение нам, к счастью, не пришлось.

Я не знаю причины папиного отказа оставаться на службе у нового владельца, и осенью мы покинули Юлово. Шли обложные дожди. Дороги покрылись несусветной грязью. Лошади с высоко подвязанными хвостами, хлюпая по грязи, медленно тащили перегруженные экипажи. Все удрученно вглядывались в знакомые окрестности, затянутые кисеей беспрерывно сегощего дождя.

Всегда бывает трудно покидать привычные места. Особенно же трудным бывает расставание с людьми, с которыми уже сжился. Мне же грустно было покидать свою подругу Ольгу.

Я вспоминала Малютку, маленького смешного стригунка, выровнявшегося в ладную лошадку; верную Леди, подаренную папой знакомому помещику; лес с его чудесами; сад с розами и темно-зелеными перламутровыми жуками, – и мне становилось так грустно, что сразу же начинало першить в горле и щипать глаза.

Вот и Михайло, мой покровитель, ведь это в последний раз везет он нас на Инзу, и мне жаль его, сгорбившегося на козлах и мокнущего под дождем. Никогда больше не придется нам ехать с ним за ягодами и за

ландышами. При воспоминании о ландышевой поездке и комариной напасти мне неожиданно на какое-то мгновение сделалось смешно.

Следом за экипажем, утопая в грязи по втулку, тащились две телеги с пристегнутыми к ним пристяжными. На телегах везли наше нехитрое имущество, упакованное в большие ящики. В одном из ящиков, сердито нахохлившись, точно разделяя общее уныние, сидели и недовольно переругивались бабушкины куры. Когда в глубокой колее, налитой до краев жидкой грязью, телегу встряхивало, потревоженный петух, очнувшись от горьких дум, тревожно спрашивал: «Куда? Куда?»

Несмотря на папины возражения, бабушка не хотела расстаться с курами.

– Почему не брать кур, – недоумевала бабушка. – Кто знает, сколько времени пробудете вы, Леонид Петрович, без места. Свое мясо да свое яичко никогда не помешают.

И папа вынужден был согласиться.

А теперь громкое петушиное «куда, куда» усиливало и без того угнетенное настроение бабушки. И никто, даже сам папа, не мог ее ничем ни порадовать, ни успокоить. Ведь Инза была только временным прибежищем до тех пор, пока папа не подыщет подходящую для себя работу. И кто знает, когда это произойдет.

В этот осенний мокрый день, ох! какими длинными показались нам эти знакомые версты. Но всему бывает конец. Добрались и мы до Инзы и до дома, заранее снятого папой. Дом, в котором нам теперь предстояло жить, был совсем новый, даже еще и не обжитый. Окна самой большой комнаты – столовой выходили на улицу пристанционного поселка. Средняя по размерам комната была отдана нам с бабушкой. Самую маленькую – родители заняли под свою спальню. Из коридорчика дверь вела в кухоньку. Маленькая, тесная квартира. Вещи решили не распаковывать, кроме самого необхо-

димого, и как были они в ящиках, так и поставили их в сарайчик, в котором поселили и кур. Часть ящиков пришлось занести на погребницу.

В задней половине дома, состоящей из одной комнаты и кухни, еще до нашего приезда, поселилась немолодая одинокая женщина, имевшая более десятка гусей с большим и очень строгим гусаком во главе гусиного стада.

Нам с братом после Юловского раздолья тесный дворик, обнесенный высоким тесовым забором, показался настоящим, свалившимся на нас несчастьем. Особенно мне. Я тосковала. Мне не нравился дом, приютивший нашу семью. Я все мысленно жила в Юлово и не могла забыть ни сада, ни леса, ни деревенского простора. Меня угнетали и дворик, и замкнутая поселковая жизнь. И, пожалуй, больше всего – отсутствие сестры, уехавшей к первому сентября в институт.

Часто по ночам, накрывшись с головой одеялом, плакала я втихомолку от взрослых. Всматриваясь в их невеселые лица, я не могла позволить себе огорчить их еще и своими слезами. Ведь мне было уже девять лет, и я давно перестала быть тем маленьким существом, которое подчиняется только своему чутью и капризу. Теперь я жила разумом и многое в жизни стала видеть и понимать, чего раньше совершенно не замечала.

На мое удрученное состояние и неприкаянность, с которой я бродила вокруг дома, обратила внимание соседка по дому Анастасия Ивановна. Как-то, провожая гусей на речушку, протекавшую через широкий луг позади домов, она позвала с собой и меня.

Мне всегда представлялась она угрюмой и замкнутой. Слишком уж строго смотрели ее большие строгие глаза на сухощавом темном лице. Откровенно сказать, я ее почему-то побаивалась и заводила с ней знакомство не решалась. А так как мне было совершенно без-

различно, как убить свободное время, которого у меня стало так много, я согласилась пойти с ней.

Гуси неторопливо вышагивали впереди, одним глазом поглядывая на нас, потом с криком побежали, замахали крыльями, понеслись над лугом и, долетев до речушки, с шумом попадали в воду. Мы же не торопясь шли за ними, и Анастасия Ивановна не спеша и понемногу расспросила меня о нашей семье и, узнав, что папа до сего времени занимал должность управляющего имением князя Ознобишина, несказанно удивилась.

– Честному человеку всегда бывает трудно, – раздумчиво, точно отвечая на свои мысли, проговорила она.

С того дня она стала часто зазывать меня к себе. Наверное, ей, как и мне, было одиноко и скучно. Узнала я ее как большую мастерицу рассказывать разные интересные истории. Строгое лицо ее во время рассказа оживлялось, а сумрачные глаза становились то веселыми, то мягкими и ласковыми. К великому сожалению, все ею рассказанное совершенно забылось. Мы подружились, да только дружба наша, по сложившимся обстоятельствам, оказалась кратковременной.

Когда Анастасии Ивановне случалось рано уходить из дома, она оставляла на мое попечение свое пернатое хозяйство. Первое время гуси не хотели признавать мое над ними право и плохо подчинялись мне. Когда я провозжала их на речку, они так и норовили свернуть куда-нибудь в противоположную сторону, а то и в соседние огороды. И мне казалось даже, что делали они это исключительно с целью показать пренебрежение к моей особе. Бывали и такие случаи, когда гусак, вдруг, ни с того ни с сего окончательно выходил из подчинения, бросал свое стадо и, низко наклонив голову и грозно шипя, устремлялся ко мне. Тогда уж мне ничего не оставалось, как спасаться бегством от его преследования и злых щипков. Но я не сдавалась. Все-таки это

было настоящее занятие, в какой-то мере развлекавшее меня.

Заводить подруг не хотелось. Все соседние девочки не вызвали у меня желания сдружиться с ними и даже в семье начальника пути Нипенина из его двенадцати детей я не пыталась подобрать себе подруги.

С Нипениным папа был знаком и раньше. После же нашего приезда в поселок супруги Нипенины стали всячески выказывать родителям свое расположение. Когда папа бывал дома, кто-нибудь из них, а чаще всего сам Нипенин приходил к нам, забирал наше семейство к себе и старался всячески развлекать нас. А может быть, даже и не старался. Такая уж у него была жизнерадостная натура.

Нипенин был высокого роста, плотный, с небольшой сединой в пушистых волосах, шумливый и всегда бодро настроенный. Одна черта его характера, особо отличавшая его от многих наших знакомых, была бесконечная доброта, запасы которой, казалось, у него были неисчерпаемы. При виде его всегда веселого, приветливого лица охотно верилось, что у этого большого веселого человека вообще не бывает огорчений и что ему не составляет абсолютно никакого труда содержать свое огромное семейство. Веселостью и легкостью обращения он умел и всех окружающих заразить своим настроением.

Как я уже сказала, детей у него было двенадцать человек. В то время как совсем еще маленький карапуз, спасаясь от няньки и каши, шустро переступая толстыми ножками, бегал по дорожкам сада; залезал в самую середину большой цветочной клумбы и усаживался среди цветов, плутовски поглядывая из своего душистого убежища, недоступного для няньки; следующий, меньший член семейства, уже лежал в недавно освобожденном нарядном конверте и деловито пускал слю-

ни, любуясь своей толстой кормилицей в накрахмаленном переднике с замысловатым чепцом на голове.

Когда все семейство усаживалось за вечернее чаепитие, в котором и нам нередко приходилось принимать участие, то из-под стола торчало такое количество детских голов, что их хватило бы на целый детский сад, управлять которым, думалось мне, не так-то просто. С любопытством наблюдая за ними, я всегда поражалась удивительному спокойствию или, может быть, даже равнодушию, с каким мать относилась к своему многочисленному потомству, и все же ни особых шалостей, ни лишнего шума за столом не бывало.

Даже огромный ведерный самовар, стоя на специально отведенном для него месте возле стола и находясь в ведении старшей бонны, разливающей чай, шумел и клокотал как-то в меру, создавая атмосферу семейного благополучия и полного покоя.

Это была удивительная семья. Находясь среди Нипениных, я также начинала чувствовать себя спокойнее и беззаботнее, хотя и в родной семье в то время никаких забот на нас, детей, не возлагалось.

Шестнадцатого сентября, в день бабушкиных именин, Анастасии Ивановны как раз с утра не было дома. Я же что-то замешкалась и вспомнила про гусей, когда они, по всей вероятности, совсем потеряли всякую надежду пополоскаться в речушке.

Когда бабушка вынула из печки сладкий именинный пирог, а мама заговорила об обеде, я вдруг вспомнила о них и стремительно побежала выпускать. Убедившись, что на этот раз гуси не готовят для меня никакой каверзы, я, сломя ноги понеслась к воде, и поторопилась обратно. За двором я столкнулась с хозяином дома. Он заходил как-то к нам, был пьян, и папа постарался поскорее от него избавиться, но я все же его узнала. Хождение его вокруг строений не вызвало у

меня никаких подозрений – кому и следить за своей собственностью, как ни хозяину.

Когда я вернулась домой, все уже сидели за столом, и мама разливала по тарелкам суп. Не успели мы съесть его, как окна столовой затянуло белым дымом. Никто не обратил внимания на его появление, и мы продолжали мирно обедать.

Вдруг с улицы застучали в окно и испуганный голос закричал:

– Пожар! Пожар! Горите!

Мы вскочили, побросав ложки. Мертвенная бледность разлилась у мамы по лицу, и оно стало таким же белым, как шарф на ее плечах.

– Забирай скорее Бориса, и немедленно выходите на улицу, – приказала мне мама.

Я собрала наши серебряные именные круглые ложки с витыми ручками, подняла на руки Крошку и потащила за руку упирающегося брата вон из дома.

У меня задрожали ноги, когда я увидела все дворовые постройки и половину дома, где жила Анастасия Ивановна, ярко пылавшими.

Бабушкины куры с громким кудахтаньем метались по двору, некоторые из них перелетали через забор, другие, точно ошалев от жара, лезли в горящий сарай.

Мгновенно набежала толпа зевак. Кто-то открыл ворота. Все кричали, размахивали руками, подавали советы, но никто и с места не сдвинулся, чтобы помочь родителям вынести хоть что-нибудь из горящего дома.

На этот раз больше всех растерялась бабушка. Услышав предложение папы брать более ценное и нужное, она схватила со стола розовый фарфоровый кувшин с водой и бестолково заметалась с ним по комнатам, пока папа не отобрал его.

Во время пожара впервые столкнулась я вплотную с людской подлостью. Как только в окна пылавшего дома полетели собранные родителями вещи, толпа зевак

зашевелилась. Кое-кто выходил из ее рядов и вместо того, чтобы принять участие в спасении нашего имущества, они подходили к выброшенным из окон вещам и выбирали, кому что приглянулось. Пользуясь общим смятением – кроме нашего дома горело еще два – они засовывали добычу кто за пазуху, кто под рубахи и, воровато оглядываясь, уносили. Потом возвращались снова.

Остаться посторонним наблюдателем гнусного грабежа я не могла. Эта безобразная наглость привела меня в настоящее иступление. Усадив брата возле спасенных узлов и сунув ему в руки ложки, я побежала к горящему дому. Бегая вокруг, я вырывала из рук проходимцев знакомые, ставшие вдруг такими родными, вещи, складывала их в кучки и оттаскивала подальше от огня, туда, где сидел братишка. Наблюдая за моей неравной борьбой, он горько плакал и, когда я подходила к нему, цеплялся за меня руками и кричал, чтобы я больше не уходила. Но мне было некогда, и я убежала снова. Где мне было одной справиться с разгоравшейся алчностью толпы, доходившей порой до курьеза.

Две бабы, ухватив по одной папиной галоше, никак не могли придти к соглашению, кому завладеть всей парой. Вырывая их из рук друг друга, они кричали, ругались и готовы были пустить в ход и кулаки, но, заметив мое решительное приближение, поспешили убраться, и каждая так и не рассталась со своей добычей.

Преследовать их мне было недосуг, и конца бабьего спора я так и не узнала, мое внимание отвлек здоровенный мужик. Он нес бабушкин именинный пирог, прижав к себе сковороду. Отламывая от пирога большие куски, он жадно запихивал их в рот. Тут уж заплакала и я. Мне было так обидно и за бабушку, и за ее именины, и за пирог. Не раздумывая, с удвоенной яростью налетела я на мужика и выбила из его грязных рук и сковородку, и пирог.

Много бы мы не досчитались, если б не выручил нас снова Нипенин. Он прислал свободных путевых рабочих и всех официантов из привокзального ресторана. Они дружно взялись за работу и живо вынесли тяжелые ящики из готовых обрушиться сарая и погребицы. К сожалению, не обошлось без происшествия. Одному из официантов упавшей горячей слесгой разбило на руке палец.

Если бы не эти вовремя подоспевшие люди, все наше имущество неминуемо бы сгорело. Одежда, подушки, белье и многое, уцелевшее от огня и грабежа, было перепачкано и залито водой. Когда рабочие перетаскивали все в одно место, то дошла очередь и до грабителей. Они настигали их, отбирали награбленное, и некоторым, особенно наглым, не стеснялись надавать по шее.

Тем временем, пожарище догорало. День клонился к вечеру, а у нас кроме затянутого тучами хмурого неба ничего не было над головой. Что было делать? Тут уж призадумался и папа. Все порядком устали, переволновались, но все же надо было что-то предпринимать. И снова выручил Нипенин. По его указанию вещи перенесли в привокзальный пакгауз. Нас же, мокрых и грязных, он увел к себе, где уже были приготовлены постели и ужин. Хоть и остались мы без обеда, но никто так и не смог есть. После сильного нервного напряжения, как видно, наступил полный упадок. Нас, детей, сразу же уложили в постели. Вскоре прилегли и бабушка с мамой, и только папа и Нипенин еще долго разговаривали. Мне не спалось, и я слышала, как папа просил Нипенина передать рабочим и официантам от его имени вознаграждение за помощь. Нипенин возражал.

— Скажите мне откровенно, Леонид Петрович, какое вознаграждение получили вы от Ознобишина за его

имение, спасенное Вами, о также и за хлопоты после его выгодной продажи? А ну-ка, какое?

– Никакого, конечно, – ответил папа. – Но это не значит, что я не должен поблагодарить помогавших мне людей, не так ли?

– Так-то оно так, да не совсем так, – протянул Нипенин. – Люди добровольно отозвались на мой призыв, никто ведь их не неволил. Сколько же Вы можете дать им? Ведь если платить за доброе человеческое побуждение, то надо платить или очень много, или вовсе ничего не платить, ограничившись сердечной благодарностью. Я слышал, как Вы благодарили их.

Что ответил папа, я не помню. Кажется, все же Нипенин уверил папу, что в обиде никто не останется. Официанту с ушибленной рукой Нипенин все же передал от папы двадцать пять рублей.

Я лежала с открытыми глазами, слушала их негромкие голоса и не могла уснуть. Картины пожара в моем усталом мозгу сменялись одна другой. То я снова видела охваченное огнем здание и отвратительные рожи грабителей, старающихся поживиться на чужом несчастье; то передо мной возникало побледневшее лицо мамы и папа со слипшимися на лбу волосами, мелькавший в пустых оконных проемах горящего дома. Бабушкин пирог и сама бабушка, до полусмерти усталая, все еще разыскивающая по прилегающим улицам разлетевшихся пеструшек и хохлаток. Передо мной чередой проплывали их дорогие усталые лица, и мне становилось до того их жаль, что сердце сжималось от боли. Я гасила в себе подступавшие к горлу рыдания, только чтобы никто не видел моих слез.

Чаще всего возникала фигура хозяина дома. Он все бродил кругом да около и все чего-то высматривал и выискивал. Утром я рассказала папе о преследовавшем меня кошмаре.

– Я так и думал, – ответил папа, – но ты еще мала, вряд ли суд прислушается к твоим показаниям.

Следствие выяснило причину пожара. Поджигателем, как и предполагал папа, оказался хозяин. Ему нужны были деньги, и он поджег свой дом, чтобы получить большую страховку. Говорили даже, что исключительно с этой целью он и строил дом. Его судили, и осужден он был как поджигатель чуть ли не на десять лет.

Вместе с нами пострадали еще три семьи. У Анастасии Ивановны сгорело все ее имущество, остались только гуси, к счастью, выгнанные мной на речку. Анастасию Ивановну я так больше и не видела.

В соседних домах тоже все сгорело. Старую парализованную женщину, одиноко сидевшую по целым дням в кресле у окна, выкинули вместе с креслом в самую последнюю минуту. Спасавшие ее люди только успели выскочить из полыхавшего дома, как крыша и потолок рухнули.

На другой день после пожара папа подыскал нам новое жилище. Это был совсем старый, покосившийся дом на краю поселка с небольшими тусклыми окнами, кривыми подоконниками, щелястым полом и провисшими местами обоями. За обоями пищало и копошилось множество мышей. Их было так много, и чувствовали они себя настолько уверенно, что даже мне без особого труда не раз удавалось вытаскивать их из-под обоев за хвосты. Мышей мама боялась до ужаса, и во имя ее покоя я и взяла на себя обязанности кошки.

Было в домике и холодно, и сыро. С пола нещадно дуло. Но лучшего в поселке ничего не находилось, и нам пришлось смириться со всеми неудобствами, питая себя надеждой, что это временно и, главное, ненадолго.

Все три комнатки обогревались одной русской печкой, до того ветхой, что когда она топилась, то просвечивала всеми своими пазами. Зябли мы ужасно, но, ка-

жется, больше всех страдала от холода Крошка. Она все время дрожала и лезла на руки. Нам и самим погреться было совершенно негде. На печку же забираться мама не разрешала. Она боялась, что и последний источник тепла развалится. И до того в доме было темно и неприглядно, что мы без конца вспоминали с большим сожалением о прежней, хоть и тесной, но зато светлой и теплой квартирке, нещадно проклиная поставившего нас в трудно положение хозяина.

Меня все время тянуло на пожарище. Я подолгу стояла среди горелых головешек и бывала несказанно обрадована, обнаружив среди них какую-нибудь нашу металлическую обгоревшую вещицу, вроде подставки для утюга. Невеселые мысли вызывал у меня вид погорелья, где так недавно стоял новый, аккуратный домик, где жила Анастасия Ивановна. Остро переживала я все свалившиеся на нашу семью трудности и невзгоды. Я мучилась и за родителей, вынужденных жить в таких отвратительных условиях, и за бабушку, работы у которой значительно прибавилось, так как Ольга уехала домой, и за братишку, с вечно красными, озябшими руками. Беспокойство мое распространялось даже и на трясущуюся Крошку.

Поделиться своими тревогами и огорчениями с взрослыми мне не хотелось. Чутье подсказывало, что вряд ли и они располагают душевным покоем. Вот если бы была дома Нина, с ней-то уж мне, конечно, было бы легче. Отсутствие сестры усугубляло мое тоскливое состояние. Она же ни во что не была посвящена. Нине не писали ни о пожаре, ни о нашем трудном существовании. Впервые оторвавшись от семьи, сестра и без того сильно скучала, и мама запретила мне писать ей откровенные письма.

Папа в это время часто отлучался, возвращался и снова уезжал. В его отсутствие мама совсем перестала выходить из дома. Занятия со мной шли кое-как. Целые

дни проводила она у тусклого окна, не выпуская из рук своего бесконечного вязанья. Когда папа возвращался, то сердился и ворчал на маму.

– Почему ты сидишь все время дома? – спрашивал он ее нетерпеливо. – Посмотри на себя, какая ты зеленая стала. А все потому, что совсем не бываешь на свежем воздухе.

Но мама продолжала вести свой затворнический образ жизни и не слушала папиных советов.

Так как Ольга еще из Юлова уехала домой, то всем хозяйством пришлось заниматься бабушке. Выполнять работу по дому помогала ей и я. Мы с бабушкой перемыли и перестирали все перепачканные на пожаре вещи. Как назло, погода стояла холодная и сырая. Все время моросил противный, надоедливый дождь. Сушить белье было негде, в особенности такие крупные вещи, как одеяла и скатерти. Чердак над домом был для этого слишком низок и неудобен, густая паутина с огромными жирными пауками висела по его углам. Толстый слой тончайшей пыли устилал чердак, и при каждом мало-мальски неосторожном движении она взлетала и долго туманом висела в воздухе. На таком чердаке только мне и было впору управляться. Но и я частенько больно стучалась головой об низкие балки. Тогда, присев на корточки, я подолгу растирала ушибленные места, а бабушка, ожидавшая внизу, спрашивала:

– Что это ты там как сопишь, Оля?

После пожара я как-то сразу повзрослела. Теперь мне казалось невозможным сидеть без дела, и я всячески старалась помочь бабушке. Так постепенно у меня появилось много обязанностей, с которыми я научилась быстро и ловко управляться. Я подметала пол, мыла посуду, водила брата гулять, даже носила бабушке дрова к печке. В лавки за продуктами мы с бабушкой хо-

дили вместе. Хождения эти были для меня новы и интересны.

В лучшие времена, возвращаясь из деловых поездок, папа привозил нам большие, обернутые в блестящую фольгу шоколадные бомбы. Мы любили эти бомбы за их пустяковые сюрпризы. Чаще всего это были оловянные брошки в виде петухов, зайчат и кошек. Иногда это были какие-то непонятные ни к чему не применимые башенки на манер китайских пагод, а если бомбы были покрупнее и подороже, то и сюрпризы в них бывали интереснее. Шоколад мы быстро съедали, а сувениры за ненадобностью терялись.

Посещая с бабушкой лавки, только издали да тайком поглядывали мы с Борей на бомбы, сложенные пирамидой на прилавке. Мне казалось, что даже самая маленькая из всех существующих бомб ценой не более трех копеек является для нас недозволенной роскошью, и у меня, в самых затаенных помыслах, никогда не рождалось желания попросить бабушку купить нам с братом ну хотя бы по такой.

Как-то бабушка была очень занята и запоздала с обедом. За покупками к знакомому лавочнику она отправила меня с Бориской. Отсчитав необходимые деньги, она перечислила все, что мне следовало купить, и напоследок сказала, что если я за все расплачусь правильно, то на оставшиеся деньги она разрешает мне купить небольшую бомбу.

– Не забудь поделиться с Боренькой, – добавила бабушка, выпроваживая нас за дверь.

Взявшись за руки, впервые отправились мы самостоятельно по знакомой улице за покупками. «Значит, я стала большая, раз мне доверили деньги», – размышляла я по дороге и была этим страшно горда. Когда же мы добрались до лавки, я неожиданно оробела, и вся уверенность с меня мигом соскочила. Несмело открыли мы дверь и вошли.

Лавочник узнал нас. Он поднялся из-под прилавка, где что-то расставлял и справился, как у настоящих покупателей, привычной фразой «что угодно?». Волнуясь, принялась я перечислять бабушкины поручения и от смущения чуть было не запуталась в полуфунтах и четвертях фунтов. Получив покупки и сдачу, я обнаружила у себя в руке не три, а целых шесть копеек. Обрадовавшись, я даже не подумала, почему так получилось, и попросила продать нам еще две бомбы. Теперь можно не делиться с братишкой. «Как же все удачно получилось», – радовалась я. И мы весело зашагали к дому. Всю дорогу я с большим удовольствием поглядывала на счастливую рожицу брата. А он важно нес свою бомбочку, и его синие глаза светились.

Бабушка приветливо открыла нам дверь.

– Ну как? Сходили в лавку? Все купили? – спрашивала она нас и взяла из моих рук корзинку.

– Все купили. У меня даже еще три лишних копейки осталось, – весело сообщила я. – Мы купили не одну, как ты говорила, а две бомбы. Посмотри какие!

– Сейчас. Сейчас проверим, что ты тут принесла. Не должно у тебя столько денег остаться, – и бабушка стала выкладывать на стол принесенные мной покупки. Она вынула последний кулечек и вопросительно посмотрела на меня.

– А где же хлеб? – с укором спросила она. – Самое-то главное к обеду ты и не купила. Значит, обедать будем с шоколадом? Нет... не годишься ты за покупками ходить. Видно все еще глупости у тебя в голове.

И недовольная бабушка стала одеваться.

Точно холодной водой окатила меня бабушка, смыв начисто и мою гордость, и удовольствие за доставленную брату радость. Я все еще видела его счастливые глаза, когда лавочник протянул нам шоколадные бомбы. Бабушка и не подозревала, в какой мрак столкнула меня, осудив так строго мою нечаянную ошибку. Це-

лый рой горьких мыслей враз закружилось у меня в голове: «Папа не может найти работу, денег у нас нет, мама стала такая хмурая, все сидит такая скучная, бледная и совсем забросила все дела. Наверно, нам будет совсем плохо. И бабушке приходится трудно, потому она так сегодня и рассердилась. Она доверила мне деньги, а я, никудышная помощница, истратила их на какие-то бомбы. Разве я не могла порадовать Бориску, отдав ему всю бомбу, разрешенную бабушкой? Как я могла забыть про хлеб?» Так корила я себя весь остаток дня, с трудом удерживая то и дело закипающие в глазах слезы. Когда же мы легли спать, и я оказалась наедине со своими мыслями, то долго сдерживаемые слезы властно сдавили мне горло. Я с трудом перевела дыхание и затряслась от долго сдерживаемых рыданий.

Мама читала за столом. Она отложила книгу, подошла к моей кровати, откинула укрывавшее меня с головой одеяло и внимательно поглядела мне в лицо.

– Что с тобой? О чем ты так плачешь? – наклонившись ко мне, спросила мама

Почувствовав участие, я не смогла больше таиться и, давась слезами, торопливо выложила ей всю свою боль и все свои тревоги, накопившиеся со дня отъезда из Юлово. Я говорила ей и о своей любви и жалости к ним. О своем раскаянии, вызванном попусту истраченными деньгами. О своей тайной тоске по сестре. Все рассказала я маме, и это было таким неумным проявлением страдания, что мама не сразу нашлась, что ответить и как меня успокоить. Она только сидела рядом и без конца вытирала своим тонким платочком катившиеся у меня по щекам слезы. Потом взяла мои мокрые от слез руки и прижалась к ним лицом.

– Довольно плакать. Перестань. Совсем уж не так плохи наши дела, как тебе кажется. Ну чего только не наговорила? А теперь слушай... Папа скоро устроится, и нам не придется тогда долго жить в этом, я бы сказа-

ла, не таком уж плохом доме, – и мама улыбнулась своей шутке. – Ты же знаешь, что это временно. Тебя беспокоит моя апатия. Так она скоро пройдет. Просто это следствие испуга при пожаре. Занятия с тобой мы снова возобновим. А там ты поедешь в институт, и тебе не надо будет расставаться с Ниной. Вы все время будете вместе.

Мама помолчала, призадумавшись, и мечтательно проговорила:

– Скоро лето, Нина приедет домой, и наша семья снова будет в сборе. Глупышка ты моя, – мама отстранила мои взмокшие на лбу волосы, – ну что же ты так долго молчала? Видите ли, она не хотела нас волновать. Надо же такое придумать! – мама наклонилась и несколько раз меня поцеловала. – Разве ж хорошо быть такой скрытной и так мучить себя по пустякам? Ай-ай-ай, сколько напрасного горя таилось в твоём маленьком сердечке, – и она укоризненно покачала головой. – Трудно тебе будет с таким характером жить на белом свете, девочка ты моя заботливая, – как бы подводя черту под сказанным, добавила она. – Ну, а теперь спать. У вас, слава богу, есть родители. Они обо всем и позаботятся. Рано тебе голову свою ломать да забивать ее заботами.

Мама еще раз поцеловала меня, перекрестила и вышла из комнаты. Через тонкую перегородку мне было слышно, как она сказала бабушке:

– Как надо быть осторожным в разговорах при детях. Они будто и не слышат, а все примечают. Я и не думала, что наши расчеты и подсчеты могут так расстроить и озадачить кого-либо из них, как это получилось с Олей. А тут еще это история с бомбой. Ну, зачем ты ее так оговорила? Девочка так старается, за все берет, чтобы помочь тебе. Лишних три копейки все равно погоды не сделают. Не надо было упрекать ее.

Что ответила бабушка, я уже не слышала. Точно гору тяжести сняла с меня мама своим участием, и впервые за много дней я крепко уснула.



ПРОЩАЙ ИНЗА. КАРПОВЫ

Так прожили мы до января. Январь месяц – хозяин зимы, и поворачивает он ее то на мороз, а то и на весну. Сломал он и наше зябкое проживание в старом, промозглом домишке в беспокойном соседстве с мышами, превратившими его в свою резиденцию.

Раскрыв перед мамой горький тайник своей души, я успокоилась. Уж не таким обреченным стало видеться мне наше настоящее, и с большими радужными надеждами засветилось будущее.

Вернувшись из очередной поездки, папа под тихую воркотню самовара рассказал о встрече с одним из Пензенских богатеев – Карповым. Купеческая семья Карповых с братьями и детьми была велика. Когда-то Карпов-прадед ездил на тряской телеге по деревням и скупал тухлые кожи, а теперь его третье поколение владело миллионным состоянием, выразившимся в многочисленных имениях, разбросанных по Сммбирской, Пензенской и Нижегородской губерниям. Главой семьи считался старший из братьев Алексей Андреевич.

Это был высокий, могучего сложения, пожилой человек с крючковатым орлиным носом, большими черными строгими глазами и крупной, с большую горошину, родинкой на носу. Эта темная родинка придавала его лицу особую суровость, и мне казалось, что, не будь ее, он не смог бы так жестко и властно управлять

своими капиталами. Резкая властность и безоговорочность приказаний являлись основными чертами его характера.

Смеющимся Алексея Андреевича видеть мне не приходилось, и никогда не замечала я хотя бы подобия улыбки с веселой искоркой в глазах на его холодном лице. Но зато однажды видела, как он грубо и зло кричал на одного из своих служащих и грозил ему толстой сучковатой палкой, с которой никогда не расставался, только за то, что тот осмелился обратиться к нему с просьбой о прибавке. А ведь Карпов хорошо знал, как трудно живет этому служащему, имеющему на руках многочисленную, да при том еще и нездоровую семью.

Не лучше он относился и к своей семье. Не знаю, разговаривал ли он вообще когда-нибудь со своей женой. По-моему, он просто не замечал этой толстой, рыхлой женщины, кажущейся мне совершенно безвольной и бессловесной в его присутствии. В молодости она, вероятно, была очень красива. Черты ее лица, несмотря на полноту, оставались правильными и приятными. Только большие серые глаза ее потускнели и глядели на все с глубоким безразличием и скукой.

Детей у них было четверо: три сына, такие же крупные как отец, но чертами лица они походили на мать, и дочь – полная противоположность братьям. Тоненькая, гибкая как тростинка, со строгим выражением красивого лица и большими серыми суровыми глазами. Мне она при нашей первой встрече совершенно не понравилась. Я никогда не любила людей надменных, считая их злыми и недалекими.

Со старшим их сыном Алексеем и младшим Митенькой я впоследствии неоднократно встречалась. Расскажу о них позднее.

Встретился папа со вторым братом семейства Карповых – Андреем Андреевичем. Братья были полной противоположностью как внешне, так и по характеру,

да и разница в годах между ними была изрядная. В то время как старший всецело был поглощен делами и вел строгий патриархальный образ жизни, второй брат Андрей Андреевич любил легко и широко пожить, следил за модой в одежде и не прочь был завести, немного не доведшие его до беды, легковесные новшества в своем имени. Отличался он от старшего брата и наружностью. Был он среднего роста, плотненький, русоволосый, с мягкими чертами лица и веселыми серыми глазами. Женильба на девушке с большим приданым помогла ему выпутаться из затруднительного в делах положения.

Ничего общего не было и между женами братьев. Возможно даже, что жена старшего брата была старобрядка. Носила она простые широкие старушечьи кофты и покрывалась темным платком. Молодая жена Андрея Андреевича – настоящая русская красавица, под стать мужу, любила одеваться красиво, повеселиться и посорить деньгами.

Братья не ладили, крепко осуждали друг друга, а потому и семьи их находились в полном отчуждении.

Как-то, отправляясь в гости к Карповым, мама по настоянию мадам Карповой-младшей взяла с собой и нас.

У молодой, цветущей женщины не было детей. Кажется, только это и являлось единственным несчастьем, омрачившим ее жизнь. Детей же она любила и радовалась, когда возле нее находились, если уж не свои, то хотя бы чужие. Приглашая к себе наших родителей, она никогда не забывала напомнить им привезти и нас.

И вот мы все трое впервые едем с мамой к Карповым. Как всегда в таких случаях, к крыльцу подали тройку. Мы, возбужденные предстоящей поездкой, довольные и веселые, уселись вместе с мамой в коляску.

Папу неожиданно задержали непредвиденные дела, и он пообещал догнать нас на дрожках.

Дорога проходила лесом, и не успели мы как следует въехать в него, как молодые лошади испугались вывороченного с корнем дерева, захрапели, метнулись в сторону и понесли по узкой лесной дороге, рискуя расшибиться о придорожные деревья или разбить экипаж, зацепив колесами за пень. Перепуганная мама, понимая, сколь печально может окончиться подобная скачка, если кучеру не удастся скоро справиться с тройкой, выбросила нас по одному из коляски, и не успели мы придти в себя, как и упряжка, и мама скрылись за деревьями. Потирая ушибленные при падении колени, прихрамывая и охая, побежали мы вдогонку. На наше счастье вскоре раздался конский топот, и на повороте показалась наша коляска. Лошади успокоились и мирно трусили обратно, помахивая головами и отфыркиваясь. Мама подобрала нас, и мы поехали дальше. Всю дорогу мама сокрушенно рассматривала наши ссадины.

Чета Карповых шумно приветствовала нас в передней. Все еще взволнованная мама не замедлила рассказать о нашем дорожном приключении. Супруги с большим сочувствием выслушали маму, а я с не меньшим интересом рассматривала богато обставленные комнаты.

– Слава богу, – закончила свое повествование мама, – как же я была счастлива увидеть детей целыми и невредимыми, если не брать во внимание исцарапанных колен и запачканных зеленью платьев, за что вы нас, надеюсь, великодушно извините, – наклонив голову в сторону хозяйки, добавила она.

В это время в комнату вошел папа. Он весело поздоровался с хозяином хозяйкой дома и только тогда в шуточной форме спросил маму, откуда у детей взялись новые царапины и почему мы так перепачкались. И

мама снова с самого начала повела свой рассказ. А мне вдруг стало невероятно скучно. Поднявшись с кресла, я потихоньку вышла на балкон и с любопытством осмотрелась. Ступени балкона спускались в сад, поразивший меня великолепием и множеством невиданных ранее цветов. Я сошла с высокого крыльца и, пробираясь из аллеи в аллею, не заметила, как оказалась на пчельнике.

Пчела, привлеченная моим розовым бантом, немного покружилась у меня над головой и села на бант. А я, вместо того чтобы оставить пчелу в покое, прихлопнула ее рукой, за что пчела и цапнула меня за палец. От жгучей боли я тут же сунула палец в рот. Но это не помогло. Боль не только не проходила, а даже усиливалась. Палец жгло, точно в огне. Чтобы немного унять боль, я неистово замахала рукой. Получилось совсем плохо. Этим я привлекла к себе внимание теперь уже многих пчел, и они сердито загудели вокруг меня. Отмахиваясь обеими руками от наседавших насекомых, я пустилась наутек. Не разбирая дороги, что есть духа, летела я напрямик к дому, и все же пчелы ухитрились меня изрядно покусать. Обиднее всего было то, что прикрылся глаз, а губа безобразно вздулась.

Как ни плачевен был мой вид, но мадам Карпова, взглянув на меня – красную, косую и косоротую, всплеснула руками, громко рассмеялась и поторопилась захлопнуть балконную дверь.

Мама же ужасно всполошилась.

– Боже мой! Где это тебя так разукрасило? Куда ты уходила? Что с тобой случилось? – сыпались ее тревожные вопросы.

И узнав, что я всего-навсего побывала на пчельнике, вдруг также заразительно засмеялась, а за ней громко фыркнули и сестра, и брат.

Хозяйка дома поспешила за нашатырным спиртом, намочила кончик своего батистового платка и стала

примачивать укушенные места, приговаривая: «Ничего, ничего, не отворачивайся, так скорее спадет опухоль». От нашатыря у меня из глаз потекли обильные слезы. Мама иголкой осторожно вытащила пчелиные жала и, смочив холодной водой свой платок, заставила меня прикладывать его вместо компресса, в то время как мне хотелось только плакать. Обиженная и сердитая усе-лась я в самый дальний угол комнаты подальше от всех, чтобы без посторонних глаз пережить свое огор-чение.

– Не дуйся, впредь тебе наука. Не уходи само-вольно. А уж если ты попала на пчельник, то, во всяком случае, не стоило давить пчел, тогда они тебя не поку-сали бы, – рассматривая мое несчастное лицо, поучала меня мама. И, посочувствовав мне, добавила. – Не рас-страивайся, скоро все пройдет.

Тем временем мадам Карпова принесла большое блюдо, полное сладостей.

– Довольно огорчений, присаживайтесь поближе, дети, вот сюда, и займитесь-ка лучше вот этим. Гля-дишь – и шишки пройдут, – сказала она и поставила блюдо на небольшой столик.

Усадив нас, она подошла к граммофону, положила пластинку и покрутила ручку. Из трубы полилась весе-лая музыка.

– Андрюша! Идите сюда, – позвала она мужа.– Я хочу развеселить своих гостей танцами и, в первую очередь, покажу канкан. Леонид Петрович! Если вас интересует самый модный современный танец, то по-торопитесь.

Когда мужчины вошли и расселись, она переменяла пластинку, снова покрутила ручку и, подхватив с обеих сторон свое легкое, все в оборочках летнее платье, ко-кетливо и с большим темпераментом исполнила какой-то необыкновенный танец. Юбки ее так и взлетали.

Забыв про свои огорчения и про радости, мы с удивлением смотрели, с какой легкостью и беззастенчивостью исполняла она то, что называлось канкан. Раскрасневшись и запыхавшись, она снова переменяла пластинку, вытащила мужа из кресла и теперь уже в паре с ним протанцевала еще один танец, припевая:

Матчиш прелестный танец,
Он очень жгучий!
Привез его испанец –
Брюнет могучий

Раньше я как-то не замечала, что Андрей Андреевич значительно ниже своей красавицы-жены. Обратила же я на это внимание, лишь наблюдая их во время танца.

Нет... мужчина все же должен быть выше ростом. И я тут же дала себе обещание никогда не выходить замуж за человека, если он будет ростом ниже меня.

Зарок свой я нарушила в годы Гражданской войны.

В те времена мы почти нигде не бывали. Набираться впечатлений было неоткуда, и я долго вспоминала красивое поместье, богатый дом, диковинные цветы, разудалую хозяйку и злых отвратительных пчел.

Вот с этим самым Андреем Андреевичем и встретился папа на вокзале Рузаевки, возвращаясь из своей очередной поездки. Они разговорились и, узнав, что папа больше не служит у Ознобишина, Андрей Андреевич предложил папе поехать в Пензу к его старшему брату Алексею Андреевичу.

– Мой брат давно подыскивает такого человека, как вы, Леонид Петрович. Ему нужен управляющий, знакомый и с сельским хозяйством, и с лесным делом. Я уверен, что вам у брата будет неплохо. Хоть он и строг до грубости, но вы со своим характером с ним

поладите. Поезжайте в Пензу, сейчас он там. Если хотите, я напишу ему о вас.

Папа знал о неладах между братьями и от рекомендации отказался.

Мама же, выслушав папу, посоветовала ему не откладывать дела в долгий ящик, а поскорее ехать к Карпову.

Встреча с Алексеем Андреевичем окончилась тем, что в январе, в самые что ни на есть сильные морозы, пришлось нам перебираться в Шандрово Нижегородской губернии неподалеку от Лукоянова.

Родители горячо распростились с большим своим другом Нипениным, погрузились со всеми пожитками в товарную теплушку и отправились обживать новые места.

Велико было наше общее огорчение, когда вскоре же после отъезда, да чуть ли не в следующем месяце, прошел слух, что Нипенин, заболев воспалением легких, умер, оставив свою огромную семью без всяких средств. Они как-то уж слишком быстро выехали из занимаемого ими казенного дома, и папа не сумел ничего узнать об их дальнейшей судьбе. С тех пор фамилия Нипенин ни разу больше не встречалась за всю мою жизнь.



ШАНДРОВО

Тщательно законопаченную теплушку, с чугунной печкой посреди, прицепили к порожняку, идущему под

погрузку леса, и мы отправились в занесенную снегом неизвестность.

Раскаленная докрасна печурка непрерывно топи-лась, распространяя удушливый жар, но из заткнутых щелей все равно немилосердно дуло. Студеный ветер, зло попискивая, пробирался в теплушку и оседал по углам игольчатой изморозью. Заботливо укутанные, до смешного неповоротливые сидели мы на нарах и неотрывно смотрели в маленькое зарешеченное окно, по-минутно протирая его давно намокшими платками.

Паровоз, попыхивая черным дымом и рассыпая быстро гаснущие на снегу искры, неторопливо тянул порожняк, и у нас было достаточно времени рассмотреть новые, совсем незнакомые места; заваленный матушкой вьюгой лес; старые черные ели с серебристыми воланами на широких пригнувшихся под их тяжестью лапах; уютно прикорнувшие под белоснежным покрывалом пушистые елочки и стройные сосенки.

Состав неожиданно так резко затормозил, что мы с Бориской стукнулись лбами. Затем нас с силой рвануло, и вдруг состав, набирая скорость, покатился обратно, туда, где мы только что проезжали. Точно в калейдоскопе стремительно замелькали уже виденные сугробы, деревья и деревца, а теплушка, мотаясь из стороны в сторону, точно лодка, сорвавшаяся с якоря в штормовую погоду, продолжала увеличивать и без того невероятную скорость.

Растерявшиеся родители не знали, за что и браться: то ли оберегать нас, чтобы мы не слетели с нар, то ли ловить взбунтовавшиеся и пришедшие в движение узлы и свертки.

– О господи, пронеси и помилуй, – крестилась бабушка. – Неужели вагоны от паровоза оторвались? Вот ведь беда-то какая. Что же с нами-то будет? Матушка, царица небесная, спаси и сохрани, – причитала она,

бросая на папу умоляющие взгляды, не очень-то, видно, надеясь на божью мать.

Но папа и сам не знал, что происходит, и почему вдруг взбесилась наша глухая теплушка.

Но вот, точно устав от непривычной скачки, теплушка пошла ровнее, судорожно подергалась и, прогремев на стылых стрелках, остановилась. Папа выпрыгнул из вагона и осмотрелся.

Состав стоял на глухом, занесенном снегом разъезде. Вокруг было тихо и мертво. Только издали доносился приглушенный расстоянием, быстро нарастающий непонятный грохот. И когда на огромной скорости мимо нас пронеслась под гору оторвавшаяся от товарного состава открытая платформа, груженная бревнами, стало ясно, какой беды избежали мы. Крепление одной стороны платформы сломалось, и освобожденные бревна, точно бараны, с силой летели в разные стороны.

Счастье, что служащий разъезда успел предупредить об аварии, и машинист, спасаясь от столкновения, погнал порожняк обратно к разъезду, чтобы пропустить оторвавшуюся платформу. Ее во что бы то ни стало следовало остановить, но никто не знал, как это сделать. Подкладываемые на рельсы специальные башмаки были не в состоянии удержать мчащейся на невероятной скорости тяжести. Помогла, как это иногда случается, простая случайность. Одно из бревен, соскользнув с платформы, упало ей под колеса. Платформу сбросило с насыпи, и она слетела под откос, превратившись в груды щеп и обломков, а бревна разнесло на далекое расстояние от места катастрофы.

Все это рассказал папе служащий разъезда. Ахов и охов, как и разговоров о случившемся происшествии, хватило на весь остаток дня.

К вечеру порожняк дотащился до Шандрово. Рабочие с лесопильного завода быстро выгрузили наши ве-

щи и, уложив их на дровни, повезли к дому. Выбрались из теплушки и мы. Невдалеке дымила труба лесопильного завода. Дым из трубы в морозном воздухе шел вверх свечой. Звенела и истошно взвизгивала круглая пила. Все вокруг было засыпано глубоким снегом. Высокие сосны и ели стеной стояли вдали, и казалось, что это из-за леса надвигается ночная темнота. Крепкий мороз больно вцепился в нос, выжимая слезы. Пар клубами вырывался из ртов о чем-то спорящих возчиков, и тугими белыми струями вылетал из конских ноздрей, намерзая вокруг мутными сосульками.

После душной теплушки очень хотелось поскорее в дом, в домашнее тепло, к шипящему горячим паром самовару. Когда подъехали широкие вместительные сани, запряженные парой цугом, мы, не дожидаясь особого приглашения, поспешно расселись, и лошади дружно натянули постромки. Сани легко заскользили среди высоких сугробов по наезженной дороге. И оказалось, что совершенно напрасно беспокоилась о нас бабушка. Понадобилось не более получаса, чтобы доехать до нового дома. Когда лошади остановились, и звонкий скрип полозьев стих, снова стал слышен пронзительный визг круглой пилы.

Дом, в самом деле, был совершенно новый, недавно рубленный. Среди высоких сугробов, доходивших чуть ли не до окон, он казался совсем невысоким.

Мы выбрались из саней, и пока бабушка и мама вынимали кое-какие пожитки, мы в сопровождении папы поднялись на желтое тесовое крыльцо и вошли в просторную прихожую.

Зимнее солнце давно уже село, и в доме было сумрачно. Папа протянул руку к черной коробочке у косяка двери. В коробочке что-то щелкнуло, и вдруг комната озарилась ровным ярким светом от загоревшейся под потолком, никогда невиданной, странной лампочки. Мы ахнули и с недоумением уставились на папу.

– Что это? – папа улыбался, а ноздри его носа раздувались, что было признаком его удовольствия. – Это, дети, электричество. Теперь скоро керосиновым лампам настанет конец.

Он снял пальто, высвободил нас из дорожных одежек и пошел из комнаты в комнату, а мы бежали следом и в восторге зажигали по пути чудесные лампочки.

Окна дома засветились.

– А теперь давайте выключим лишний свет, – сказал папа, и показал, как это просто делается.

– Вот это здорово! – прыгали мы.

И когда в прихожую вошли нагруженные пожитками бабушка и мама, мы, перебивая друг друга, начали рассказывать им о необыкновенном свете со странным названием электричество. Так произошло наше знакомство с энергией, прочно и властно вошедшей ныне в жизнь.

В доме нас никто не встретил. Но он был жарко натоплен, мебель расставлена по местам, многочисленные цветы в гостиной политы, а белые не крашенные полы чисто вымыты.

И началось детальное знакомство с домом.

К великому удовольствию бабушки, кухня оказалась просторной, светлой, с русской печкой и обширной кафельной плитой. Рядом с кухней была даже комната для прислуги. Одна из дверей тесного коридорчика вела в столовую, другая – в кабинет с массивным письменным столом посреди. Третья дверь вывела нас в гостиную. У окна на специально приспособленных пирамидах стояли многочисленные цветы. Из гостиной можно было выйти в прихожую, в комнату для родителей и снова в коридор, где размещались квартирные удобства. За ними оказалось еще две комнаты. Первую решили отвести под нашу детскую, во второй разместились бабушка. Заканчивался коридор выходом на балкон. Всего комнат в доме было семь. Все они были

хорошо обставлены, и кроме наших детских кроватей добавлять ничего не требовалось. Во всем доме было очень светло и настолько тепло, что даже самые сильные морозы оказывались перед ним бессильны.

Поутру специально приставленный истопник Герасим приносил огромные вязанки дров и затапливал печи. Смолистые дрова дружно горели, потрескивая и поскрипывая, и распространяли далеко вокруг живительное тепло.

Мы отогрелись, повеселели, а вскоре и забыли про инзенское прозябание. Только мама оставалась все такой же бледной и ко всему равнодушной. Занятия со мной совершенно прекратились, и лишь вязанье занимало ее руки.

Так и запомнилась она мне на кушетке с крючком в руках.

А я в то время не унывала. Могла ли я унывать, когда я снова вернулась деревенское раздолье, по которому я так скучала после отъезда из Юлово.

В Шандрово я впервые поняла прелесть накатанных до зеркального блеска дорог, по которым никто не запрещал мне с утра и до вечера носиться на коньках, пусть даже самых примитивных, сделанных молчаливым истопником Герасимом, которые ему же и приходилось неоднократно прикручивать тонкими сыромятными ремешками к моим стареньким валенкам. Не велика беда, если конек спадал, ведь всегда можно было доковылять и на одном до сарая, где Герасим колол дрова, и попросить его прикрутить конек снова. Герасим загонял топор в огромное полено, оглушительно сморкался, вытирал нос колючей, точно еж, рукавицей и, только проделав все эти операции, молча брался за починку.

И вот однажды, протарахтев коньками по ступенькам крыльца, я выкатилась за ворота и нос к носу столкнулась со своей верной подружкой Ольгой.

– Ольга! – завопила я, – Да откуда же это ты явилась?

Ольга обхватила меня руками, и мы заплясали в диком восторге, хохоча и выкидывая невероятные антраша ногами.

– Из Юлово! Из Юлово! – припевала она. – Папка мой тоже уволился, и теперь мы опять будем с тобой вместе!

Действительно, мы настолько были вместе, что у меня и подавно не стало времени о чем-либо задумываться или о чем-то сожалеть. Когда же возникала тревожная мысль об институте, то я тут же старалась от нее отмахнуться. К сожалению, я не забыла сказанных как-то мной мамой слов, что заботиться о разных семейных делах – это удел родителей. И я снова успокаивалась

Между тем, время шло, а я легкомысленно предавалась зимним развлечениям.

И как же горько пожалела я впоследствии о попусту растраченном в ту зиму времени, когда, после маминой смерти, папе пришлось отправить меня к тете Франк.

ШАНДРОВСКИЕ ЛЕСА

Большую часть Лукояновского уезда занимали девственные, незнакомые с пилой и топором, громадные лесные массивы высоченных, под самые небеса, золотистых сосен.

Как только Шандрово перешло в собственность Карпова, торговавшего лесом, началась жестокая их вырубка.

Я помню, как негодовала мама, когда прошел слух о его распоряжении свалить все окружавшие дом вековые деревья. Ей полюбились могучие лесные богатыри с их темно-зелеными вершинами, тихо покачивающи-

мися в знойном летнем воздухе. Не сходя с балкона, с наслаждением вдыхала мама исходящий от сосен смолистый запах, особенно сильный в жаркую погоду, и часто говорила: «Ну, что может сравниться с этим чудесным запахом хвойного леса». И как же она плакала, когда пришли лесорубы с пилами и топорами.

Сваленное дерево, ужаснувшись нелепости наступающей смерти, вздрагивало и медленно начинало падать, все еще не веря в свою обреченность. Потом, все убыстряя падение, оно глухо ударялось о землю, в последний раз, будто прощаясь с жизнью, взмахивало всеми своими все еще живыми ветками и замирало.

После горьких слез и споров с папой маме удалось отстоять несколько ближних сосен. Нарушение распорядка не прошло у Карпова незамеченным в первый же его приезд. И на вопрос: почему не все деревья свалены, папа долго и убедительно рассказывал, что он, занимаясь лесным делом, не имеет права валить все деревья, не оставив семенников. Мне показалось, что, только встретившись глазами с мамой, Карпов понял настоящую причину, спасшую деревья и, видимо, не желая портить отношений, смолчал.

Карпов, купец до мозга костей, был обыкновенным истребителем-стяжателем. Для него кроме доходов ничего не существовало. Не признавал он и семенников. Его интересовал готовый сосновый бор, да кондовые сосны. Лесов как раз было много. Не сеял, не растил, знай – вали да барыши подсчитывай. Земля скудеет, а купец, знай себе, богатеет. Свел лес под корень – не его забота, господь бог новый вырастит.

И оставались на опустошенных массивах кое-где сиротливо торчащие чахлые сосенки с оббитыми ветвями да изредка встречались корявые больные деревья ни на что, кроме как на дрова, непригодные. Только огромное количество сочащихся смолой, свежих пней указывало, что на этом месте еще недавно шумели зе-

леными могучими вершинами поднебесные сосны. На таких порубках возле пней, радуясь свету и обилию солнца, в изобилии росла и наливалась сладким терпким соком лесная земляника. Земля, лишённая прикрития и тени, постепенно иссыхала. Пни темнели, источенные короедом и жуком дровосеком с длинными усами, превращались в труху и рассыпались. Земляника начинала мельчать, пока окончательно не переводилась. И порубки надолго замирали. Проходили годы, пока мелкая поросль снова поднималась на такой пустоши.

Когда начинались разработки, крестьяне всех окрестных деревень и сел занимались вывозкой сваленной древесины, и вокруг лесопильного завода быстро вырастали высоченные штабеля бревен, а затем и остро пахнущих живым деревом, аккуратно сложенных досок и теса.

Два раза в неделю крестьянам оплачивали вывезенный лес, и чем больше было вывезено, тем больше они и зарабатывали. И немудрено, что мы с Ольгой часто диву давались, как малорослые, замухрястые лошаденки тянули огромные воза бревен. Пар столбом валил от закурчавившихся на морозе конских крупов, а фиолетовые глаза лошадей становились мутными от усталости и напряжения.

Зачастую у лошаденки не доставало сил выбраться на дорогу из глубокого ухаба, куда ныряла она вместе с возом. Тогда хозяин выдергивал из крепления здоровенный кол и принимался с остервенением колотить несчастное животное. Лошадь рвалась из хомута, падала, разбивая колени, запрокидывалась, а мужик, осыпая ее грубой бранью, продолжал выколачивать из нее давно иссякшие силы. Поняв тщетность новых попыток выбраться, лошадь останавливалась, тяжело поводя боками. И лишь изредка вздрагивая, покорно принимала

сыпавшиеся на нее беспощадные удары да все ниже опускала голову.

Вот тогда появлялись мы с Ольгой и поднимали невероятный крик: мы бранились, грозились пожаловаться папе и не отставали до тех пор, пока обалдевший от нашего вопежа мужик не сваливал часть бревен. И случалось, что благодаря нашему заступничеству заупрямившегося мужика на некоторое время совершенно отстраняли от работы. Только спустя некоторое время, вняв его мольбам и клятвам впредь не мучить лошадь, его принимали снова.

Земли у крестьян, как правило, было недостаточно. Хлеба из года в год не хватало, и многие, работая по зимам на Карпова, только этим и кормились. Поэтому отстранение от работы было для них настоящим несчастьем.

В дни, когда производился расчет с рабочими, возле конторы выстраивались длинные очереди. Мы с Ольгой, запасшись старыми газетами, подходили к кому-нибудь из возчиков примерно с таким разговором.

– Дядя, – начинали мы издали, – тебе газета нужна?

– А как же, – оживлялся мужик, – для курева, от как нужна. Аль дать мне хочешь? – справлялся он.

– Дам... только, если ты позволишь покататься на твоей лошади.

– А не заботесь? – с сомнением спрашивал мужик. – Лошадка у меня молодая. С норовом!

– Что ты! Не заботимся, – заверяли мы его.

– Ну, коли так, то ладно... Давай газету, – соглашался мужик и выводил свою упряжку на дорогу.

Чтобы концы бревен не тянулись по дороге, создавая тем лишнее трение, к передним дровням на длинном гуже привязывались маленькие подсанки. Вот благодаря этим подсанкам, изображавшим у нас барские

сани, и случалось моей подружке зарываться с головой в мягкие снежные сугробы.

Получалось это так: мне, как признанному кучеру, отводилось место на облучке – дровнях, а Ольге, барыне, надлежало ехать в санях – подсанках. Если подсанки тянулись за дровнями на коротких гужах, все обходилось благополучно. Когда же концы оказывались более длинными, вот тогда-то у моей барыни и начинались неприятности.

Молодая лошадка шустро бежала по раскатанной дороге, а подсанки рыскали из стороны в сторону, с силой ударяясь о высокие снежные борта сугробов. Тут уж моей барыне зевать не приходилось. Она не замечала ни прелести зимнего леса, ни медленного падающего крупными хлопьями снега. Две заботы полностью владели ее вниманием: первая – не вылететь из саней, вторая – не растерять своего барского достоинства. И все же, не удержавшись при ударе на особенно широком раскате, бедная барыня летела в придорожные кусты и с головой зарывалась в пушистый снег. Происходило это так стремительно, что она не успевала даже крикнуть, а я, не подозревая о потере, спокойно ехала дальше. Только привлеченная затянувшейся за спиной тишиной, я оглядывалась и, обнаружив пропажу, поспешно заворачивала лошадку.

Добродушием Ольга обладала поразительным. Выбравшись из пленившего ее сугроба и кое-как отряхнувшись, она поспешно усаживалась возле меня и мы, сидя рядом, до слез хохотали, вспоминая ее злослучение. К следующему разу все забывалось, и Ольга снова охотно становилась барыней.

Любили мы с ней ходить на лыжах в лес. Лыжи у нас были в добрую четверть шириной, устойчивые на снегу, и мы подолгу бродили по сугробам, рассматривая многочисленные следы, отпечатавшиеся на снегу. Иногда между нами возникал жаркий спор. Это случалось

лось, когда мы не сразу приходили к соглашению, какой, например, птице или зверьку принадлежал тот или иной след. По мелким следам с длинным хвостом, мы отыскивали дупла с зимующими в них белками. Ловко разбирались в строенных и невероятно запутанных заячьих следах. Сбивали палками высокие снежные папахи с пней и подолгу ахали над останками растерзанных птиц, но, наткнувшись на многочисленные волчьи следы, пугались и тут уж без оглядки дружно летели к дому.

В обширных Лукояновских лесах волков развелось многое множество. Сильные морозы, глубокие снега и голод выгоняли их из леса. В ночное время нам нередко случалось наблюдать за передвигающимися точками светящихся глаз, а также и слышать тоскливый волчий вой, нагоняющий страх на все живое.

Мама не переносила скорбных волчьих завываний и будила папу. Папа нехотя поднимался, брал ружье и, накинув на плечи свой теплый романовский полушубок, выходил на крыльцо. Раздавался выстрел, и на некоторое время огоньки меркли, и вой стихал.

Как-то раз, убравший на ночь хлев скотник, не заметил, как за ворота, глядевшие в сторону леса, вышел бычок. А когда он хватился пропажи и пошел по его следу, ведущему к стогам сена, сметанным еще по осени неподалеку от скотного двора, нашел лишь обглоданные кости, да многочисленные волчьи следы. Перепугавшись до смерти случившимся, он прибежал в контору, где и получил изрядный разнос за ротозейство. А волки пренебрежительно убрались восвояси.

Даже днем было небезопасно ездить в одиночку, а ночью, после нескольких случаев нападения волков, вообще никто не решался пускаться в дорогу.

Но был один человек не испытывавший страха перед голодными стаями лесных разбойников. При людской избе околачивался дурачок Ивашка, забавлявший

глупыми выдумками свободных по вечерам рабочих имения. За это они разрешали ему отсыпаться в тепле и даже подкармливали его. В харчах недостатка не было. Хлеб выпекался вволю, солонина и молоко в людской не переводились.

Расправившись с доброй половиной огромного каравая и запив его кринкой молока, Ивашка по ночам уходил в лес, и тогда вперемешку с волчьим воем в морозном ночном воздухе раздавалось его громкое «О-го-го!» И было непонятно, почему звери его не трогали. Ивашка до света бродил по лесу, оглашая его дикими криками, и даже нам в теплых постелях становилось не по себе от одной только мысли об Ивашкином одиночестве среди голодной стаи.

В людской дурака считали заговоренным.

Утром Ивашка, как ни в чем не бывало, возвращался в людскую, наедался горячих жирных щей, после чего залезал на пышущую жаром печь отсыпаться. Вечером снова рассказывал рабочим небылицы про белого волка с золотыми зубами и человеческим голосом, повстречавшегося ему в лесу, и про то, как волк просил Ивашку, несчастного дурака, никого из его стаи не убивать. При этом он приосанивался и горделиво поглядывал на хохотавших рабочих.

Только одна дородная стряпуха принимала его рассказы за действительность, в ужасе ахала и, торопливо вытирая руки о засаленный фартук, крестилась.

– Батюшки, страсти-то какие, – стонала она. – Не иначе оборотень это. И чем только ты, Ивашка, приколдовал его, в толк я не возьму, – испуганно допрашивала его глупая баба.

Часто случалось, что Ивашка на несколько дней вдруг исчезал неизвестно куда. Потом появлялся снова. Все к этому давно привыкли. Но как-то раз, после очередной затянувшейся отлучки, он так и не вернулся. Никто не интересовался, куда уходил этот никчемный

человек. И после исчезновения тоже никому и в голову не пришло его поискать, или хотя бы навести какие-либо справки. Ивашка как был, так и сгинул. Поговорили, поговорили, что видно не обошлось без волчьих зубов, на том и успокоились.

МИРГУБ

Первая Шандринская зима со всеми ее нехитрыми развлечениями пролетела для меня незаметно. Приближалась весна с новизной и сюрпризами новых мест. Вокруг дома снег стоял. А в лесу по овражкам и ложбинкам он все еще лежал – синий, рассыпчатый, припороженный желтыми сосновыми иглами и прозрачными лоскутами тонкой золотой коры, сорванной со стволов сосен злыми зимними ветрами. Голодная для волков пора миновала, и они ушли вглубь леса. После зимних стуж земля отходила медленно, и под почерневшей прошлогодней хвоей и палой листвой стояла прозрачная вода, пахнущая снегом и холодной свежестью.

За зиму у меня появилась новая подружка – черно-волосая, черноглазая татарочка Миргуб. На спине Миргуб прыгали и извивались, точно змейки, две длинные косички, на концах которых бренчали и позвякивали мелкие серебряные монетки. Из-под прямого, похожего на рубашку платья, виднелись полосатые штанишки, а на худеньких плечиках независимо от погоды красовался вытертый бархатный жилетик. На тонкой шее кокетки Миргуб неизменным украшением поблескивали стеклянные бусы, а с головы на спину спускался цветастый ситцевый платок, завязанный под подбородком прямыми концами.

Миргуб редко появлялась одна. Постоянным ее спутником был братишка Сирач – толстый, тяжелый и

неповоротливый карапуз. Он цепко держался за руку Миргуб и, переваливаясь с ноги на ногу, медленно, но настойчиво тянулся за ней. Миргуб – легкая, стремительная и живая, как ртуть, в своем стремлении поскорее присоединиться к нам нетерпеливо тянула брата, всячески уговаривая его поторопиться. Тогда Сирач и подавно останавливался и поднимал отчаянный рев.

Раздосадованная Миргуб поднимала орущего упряма на руки и, перегнувшись тщедушным тельцем, быстро - быстро переступая смуглыми ножками, тащила непосильную для нее ношу.

Мы жалели Миргуб и не любили отвратительного Сирача. Жалея Миргуб, мы зачастую отказывались от заранее задуманных прогулок и оставались возле дома.

Лишь изредка ей удавалось потихонечку улизнуть от своих обязанностей няньки, и она, веселая и легкая, как птичка, прибежала к нам. Тогда все вместе, наслаждаясь полной свободой, уносились мы по еще голому, но бесконечно манящему нас своей весенней новизной лесу. Повстречав среди старой жухлой травы, коричнево-зеленые кусты прошлогодней брусники, мы приходили в невероятный восторг. Пусть это была зелень прошлогодняя, но это была первая после зимы зелень, подаренная нам лесом, и мы жадно набирали полные руки брусничника, обмывая осеннюю прель в студеной воде, и обновленные таким манером букеты приносили домой и расставляли по окнам. Бабушка часто ворчала на нас. Она не разделяла наших весенних восторгов.

– Оять полный дом мусора натащили. Выбросите все это!

– Оставь их. Пусть радуются, – заступалась за наши букеты мама.

Дружить с Миргуб было легко и весело. К тому же и интересно. Она учила нас татарскому языку. Память у нас была цепкая, и мы, быстро усвоив счет, бойко таторили, играя в мячик: бер, ике, ёч, дюрт, биш. Зави-

дев же стремительно мчащуюся домой Миргуб, мы кричали ей:

– Миргуб, кая барассем? (Куда идешь?)

– Юге барам, – весело отвечала Миргуб (Домой иду)

– Нэк? (Зачем?)

– Чай чагре. Я только «почайпью» и приду, – добавляла она по-русски, видно, не очень-то надеясь на наши познания, и, прозвонив своими монетами, скрывалась за углом сада.

Все наши русские считалочки, вроде:

В этой маленькой корзинке

Есть помада и духи,

Ленты, кружева, ботинки,

Что угодно для души?

мы без сожаления поменяли на считалочку, которой нас научила Миргуб. Ведь так интересно было выпевать непонятные нам слова, возможно, не более понятны были они и для Миргуб.

Эк телек, кюк телек.

Кюкте, кюкте нелербар,

Кюкте, кюкте кезельбер.

Кая барыня утер?

Вона кая шанда.

Сиргач же больше всех наших игр любил сидячие игры. Такой была игра в камушки. Он долго и старательно усаживался возле нас. Бессмысленно тараща глаза, сопел и вскоре засыпал, не выпуская из руки платя Миргуб. А потому, как только мы делали попытку от него избавиться, он тут же просыпался и поднимал отчаянный рев.

Появлялся он в нашем обществе в полной беззащитной невинности. Коротенькая рубашонка еле прикрывала его голое пузо, освобождая мать от лишней стирки, а мы к этому так привыкли, что совершенно не замечали его наготы. Однажды Сирач притащился к

нам капризный более обыкновенного. Он хмуро поглядывал на нас, а крупные слезы бежали по его красному, чумазому лицу. Он даже не давался взять его на руки и продолжал плакать, невзирая на все уговоры Миргуб.

– Что с ним? Может быть, он болен? – спросили мы у нее.

– Нет... – грустно отвечала Миргуб, – ему сделали обрезание. Это очень больно.

И она подняла на этот раз более длинную, чем всегда, рубашонку брата. Мы остолбенели, Все было вздутым, воспаленным, с синеватым отливом.

– Кто это сделал? Зачем сделали? – посыпались наши возмущенные вопросы.

– Такой у нас закон, – отвечала Миргуб, – а делает это мулла.

– Какой мулла?

– А это наш мусульманский поп, – поясняла она.

Мы подхватили Сирача за руки и поволокли его к маме лечиться. Мама внимательно осмотрела ревущего пациента, жертву закона, и с возмущением сказала:

– Боже мой! Какая дикость! У него может быть заражение крови. К сожалению, дети, помочь я ему ничем не могу.

Лица наши вытянулись.

– Не расстраивайтесь. Будем надеяться, что организм сам справится с этой бедой. Ну, а для его успокоения принесите из буфета пару конфет.

Мама как всегда оказалась права. Сирач скоро поправился и снова превратился в нашу обузу.

– Вот, если бы был такой закон, чтобы он не мог надоедать нам, – со вздохом мечтательно сказала Ольга.

ШАЛЯПИН

Как только установилась по-летнему жаркая погода, жизнь нашей семьи снова перебазировалась на балкон.

Ступени балкона спускались в сад. Невысокие яблоньки и груши еще не плодоносили. Зато клубника на трех длинных грядках цвела так сильно, что казалось, будто зима снова отвоевала себе местечко рядом с нами и старательно побелила его.

На балконе стоял облезлый стол, несколько под стать ему стульев и старенькая выгоревшая кушетка. На эту кушетку частенько ложилась мама, когда ей нездоровилось. И на ней же, точно по расписанию, раз в неделю отлеживалась и я от мучивших меня жестоких мигреней.

Еще в Юлово, скатившись как-то с чердака, куда мы лазили объедать корки с запретного собачьего хлеба и, пересчитав головой все ступеньки чердачной лестницы, я, вероятно, получила сотрясение мозга. Страшась наказания, мы умолчали про мое падение. Синяки и шишки постепенно сами по себе сошли, а дикие боли, разрывавшие на части голову, остались на всю жизнь.

Как только я укладывалась на кушетку с очередным приступом, возле меня пристраивался кот по кличке Шаляпин, прозванный так за его необыкновенно громкое пение. Когда кот бывал в превосходном настроении, то его громкое мурлыканье со всхлипами и пусканием довольных слюней было слышно в соседней комнате.

Это был коричневый темно-полосатый кот с длинным пушистым хвостом и такими же пушистыми гусарскими усами. Но прежде чем приступить к рассказу, следует упомянуть, что я нигде не встречала такого несметного количества комаров и ужей, как в Шандрово.

Близость леса и мало обжитые места, видимо, способствовали этому.

Недаром же тощая, как жердь, с острым пучочком волос на голове, жена старшего конторщика, строившая из себя светскую даму, манерно закатив глаза, вздыхала.

– Ах... Здесь страсть как много комарей, – и, закатив глаза еще раз, добавляла. – И нет хороших кучерей.

Над чем мы, даже будучи детьми, немало в свое время потешались.

Зверски искусанные комариными полчищами, мы с остервенением чесались, раздирая в кровь руки и особенно ноги. По вечерам, когда атаки «комарей» усиливались и становились совершенно нестерпимыми, мы все – и взрослые, и дети – вынуждены были спасаться дымом. Но разве будешь все время сидеть возле дымного костра? Надо было сделать так, чтобы дым повсюду следовал за нами. И вот папа научил нас делать из консервных банок нечто похожее на церковное кадило. Устройство было несложным, и мы с большим успехом пользовались им.

Дно банки в нескольких местах пробивалось гвоздем. Потом в два отверстия по краям банки продевалась проволока, к которой привязывался шпагат. В банку клали кусок бумаги, закрывали ее слоем сухих сосновых шишек и поджигали. Когда шишки разгорались, банку доверху наполняли сырыми. Из банки начинал валить густой, смолистый, приятно пахнувший дым. Помахивая вокруг себя самодельным кадилом, мы и отбивались от наседавших комариных полчищ.

Все бы хорошо, да только взрослые, а особенно мама, находились в постоянном волнении, как бы мы не оставили своих кадил где-нибудь без присмотра и тем не учинили пожара.

Избавляться же от ужей самоотверженно помогал нам Шаляпин. Рано поутру плотно подзакусив, он важно спускался в сад и сразу же натыкался на ужа. Не было случая, чтобы кот прошел мимо. Можно было часами наблюдать за их состязанием в ловкости, изобретательности и выносливости. Но как бы не извивался и не выкручивался уж, победителем всегда оставался кот. Однако сколько бы он их не душил, ужи не убывали. Их появлялось все больше и больше.

Излюбленным местом пребывания ужей была изгородь из штакетника, окружавшая сад. Обвившись вокруг штакетника и положив увенчанные головки на самую верхушку, они мирно дремали, греясь на припеке.

Кот, не повстречав ужа на дорожке, напрямик отправлялся к изгороди, поднимался на задние лапы, звонко шлепал по ужу и с большим интересом наблюдал за произведенным на ужа впечатлением. Так он проходил вдоль всей изгороди, нарушая их сонное состояние и покой. Некоторые из ужей, разбуженные котом самым бесцеремонным образом, стремительно поднимались вверх, другие от неожиданности срывались, падали и становились его добычей. Подгоняя сбитого ужа лапами, кот выгонял его из травы на дорожку. А дальше все происходило точно по пословице: «Кому игрушки, а кому и слезки». Расправившись с одним, кот снова отправлялся к штакетнику и пригонял следующего. Первое время мы с большим интересом наблюдали за подобными поединками. Потом зрелище это нам наскучило, и мы перестали обращать на него внимание.

Почувствовав наше безразличное отношение к его проделкам, кот обиделся и решил восстановить былой интерес к своей особе. Он поймал ужа, захватил его зубами поперек туловища и, несмотря на отчаянное его сопротивление, принес на балкон и для маминого удовольствия опустил ужа у самых ее ног.

– Ну, теперь-то вам волей-неволей придется понаблюдать за нашей борьбой, – подумал кот и, мяукнув, припал к полу, приготовившись к нападению.

А уж, не дожидаясь такового, воспользовался минутным освобождением из острых зубов врага и, не мешкая, поторопился улизнуть куда бы то ни было, лишь бы с глаз долой. А так как раздумывать было некогда, то уж и воспользовался длинными мамиными юбками, стремительно юркнув под них.

Что тут поднялось! Бедная мама с громким криком вскочила со стула и в ужасе принялась трясти свои юбки. Перепуганный уж, сообразив, что он попал не туда, куда бы ему следовало, стремительно покинул ненадежное укрытие и проскользнул под кушетку, откуда благополучно свалился в сад.

А мама, не заметив его бегства, с оглушительным визгом вскочила на стул, продолжая ожесточенно трясти злополучные воланы.

Мы повскакали со своих мест, обступили маму и в три голоса старались перекричать ее визг. Пока мама поняла, что опасность миновала – ужа на балконе давно нет – немного пришла в себя и, все еще с опаской, стала спускаться со стула, виновник переполоха, сам насмерть перепуганный визгом и поднявшейся суматохой, задрав хвост трубой, пулей умчался в сад и притаился в кустах. И только два огромных испуганных глаза, сверкавших в траве, выдавали его присутствие и интерес, с которым он наблюдал за последствиями своего легкомысленного поступка.

Убедившись, что ему ничего не грозит, кот покинул свое укрытие и, чтобы загладить свою вину перед мамой, отправился на охоту, решив преподношением испросить прощение.

Не успела мама отдышаться от пережитых волнений, как на балконе снова появился кот. В зубах у него болтался безжизненный полевой мышонок. С нежным

«мур-р-р» Шаляпин прыгнул к маме на колени и прежде, чем она успела сбросить его на пол, сделал ей презент, оставив у нее в коленях свою добычу.

С этого дня кот стал презентовать маме все, что только попадалось ему живого в саду. Иногда он приносил полуживого крота в мягкой бархатной шубке, бесхвостую взволнованно дышащую ящерицу, задумчивую птичку, за что мы немилосердно драли его за уши. А один раз принес живую с выпученными глазами лягушку. Преподношения повторялись так часто, что мама при виде кота, в конце концов, стала терять покой, ожидая, что он вот-вот приготовит ей снова какую-нибудь пакость.

И кот был изгнан на кухню без права появляться на балконе.

Изгнание пошло ему на пользу. Кот страшно разжирел и отяжелел. Теперь уже он не возился с ужами и не ходил на охоту, а больше лежал враспяжку на полу, лениво щурясь на окружающее.

– Ишь, как тебя разнесло, – натываясь на кота, говорила бабушка, – лентяй толстый. Лопнешь скоро. Бессовестный!

Пришло время, и кот, действительно, лопнул. Как-то утром с жалобным мяуканьем закружил возле Ольги, которая в это время снова жила у нас. Он заглядывал ей в глаза, всячески проявляя свое беспокойство: то бежал к двери маленького чуланчика, то снова возвращался, продолжая мяукать.

– Мышей, что ли, ты учуял? – недоумевала Ольга и открыла дверь чулана.

Кот торопливо просунулся в дверь и улегся в углу на половую тряпку, удовлетворенно поглядывая затуманившимися глазами, потом несколько раз жалобно мяукнул и затих.

К вечеру у Шаляпина родилась тройка махоньких котят. То-то было радости!

– Ну и ну, – смеялся папа, – ловко провел вас Шаляпин. Как же это вы так оскандалились? Вот тебе и Шаляпин.

Вскоре мы совершенно свыклись с ужами и перестали их бояться. Бориска брал ужа и, к маминому ужасу, пускал его себе под рубашку. Рубашка вокруг пояса, точно живая, ходила ходуном, а брат не проявлял при этом никакого неудобства. Мы с Ниной также безбоязненно и без отвращения стали брать их в руки. И только один раз, наступив случайно на ужа, я здорово перепугалась.

Было жарко. Я бежала босиком по горячему песку и, не глядя под ноги, вскочила на ступеньку крыльца. Вдруг что-то холодное обвилось у меня вокруг ноги. Это было так неожиданно, что я дико закричала и всполошила весь дом.

А Шаляпиха, как мы стали называть кошку после ее последнего сюрприза, в ту же осень погибла совсем поглупому. В доме травили мышей. Когда начинались холода, их особенно много появлялось в доме. В поисках воды чуть живые зверьки безбоязненно выползали из норок и ошалело ползали по всем комнатам.

Предполагали, что кошка, наевшись мышей, отравилась. Когда утром вошли на кухню, Шаляпиха была уже мертва.

ОЛЬГА

Выполняя данное Ольге обещание, мама по приезде в Шандрово сообщила ей наш адрес, после чего стали приходить частые письма с просьбой взять ее снова к нам.

– Ну, что же, – согласилась мама, – надо выслать ей на дорогу денег. Пусть приедет. Чем брать какую-

нибудь деревенскую бабу и мучиться с ней, лучше уж вызвать Ольгу.

– Не соскучилась бы здесь в глуши, – засомневался папа. – Молодая, здоровая и, как это там, в песне поется, «белолощца, чернобрива», а подходящего для нее общества здесь, пожалуй, и не найдется.

– Вот так и напишем, а там пусть сама решает, ехать или не ехать, – ответила на папину шутку мама.

Письмо и деньги на дорогу отправили.

Действительно, Ольга была уже не та простенькая девчонка с вздернутым носом, в кофточке с широкими вышитыми рукавами. Она вытянулась, черные свои косы укладывала на голове высоким венком. Одевалась аккуратно и чистенько, можно сказать, франтовато. Подражая маме, стала носить корсет и пышную с оборками нижнюю юбку, выписанные по ее просьбе из Москвы от Мюр и Мерелиза, чьими услугами изредка пользовалась мама, когда была еще совсем здорова.

Приезжавшие по делам лесопромышленники только крякали от удовольствия, когда услужливая подтянутая девушка, кокетливо поблескивая глазами, ловко снимала с них летние пальто или тяжелые меховые шубы. Крякали и совали ей в руку серебряные рубли.

Получив подарок, Ольга весело бежала к бабушке.

– Посмотрите, Вера Ивановна, – по секрету громким шепотом говорила она, – тот, что в лисьей шубе, мне опять рубль дал.

– Небось, глазами стреляла, бесстыдница, – осуждающе выговаривала бабушка. – Вот скажу Александре Петровне, так зададут тебе как следует.

– А вот, ей же богу, не стреляла, – отнекивалась Ольга и с веселым смехом убегала на кухню.

Опасения папы не оправдались. Ольга не заставила себя долго ждать, и вскоре у нас в доме снова топали каблочки хромовых ботинок, а из открытого кухонного окна вновь лилась ее любимая песня «уродилась я, как

былинка в поле». Судьба этой песенной былинки с судьбой певицы были несколько схожи: обе были сиротами. Только первая вымалывала счастливой доли у бога, надеясь найти ее в замужестве, а вот вторая – без всякой помощи, по собственному усмотрению, наперекор всему вышла замуж и сломала всю свою жизнь.

Вскоре после приезда стала Ольга частенько отпрашиваться по вечерам то погулять, то навестить появившуюся у нее какую-то знакомую. Ей не препятствовали. Приодевшись и накинув на голову легкий шарф, она торопливо убегала. Возвращалась поздно. А утром с удвоенным старанием принималась за работу. Весело летая по комнатам, за все бралась, и все спорилось в ее проворных руках.

Бабушка посматривала и только головой качала.

Прошло недели две. Ольга все так же уходила по вечерам, но теперь возвращалась расстроенная и, закрывшись в своей комнатке, подолгу плакала. Бабушка, обеспокоенная ее явно неблагополучными делами, несколько раз пыталась выяснить, что с ней происходит. Но Ольга вспыхивала, заливаясь краской, и молча уходила.

Чем дальше шло время, тем ее дела становились, по-видимому, все хуже. Плакала Ольга теперь, не скрываясь. Печальная и осунувшаяся бродила по комнатам, но на все вопросы бабушки продолжала упорно молчать. Видя такое дело, ей запретили уходить из дома. Ольга как бы смирилась и перестала отпрашиваться. Но когда все в доме засыпали, тихонько вылезала в кухонное окно и уходила.

Случилось, что старичок сторож заметил, как кто-то вылезал их окна. Расхрабрился и, изловчившись, поймал предполагаемого вора. Когда же разглядел, на кого он так старательно прицеливался, то так разошелся, что пообещал утром же рассказать папе, какие такие воры лезят по ночам по окнам.

Угроза возымела свое действие, и Ольга предпочла лучше самой во всем повиниться перед бабушкой, надеясь на ее заступничество. Утром, как только бабушка появилась, Ольга, распухшая от ночных слез, бросилась к ней, вцепилась в бабушкину руку и потащила в свою комнату. Только чуть-чуть смятая кровать показывала, что ее хозяйка не ложилась спать.

Усадив бабушку на единственный в комнате стул, поминутно сморкаясь и вытирая глаза вышитым рушником, рассказала обо всех своих горестях.

– Я все! все расскажу Вам, Вера Ивановна, нет сил моих больше молчать. Не говорите ничего Александре Петровне.

– Уж вот это совсем напрасно, – с неодобрением возразила бабушка. – Александра Петровна лучше меня сможет посоветовать, а если потребуется, то и помочь.

– Что Вы, Вера Ивановна. Стыдно мне, да только ничего я с собой поделать не могу, – твердила вконец расстроенная Ольга.

– Ну, дело твое. Не хочешь – не скажу. Значит, вместе в молчанку играть будем. Говори, что с тобой?

И Ольга рассказала, что у мужа ее новой приятельницы есть брат, что работает он кузнецом при лесопильном заводе и что он к ней сватается.

– Так чего же ты плачешь? – удивилась бабушка. – Любишь его – так и выходи. Не любишь – никто тебя неволить не будет.

– В том-то и беда моя, что и сама никак не пойму. Человек-то он негодный. Я это знаю, потому и стыжусь о нем Александре Петровне говорить. А люблю иль не люблю и сама не разберусь. Нет его – душа моя мрет, а как увижу – так из души прет.

Бабушка только руками развела

– Ну, моя милая, если из души прет, то подождать с замужеством придется. Да и Леонида Петровича было бы неплохо спросить, что за кузнец тебе голову вскру-

жил. Ведь надо же знать, за кого выходить. Что за человек, да и работник какой. Выйти замуж штука не хитрая, а вот жизнь с плохим мужем – ох, долга покажется.

– Что Вы, Вера Ивановна! Да как можно о таких делах с Леонидом Петровичем разговаривать, – всполошилась Ольга. – И не спрашивайте его ни о чем. Пусть уж, что будет – то и будет, – и она снова заплакала.

На этот раз бабушка не сдержала своего слова, и все рассказала маме. А папу попросили навести о кузнеце нужные справки. Папа недовольно поморщился. Но все же как-то в конце обеда он вдруг хлопнул себя по лбу, что всегда делал, когда что-либо неожиданно вспоминал.

– Совсем было забыл доложить о выполнении возложенного на меня поручения, – официально начал папа. Навязанное любопытство, как видно, не очень-то ему нравилось. – Узнал я кое-что о вашем кузнеце, – и, отодвинув от себя тарелку, папа сложил свою салфетку и продел ее в кольцо. – Работает он хорошо, – покончив с салфеткой, продолжил папа. – Можно смело сказать – мастер своего кузнечного дела. Только вот выпить не дурак, будь он неладен. Что заработает, то и пропивает. Да и характер у него, похоже, неважный. Это уж личное наблюдение.

Папа отщипнул кусочек мякиша и по своей давней привычке стал катать из него хлебный шарик. Все молчали.

– Ну, как? Устраивает вас такая характеристика?

Бабушка только вздохнула:

– Пропадет девка.

– С кем он живет? – поинтересовалась мама.

– Не знаю. И вообще об этой глупой истории я не хочу больше ничего знать, – отмахнулся папа и отправился в свою комнату немного вздремнуть, что он де-

лал каждый день после обеда, – утром папа вставал ни свет ни заря.

За дело взялась бабушка и скоро узнала, что кузнец живет один в грязной, запущенной комнате, а всего имущества у него только и есть, что неопрятная кровать, убогий стол да два колченогих стула. От бабушкиных сообщений мама окончательно пришла в уныние. Она позвала Ольгу и долго уговаривала ее отказаться от знакомства с кузнецом.

– Не торопись, – говорила мама, – найдется хороший да порядочный человек, так и с приданным тебе поможем. А если понадобится, то и жизнь вам, как следует, устроим. Подумай...

Но на все уговоры ответ был один и тот же.

– Ведь, если я за него не пойду, Александра Петровна, он совсем спиться может. А если поженимся, может, и пить перестанет.

Такое безрассудное упорство несказанно удивляло всех.

– Да, какое тебе до него дело! Зачем он тебе понадобился? Сам не живет и тебе жить не дает, – возмутилась мама. – Поверь мне, не перестанет он пить. А вот, когда спустит с тебя все, что имеешь, тогда еще и бить тебя начнет, – потеряв всякое терпение, в раздражении сказала мама. – Вспомни ты, наконец, Дуняшу. А ведь Василий не чета твоему кузнецу. Как ты тогда возмущалась. Опомнись! Не губи ты себя!

И мама, которой от ежедневных неприятностей нездоровилось в этот день более обычного, в изнеможении опустилась на подушки.

Несколько раз пытались образумить Ольгу, но все было напрасно. Она только отмалчивалась да теребила свой передник.

Но, однажды, после очередного ее исчезновения и новых уговоров, она вдруг резко и зло ответила:

– Вы, Александра Петровна, не обо мне беспокоитесь, больше о себе хлопчете. Что я не понимаю, что ли? Где вам такую прислугу найти, как я? Вот и вся забота ваша.

– Вон, ты как заговорила, – возмутилась мама, – Хорошо, можешь выходить за своего кузнеца. Никто больше останавливать тебя не будет. А сейчас убирайся и не смей попадаться мне на глаза.

Обидев маму глубоко и незаслуженно, Ольга отрезала себе все пути к возвращению.

Теперь у них с кузнецом все было слажено, и они обвенчались. Каким же было ударом для новобрачной, когда она узнала, что во время венчания на ее муже был чужой костюм, взятый для такого случая у брата. От стыда и из гордости, чтобы скрыть от нас, какого орла она заимела, Ольга на скопленные за время пребывания у нас деньги купила новый костюм, в котором он и щеголял первые дни своей женитьбы.

Мы сгорали от любопытства, так нам хотелось посмотреть, как устроились молодые. Но мама не разрешала нам вообще ходить по чужим квартирам, заходить же в комнату кузнеца и подавно запретила категорически.

Зная излюбленные места наших игр, Ольга как-то подкараулила наше появление и тут же с прежней легкостью подбежала к нам.

– Милые мои! Желанные! Как соскучилась-то я по вас, – не замечая катившихся по щекам слез, торопливо говорила Ольга. – Как живете-то без меня? Бабушка-то, как одна с хозяйством управляется? А Александра Петровна все болеет? – сыпались вопросы. – Глупая я, глупая. Что я только наделала! Как мамочку-то вашу обидела, а себе тем камень на сердце положила. Может, забежите ко мне как-нибудь хоть на минутку. Посмотрите, как я теперь живу. Зайдете? – с надеждой в голосе, смеясь и плача, торопливо спрашивала она. И креп-

ко нас расцеловав, и, намочив наши лица слезами, снова убежала.

Мы выросли с Ольгой, любили ее и не устояли перед настойчивыми уговорами. Не откладывая дела в долгий ящик, тихонько от мамы отправились мы как-то к ней в гости. Чтобы никто не заметил нашего ослушания, а Ольга знала о мамином запрете, она буквально втащила нас в комнату, закрыла дверь и, усадив на расшатанные стулья, захлопотала.

– Не знаю, чем уж вас и угостить, – поминутно целуя нас, суежилась она. – Вот разве вареньем клубничным. Еще Вера Ивановна учила меня его варить. Уж такое удачное получилось, – доставая из тумбочки банку и чайные блюдечки, тараторила Ольга.

От угощения мы отказались и, помня строгий наказ мамы, все порывались уйти, да и любопытство наше было уже удовлетворено. Одного взгляда было достаточно, чтобы осмотреть скромное ее жилье. От заново побеленных стен и чисто протертого окна в комнате было светло. На окнах висели знакомые подкрахмаленные занавески, на застеленной пикейным одеялом кровати пышной горкой возвышались Ольгины взбитые подушки. Возле печки на гвоздике топорщился старый знакомый украинский рушник. В комнате было чисто, опрятно и даже уютно.

Когда мы уходили, то в дверях встретились с коренастым мужчиной среднего роста, с темным худым лицом и глубоко запавшими, небольшими черными глазами. Сросшиеся на переносице густые смоляные брови особенно подчеркивали угрюмое выражение его глаз.

Заторопившись от смущения, мы застряли в дверях. Человек посторонился, внимательно посмотрел, но не произнес ни слова.

– Так вот он какой – муж нашей Ольги, – с грустью подумала я.

После того как мы рассказали маме о своем визите – трудно нам было что-либо скрывать от нее – мы получили такой нагоняй, что у нас сразу пропала охота к дальнейшим посещениям.

Не помню, как узнала бабушка, что кузнец продал купленный ему женой костюм, а вырученные деньги пошли на совместную с товарищами выпивку, во время которой он похвастался, что де у жены денег хватит и на костюм, и на гулянки. И что вся-то она в его руках.

Так Ольгины надежды на его исправление разлетелись в пух и прах. Пьянствуя, кузнец по-прежнему спускал весь свой заработок. Когда же денег не хватало, то требовал их у жены. Сбережения, оставшиеся после обзаведения хозяйством, таяли с невероятной быстротой. Теперь уж, действительно, заботы и огорчения обступили Ольгу со всех сторон. Чтобы как-нибудь сохранить то небольшое, что еще у нее осталось, и иметь возможность хоть сколько-нибудь заработать, она купила швейную машину.

Тогда кузнец стал таскать и продавать все, что только попадалось ему под руку. Комната начала быстро пустеть. Потом пошли скандалы, а там и побои. Ко всем прочим бедам у Ольги родился ребенок. Мало радости принес он ей. Какая уж тут радость.

Больше всех сокрушалась по Ольге бабушка и неоднократно пыталась заговорить о ее бедственном положении. Папа отмалчивался, а мама останавливала ее на первом же слове. Она не могла простить нанесенного ей оскорбления.

После рождения ребенка, чтобы как-нибудь помочь Ольге, бабушка собрала все детские вещички, оставшиеся после умершего Жени, связала в узелок и переслала ей.

Только уже после маминой смерти, как-то вечером я застала их вдвоем у нас в кухне. Трудно было узнать в этой худой, изможденной и бедно одетой женщине

прежнюю кокетливую и лукавую девушку. Двухлетняя девочка с большим куском пирога в руках стояла возле матери, поглядывая то на пирог, то на бабушку черными, суровыми, как у отца, глазами. Второй ребенок спал у Ольги на коленях.

Когда я вошла, разговор между ними подходил к концу. Из последних, услышанных мною невеселых бабушкиных слов, нетрудно было понять, о чем Ольга просила бабушку.

– Был бы у тебя ребенок один, это еще куда ни шло. А с двумя-то, куда тебя возьмешь?



СМЕРТЬ МАМЫ

К весне мама почувствовала себя хуже. Боли в области желудка усилились. Аппетит почти пропал. Мучили рвоты.

Предполагая катар желудка, врач предложил сделать промывание. Но от промывания маме лучше не стало. Теперь она все больше лежала, ничем не интересовалась, и только все тот же вязальный крючок занимал ее прозрачные руки.

– Я хочу, чтобы у каждого из вас осталась по новому покрывалу в память обо мне. Надо торопиться. Жить мне осталось недолго, – отвечала мама, когда папа просил ее не утомляться.

Когда пальцы отказывались держать крючок, мама усаживала нас с братишкой возле себя и читала нам вслух небольшие рассказы из любимых ей детских книжек. Иногда просто разговаривала с нами, и тогда глаза ее становились грустными и добрыми.

В конце мая вернулась из института Нина.

Я смотрела на сестру во все глаза и в первый момент даже перед ней несколько стушеввалась. Такой необыкновенно повзрослевшей и чуточку даже далекой показалась она мне.

Ее все тормозили, обнимали и наперебой расспрашивали об институтских успехах. Чтобы не показаться нескромной, сестра не спеша достала из чемодана табель и протянула его маме. Все отметки в табеле были высшими – двенадцать. И снова чувство уважения, с некоторой долей зависти, зашевелились во мне. Я с ужасом вспомнила, что осенью мне предстоит держать вступительный экзамен в институт, а я всю зиму только и знала, что гоняла на коньках и за это время успела забыть все, ранее пройденное с мамой.

Оставшись вдвоем с Ниной в своей комнате, мы всю ночь проговорили. Я без утайки рассказала про все свои переживания за время ее отсутствия: про отъезд из Юлово, про пожар и про нашу трудную жизнь на станции Инза.

Все последующие дни Нина рассказывала мне об институте, учителях и о подругах. Я слушала ее с замиранием сердца, и мое поступление в институт стало казаться мне далекой неосуществимой мечтой.

Так прошло несколько дней, и мама решила, что мы достаточно наговорились, что Нина отдохнула и засадила нас за вышивание. Теперь она вязала широкие кремовые прошвы, а мы вышивали яркими шелками длинные полосы. Когда мама соединила прошву с вышивкой – получилось нарядное покрывало, и оно всем так понравилось, что мама загорелась сделать точно такое же и для меня. Но выполнить задуманное у нее не хватило сил. Мама ужасающе худела и из полной цветущей женщины превратилась в тоненькую, скорбного вида, девушку. Для второго покрывало она все же связала несколько полос, которые вот уже полсотни лет

лежат у меня. Когда я вижу их, я вспоминаю маму за ее бесконечным вязанием.

Домашнее лечение и предписываемые врачом лекарства не помогали, и папа, вконец измученный ее состоянием, стал уговаривать маму поехать в Москву в клинику Постникова.

К этому времени мама почти совсем перестала есть и все, что бабушка ей подавала, отводила в сторону их худалой прозрачной рукой.

Только однажды захотелось маме кусочек кондитерского торта. Самый лучший торт, какой только изготовлялся кондитерской Филиппова, был тут же выписан из Москвы по телеграфу. Заказ кондитерская выполнила с удивительной быстротой. Когда торт прибыл, и с него сняли упаковку – он предстал перед нашими изумленными взорами во всей своей пышно-масляной красоте. Даже путешествие в ящике ничуть его не испортило. Мы росли в деревне, и такого кондитерского чуда нам еще никогда не приходилось видеть.

У нас буквально потекли слюнки, а наши восхищенные взгляды и недвусмысленные вздохи бабушка безжалостно пресекала словами: «Торт только для мамы».

Время было летнее, жаркое, и бабушка, сохраняя свежесть торта, совсем потеряла покой. По несколько раз в день носила она его то на погреб, то с погреба, пока мама совершенно не отказалась от торта. И не успели мы, как следует, насладиться московским гостем, как он прекратил свое божественное существование. Никогда в жизни я больше не ела такого удивительного кондитерского изделия, каким был этот мой первый, а мамин последний торт.

Папа продолжал настаивать на немедленной поездке в Москву. Но, несмотря на все его просьбы и уговоры, мама всячески отъезд откладывала.

– Подождем, Леня, – дай мне побыть еще немного с детьми, пока они все в сборе. Вот отправим Нину, тогда и поедем, – чаще всего говорила она.

Предчувствуя свою скорую кончину и страшась этой разлуки, мама часто собирала нас возле себя и пробовала иногда даже шутить.

Горькие это были шутки.

– Тебе, Нина, останется в наследство после меня швейная машина (родители купили ее в рассрочку еще в Юлово у агента компании Зингер). – Шить ты любишь. Вон ты как своих кукол разодела.

Сестра при этом жалобно улыбнулась.

– Гитара перейдет тебе, Оля. Я не раз слыхала, как ты уже начала кое-что играть из моего скромного репертуара. Что ты на это скажешь? – спросила мама.

Я не нашлась, что ответить и смолчала. Мы не любили, когда мама так разговаривала с нами. От ее шуток становилось и больно, и страшно.

И только братишка с обиженным видом спросил:

– А мне чего?

– Тебе, моя радость, я оставлю кокетку от старых панталон, – пошутила мама.

– Не хочу я старую кокетку, – вдруг расплакался братишка.

– Ой! Глупенький ты мой, – рассмеялась мама. – Совсем-то ты еще глупышка.

Минуло лето. Уехала Нина. Горько плакала я, расставаясь с ней. Вскоре уехали и родители. О моем отъезде и экзамене никто даже не вспомнил.

Мама в последний день своего пребывания дома, как-то совсем ушла в себя, отрешившись от всего, что касалось ее отъезда. Не замечая нас, молча перебирала и перекладывала свои вещи в комод, то и дело прикладываясь на кровать.

Когда подали лошадей, мама быстро и строго простилась с нами и, поддерживаемая под руки папой и бабушкой, вышла из дома и, лишь садясь в экипаж, окинула долгим взглядом все вокруг, дом и нас, вышедших вслед за ней на крыльцо.

Заплакала бабушка, когда лошади тронули, и экипаж покотился со двора. И сразу в доме наступила унылая тишина. Только потрескивали бревенчатые стены да поскрипывали половые доски под бабушкиными скорбными шагами.

Невольно притихли и мы с Борей. Казалось невозможным нарушить поселившейся в опустевшем доме грустной тишины, и даже природа, поддавшись этой унылости, заплакала продолжительными холодными дождями.

Меня совсем перестало тянуть к учебникам, и они, пыльные и заброшенные, лежали стопкой на письменном столике в маминой комнате. Книги, заполнявшие полки кабинета, заняли их место, и я начала читать запоем все, что только попадалось под руку. Когда же становилось тяжело невмоготу, садилась за мамин столик и пыталась излить свое тоскливое настроение в стихах. Но как бы я ни старалась – стихов не получалось.

Скучал и Бориска. Он ходил за мной следом, перетаскивая за собой игрушки. Иногда, встречая его умоляющие глаза, мне становилось его так жаль, что я с раскаянием бросала книгу. Братишка оживлялся. Мы призывали Ольгу, разыскивали кукол, и начиналась хлопотливая игра в излюбленных барынь. Барыни ходили друг к другу в гости, вели нескончаемые разговоры о нарядах, о болезнях, о неслухах-мальчишках. А Боря запрягал в маленькие игрушечные розвальни деревянную бесхвостую лошадку и вез наших многочисленных детей кататься.

Как-то вечером, когда брата укладывали спать, он потребовал перевести его ко мне.

– Я боюсь! Я боюсь! – плакал он и ни за что не соглашался лечь в бабушкиной комнате.

На этот раз бабушка почему-то не упорствовала, и нас поселили вместе. Теперь Бориска и ночи проводил возле меня, бесконечно радуясь этому.

Однажды проснулась я среди ночи. В горле было сухо. Язык, как посторонний деревянный предмет, с трудом ворочался за зубами. Поднявшись с кровати, я пошла за водой, но графин был пуст. Чтобы не разбудить брата, выскользнула я в коридор и направилась к бабушке. Осторожно приоткрыв дверь, я вошла и замерла у порога. Бабушка стояла на коленях перед иконой, освещенной лампадой, и, поминутно припадая головой к полу, молилась. Ее жаркий шёпот и глухие рыдания среди ночной тишины и мрака подействовали на меня удручающе. Мне стало жутко и в то же время не по себе, как если б я против ее воли вторглась к ней в тот момент, когда бабушка была уверена, что ее никто не может видеть.

Когда я попятилась, чтобы незаметно уйти, бабушка оглянулась. Мое появление ее нисколько не удивило.

– Вставай рядом, – сказала бабушка строго. – Будем вместе просить Господа бога, чтобы он даровал здоровья вашей матери. Детская молитва к богу доходчива, – бабушка потянула меня на колени.

Никогда в жизни ни раньше, ни позднее мне не приходилось больше видеть такой неистой мольбы, невольной свидетельницей и участницей каковой пришлось мне быть в ту памятную ночь. Только великое отчаяние и горе могло вызвать эту душевную неистовость.

Я расплакалась и убежала.

Спрятавшись с головой под одеяло, я долго плакала, и вот тогда мне стало понятно, чего пугался брат и почему отказался находиться вместе с бабушкой.

Я точно не помню слов и выражений бабушкиной молитвы, но помню, что страх перед возможной потерей последнего из ее троих детей, дочери Сашеньки, приводил ее к невероятным страданиям. А беспокойство о нас с сестрой, могущих остаться с ней – старым человеком – и отчимом доводило бабушку до полного отчаяния.

Устав от невероятного душевного напряжения, бабушка, наконец, леглась и, поохав и повздыхав, засыпала.

Тогда из конца в конец по всему дому гулко раздавался ее жуткий храп с придыханиями, всхлипами и такими длинными паузами, что я невольно начинала опасаться – уж не задохнулась ли бабушка.

Прислушиваясь к ее трудному дыханию, я была не в силах уснуть и, с нетерпением ожидая рассвета, то и дело всматривалась в темный квадрат окна.

Просыпался и Бориска. В длинной ночной рубашонке соскальзывал он со своей кровати, забирался ко мне под одеяло и, только согревшись и почувствовав себя в полной безопасности, засыпал. Успокоенная его близостью и сонным посапыванием, засыпала и я.

Как-то проснулись мы среди ночи от непонятного стука и шума в соседней с нами ванной комнате. Прислушиваясь к возне, урчанию и хлопанью крыльев, решили, что это не иначе как нечистая сила справляет свой шабаш в нашем опустевшем доме. Объятые ужасом, лежали мы в своих кроватях, не решаясь не только что подняться и разбудить бабушку, а даже дышать свободно, чтобы не выдать своего присутствия. Какой же длинной и тревожной показалась нам эта ночь. Спасительный сон пришел лишь под утро, когда шум за стеной стих.

Рассказав бабушке о ночном происшествии, с опасением пошли мы вместе с ней в ванную комнату, любопытствуя и, в то же время, страшась увидеть следы ночного шабаша. Действительно, на полу виднелись капли крови, а по сторонам повсюду в беспорядке валялись сизые перья.

Бабушка с насмешкой посмотрела на нас.

– Ну, где же ваша нечистая сила? – спросила она.
– Думается мне, что не без вашего участия здесь такой беспорядок.

Только тут мы вспомнили, что пойманного больного голубя пристроили на излечение в ванной комнате.

– А кто же тогда его съел? – пытаюсь как-нибудь вывернуться, допрашивали мы бабушку. Мы были отчаянно сконфужены, попав впросак с нечистой силой.

– Кто же мог еще это сделать? Кажется мне, не приبلудный ли это кот, – высказала предположение бабушка.

Ну, конечно... Только этот огромный рыжий кот с зелеными злыми глазами и свирепым характером мог учинить такой разбой над нашим больным.

Длинными осенними и зимними вечерами, соскучившись в одиночестве в темном доме – зажигать свет бабушка разрешала нам только в одной комнате – мы искали живого общества и находили его в кухне.

В кухне всегда было чисто, тепло и светло. Работница Авдотья, поступившая к нам после замужества Ольги, пряла по вечерам шерсть, из которой вязала колочие, как крапива, носки и варежки. Под надсадный шум прялки забивала она нам головы множеством всевозможных историй о чертях, оборотнях, поднимающихся из гроба мертвецах. С широко раскрытыми глазами, боясь от страха пошевелиться, с замиранием сердца слушали мы ее бредни. Когда ж наступало время ужина, и надо было идти в столовую через темный

коридорчик мимо пустующего кабинета, мы до того были напуганы, что с трудом отдирались от лавки.

Много времени спустя, когда я уже подросла, когда училась, когда не верила ни в чертей, ни в оборотней – я все никак не могла отделаться от страха перед темным помещением.

Больше месяца оставались мы с бабушкой одни во всем большом доме. Наступила зима. Начались холода. Сразу выпал глубокий снег и по первопутку вернулся папа. Он вошел в прихожую, торопливо поздоровался с нами, скупо ответил бабушке, что операция прошла благополучно, и потому-де он и смог уехать. Сказал, что Аля (так папа называл маму) пробудет еще некоторое время в клинике и, сославшись на усталость и недомогание, ушел в кабинет и закрыл за собой дверь.

Я села за письмо.

Я писала маме письма, полные любви и тоски. В каждом письме просила ее ответить мне хотя бы одним-единственным письмецом. Писала, как в доме после ее отъезда стало тоскливо и пусто. По несколько раз принималась описывать, как мы радовались возвращению папы, сообщившему нам о благополучном исходе операции. Писала, с каким нетерпением все ждут окончательного ее выздоровления и каким радостным будет возвращение. И только ни разу не написала я маме о донимавшей меня временной тревоге – что же будет со мной? Об институте словно все забыли. Время шло, в январе мне исполнилось десять лет, поступление мое в институт просрочивалось на целый год.

Письма мои заканчивались бессчетным количеством поцелуев. Затем я относила их папе, просила отправить поскорее и принималась ждать ответа. Ответа не приходило.

Как-то раз, исчерпав все запасы чистой бумаги, я нарушила запрет и забралась в папин кабинет. Выдвинув несмело ящик письменного стола, стала осторожно перебирать лежащие в нем бумаги, надеясь среди них найти чистый лист. Добравшись до дна, я уже собралась было задвинуть ящик и уйти, как мое внимание привлекла пачка писем, перевязанных бечевкой.

Несвойственное ранее любопытство на этот раз подтолкнуло меня отогнуть уголок одного из них. Письмо было мое. Осмелев, я развязала пачку, и передо мной рассыпались все мои письма, с такой любовью написанные маме. Меня сразу бросило в жар.

Папа не отправил письма. Значит?... Значит их некому получать. А это может быть только в том случае, если мамы больше нет в живых. Зачем же папа скрывает это? Связав поспешно письма, я сунула их обратно под бумаги и в полном смятении выскочила из кабинета.

Бабушка устало лежала на кровати. Последнее время она сильно осунулась, постарела, а волосы ее заметно поседели.

– Бабушка, ты ничего не знаешь? – в волнении спросила я.

– Нет ничего. Что-нибудь случилось? – забеспокоилась бабушка.

– Ах, бабушка! Я у папы в столе нашла свои письма. Те, что я писала маме. Ты не знаешь, почему папа их не отправил?

– Подожди, подожди. Ты нашла свои письма? Ты не ошиблась? – вдруг побледнев, испуганно переспросила бабушка и быстро поднялась на кровати. – Принеси их сюда.

Я достала письма из ящика и вернулась к бабушке.

– Читай! – нетерпеливо потребовала она.

Когда я дочитала до конца мое давнее, самое первое письмо к маме после папиного возвращения и взгляну-

ла на бабушку, она, точно окаменев, смотрела на меня непонимающими глазами.

– Умерла, видно мать, Олюшка. – как бы очнувшись, проговорила она глухо. – Сашенька умерла! Господи! Обманул нас Леонид Петрович! Нет... ты погоди, – вдруг спохватилась бабушка. – А если умерла, так где же ее вещи? – ухватилась она за первую пришедшую ей в голову спасительную мысль лишь бы отдалить страшную догадку.

– Нет... Тут что-то не то. Ведь вещи-то тогда бы Леонид Петрович привез. А их нет! – с надеждой в голосе торопливо говорила бабушка. – Ты подожди, не говори ничего отцу, – услышав, что папа вернулся и прошел в кабинет, приказала мне бабушка. – Я сейчас сама все узнаю.

И тяжело поднявшись, она пошла на кухню.

– Авдотья! Сходи за кучером. Приведи его сейчас же сюда, – распорядилась бабушка.

Вскоре в кухню вошел кучер и, сняв шапку, остановился у притолоки.

– Николай, ты вез Леонида Петровича со станции, когда он из Москвы возвращался? – спросила бабушка.

– Ну, я, – нехотя ответил кучер.

– Никаких вещей вы никуда не завозили? – допытывалась бабушка.

Кучер молчал.

– Да говори же ты, ради бога, – заволновалась бабушка.

– Не сердись, Вера Ивановна. Давно бы сказал, кабы Леонид Петрович не заказал. Только не могу я тебя обманывать. Покуда не спрашивала, и я молчал. Померла барыня Ляксандра Петровна. Вещички ее у кладовщика на складе лежат.

Слова кучера точно косой подкосили бабушку. Она вскрикнула и повалилась на пол. Я закричала и броси-

лась к папе. Встретились мы с ним в дверях. Услыхав крик, он сразу все понял.

Трудное было время. Папа почти не выходил из кабинета. Бабушка молилась и плакала. Плакала и снова молилась. Обеспокоенный ее состоянием папа настоял на ее переходе в нашу большую по размерам комнату.

Часто по ночам, когда мне не спалось, я подолгу смотрела на горестно склоненную фигуру бабушки, вслушиваясь в ее причитания. Из ее горячего шёпота поняла я, что она замаливает какой-то Сашенькин грех. Спросить бабушку я не решалась и узнала о нем много позднее от папиного большого друга Григория Абрамовича Нейштадт.

А в то время я лишь недоумевала: о чем еще можно просить и кого просить? Ведь молились же мы с бабушкой, испрашивая у бога здоровья для мамы. А мама все равно умерла. Так кому же прощать ее грехи? Кому это надо? – рассуждала я. И что это за грех, который должна отмаливать бабушка, и из-за которого она так мучает себя по ночам? «Если бог не внял нашим молитвам и не отвел от мамы смерти, так есть ли он? – раздумывала я. – А еще говорят, что детская молитва к богу доходчива... Все это неправда!» И вот тогда, впервые, я начала сомневаться в существование бога.

После раскрытой горькой тайны стало лишним держать вещи на складе, и Авдотья принесла их. Среди маминых вещей попался мне валик из ее волос, употребившийся ею для прически. Я потихонечку, как великую драгоценность, унесла валик. От волос исходил слабый запах ее любимых духов «Вера Виолет» и чуть уловимый, только одной ей присущий, мамин запах.

Много слез пролила я над этой безмолвной частичей, оставшейся от родного человека, покинувшего нас навсегда. Но однажды, когда я плакала, прижимая ва-

лик к лицу, в комнату незаметно вошел папа. Повидимому, он долго стоял у меня за спиной, так как с того момента, как мне показалось, что скрипнула дверь, прошло порядочно времени.

Папа подошел и положил мне на плечо руку.

– Перестань плакать и отдай мне волосы, – строго потребовал он.

Отдать последнее, что у меня осталось и что больше всего напоминало маму? Никогда! Все во мне запротестовало, и я решительно отказалась.

– Не думай плохого, – более ласково заговорил папа. – Мне тоже очень тяжело. Но не надо терзать себя лишними воспоминаниями. Этим горю не поможешь.

Я заглянула папе в лицо. И только тут обратила внимание, как он похудел, и какая глубокая складка залегла у него вокруг рта. Я не посмела больше упорствовать и, глотая слезы, подчинилась требованию.

Так каждый по-своему переживал наше общее горе. Даже Боря часто уходил в мамину комнату, ложился на ее кровать и подолгу лежал с сухими строгими глазами, отвернувшись к стене. По распоряжению папы кровать унесли.

Чтобы как-нибудь рассеять наше тоскливое состояние, на зимние каникулы привезли Нину. Узнав о маминей смерти, сестра сильно горевала, но радость встречи с нами и теплота домашней обстановки помогли сгладить остроту потери.

После приезда сестры нам всем стало намного легче. Одно ее появление уже отвлекло нас от тяжелых мыслей. К тому же сестра привезла целую кучу картонажей для склеивания елочных игрушек, красок, снежка и всевозможной мишуры.

Радуясь новизне, мы занялись приготовлением елочных украшений. Только не было у нас в тот год ни приглашенных, ни веселой шумной ёлки.



ТУРОВСКИЕ

В сочельник неожиданно у крыльца раздался звон бубенцов, и из глубоких саней с трудом выбралась жена казенного лесничего Туровского, закутанная большим теплым платком по самые брови. Как не отказывался папа, мадам Туровская уговорила его повезти нас к ним на ёлку.

– Поверьте, Леонид Петрович, – говорила она – будут у нас только дети. Посмотрите на них, рассеетесь немного. Всем вам необходим душевный отдых.

Эта молодая и бесконечно милая женщина сумела настоять на своем, и папа был вынужден согласиться.

В сани заложила серого в яблоках любимого маминного коня Успешного. Я вышла на крыльцо, и при виде лошади и санок у меня снова тоскливо сжалось сердце.

Когда мама была еще относительно здорова, почти ежедневно к крыльцу подавали Успешного, и мы ехали на прогулку. Мама, завернувшись с руками в меховую ротонду, предоставляла мне управлять лошастью. По зимней укатанной дороге среди заснеженного леса мчал нас добрый конь, и только снежная пыль вихрем завивалась позади легких санок.

Успешный ненадолго пережил маму. Кучер накормил его зерном, не дав остыть после жаркого прогона. На обратном пути несчастную лошадь так вздуло, что бока распирали оглобли. Дотянув до дома, он пал, прежде чем успели оказать ему какую-либо помощь. Второй жеребец, Потешный, ходивший с ним в паре, долго тосковал. Проходя мимо опустевшего стойла, останавливался, засматривал в стойло и тихо ржал.

Старший мальчик Туровских, Стась, был горбат. Воспитывался он в чисто польском духе. Даже здороваясь со мной, он старательно шаркал ножкой и целовал руку, чем приводил меня в ужаснейшее смущение.

Средняя девочка – Инка, толстуха и резвушка, дожила до трех лет.

После смерти мамы Туровские часто навещали нас, стараясь как-нибудь смягчить наше горе. Это были хорошие отзывчивые люди. В один из приездов Инка весь день сильно капризничала. Бабушка унесла ее в нашу комнату и уложила спать на мою кровать. Через час девочка вся горела. Расстроенные родители поспешили увезти ее домой. Через несколько дней они известили папу, что Инка умерла от скарлатины.

С ее смертью в их дом вошло такое же, как и у нас, большое горе.

Встретились мы с Туровскими снова только весной.



Леонид Петрович и Нина (второй ряд).
Слева Боря, Оля и Туровские



СНОВА: ЕСТЬ ЛИ БОГ? ВСЕ, КАК В «ДЕТСТВЕ» ТОЛСТОГО

В страстную субботу мы с Авдотьей ходили к заутрене. Пасха в тот год была поздняя. Снег давно стоял. Дороги подсохли. Было тепло и удивительно тихо.

Отстояв заутреню, умиротворенной возвращалась я домой. В густой тьме весенней ночи тут и там то ярко вспыхивали, то снова притухали огоньки восковых

свечей, заботливо прикрытые рукой. Осторожно, чтобы не пригасить трепетный огонек, несла я свою свечу. Мне, как и всем, хотелось донести огонек до дома и порадовать бабушку. Я знала, как приятно будет ей зажечь лампадку от огонька святой заутрени. Недомогание помешало бабушке пойти с нами.

Тихая ночь, торжественная служба, мерцающие в ночи огоньки и общее благодное настроение захватили и меня. Успокоенная легла я в кровать и впервые за много недель почувствовала себя счастливой.

Мне снилось, что я все еще несу зажженную свечу, заботливо оберегая трепетный огонек от ветра. Вокруг идет много людей, и все они с радостными улыбками смотрят в одну сторону.

– Почему вы улыбаетесь? И чему вы радуетесь? – спросила я.

– Разве ты не знаешь, что мать божья с младенцем на руках идет вместе с нами? – ответили мне.

– Где? Где? – заволновалась я.

– Да вот, рядом, – со счастливым смехом ответил мне кто-то из толпы.

И тут я увидела высокую женщину в таком же одеянии, каким оно изображается на иконах. На руках она несла младенца, и я, не сомневаясь, поверила, что это, действительно, Иисус.

Ребенок доверчиво смотрел вокруг ласковыми лучистыми глазами. Мне неудержимо захотелось порадовать его чем-нибудь, но кроме зажженной свечи в руках у меня ничего не было. Торопливо, начала я вспоминать все дорогие мне вещишки. Надо было подобрать что-нибудь особенно хорошее, чтобы осмелиться сделать подарок. И тут я вспомнила хорошенькую алую бонбоньерку сердечком с золотым запором, привезенную мне папой к празднику. Бонбоньерка была еще полна шоколадных конфет. Взяла я из нее только самую маленькую, не удержавшись от соблазна. Задох-

нувшись от торопливого бега, протянула я коробку Иисусу. Он засмеялся и протянул руку, чтобы взять ее, но нахлынувшая толпа подхватила меня и увлекла за собой. Когда я с трудом выбралась из нее снова – никого уже не было. Опечаленная проснулась я утром. На тумбочке у кровати алело атласное сердечко.

Весь день была я под впечатлением сна. Мне было грустно. И снова вернулись старые мысли «есть бог или нет». Наверно, все же есть, решила я, раз в такой большой праздник я видела во сне сына божьего.

К вечеру мы поехали на званый обед к Туровским.

На этот раз гостей у них было много. Среди детей я не могла не заметить высокого стройного мальчика с нежным лицом, большими голубыми глазами и золотистыми кудрями. Мальчик был очень красив.

Мадам Туровская ввела нас в комнату и со словами «я надеюсь, вы сами сумеете познакомиться» вышла. Ко мне сейчас же подошел высокий мальчик.

– Меня зовут Стась, а тебя как? – спросил он.

Опять Стась, удивилась я и назвала свое имя. Так состоялось наше знакомство. Но не успели мы все, как следует, приглядеться друг к другу, как нас усадили за стол.

Мне никогда не приходилось раньше есть такого огромного количества самых разнообразных, но одинаково вкусных вещей, как в тот вечер. Чего-чего только не было на столе. И пасхи всех сортов и размеров, и куличи, и польские мазуреки, и заливные, и горячие закуски, и, кроме всего этого, еще двенадцать разнообразных блюд в честь двенадцати апостолов. От каждого блюда надо было съесть хотя бы по маленькому кусочку.

Каждое новое блюдо, встречаемое ранее с любопытством, под конец встречалось с ужасом. И, если бы не мои умоляющие взгляды в сторону папы, я наверняка бы заболела.

В не лучшем состоянии были и остальные объевшиеся дети. Папа понял меня, и по его просьбе нам разрешили уйти. Перегруженные снедью, с трудом справлялись мы с ней, и только хорошенько отдышавшись и поборов тошноту, смогли снова заняться знакомством, а потом и играми.

Во время прятков, когда красавец Стась обнаружил меня за дверью, точно так, как в «детстве» Толстого, он сделал мне предложение стать его женой с оговоркой – как только мы оба подрастем. Пользуясь моим безвыходным положением, он до тех пор держал дверь и не давал мне уйти, пока я, призвав на помощь всю свою дипломатию, ни сказала, что у меня умерла мама, и я не знаю, что ему ответить. Но каждый раз, когда нам случалось встречаться, Стась упорно напоминал мне о своем решении. Не помню, насколько серьезно принимала я его уверения, но что я была в душе все же горда – это помню.

Лет через восемь довелось мне встретиться со Стасем в Нижнем Новгороде, куда его семья переехала после революции. И, боже мой, каким самодовольным шаркуном предстал он передо мной, утерев навсегда после этого свидания моё к нему детское расположение.

После смерти Инки Нина попала в карантин и опоздала в институт. Надо сказать, что я этому была даже рада. Но кончился карантин, и сестра снова уехала. А на меня напало самое настоящее отчаяние.

Заметив, что папа стал реже запирается в кабинете, я решила поговорить с ним.

– Не знаю, как и быть с тобой, – задумчиво ответил папа. – Здесь дома готовить тебя совершенно некому. Послать тебя в какой-нибудь подготовительный пансион у меня, откровенно сказать, пока нет средств. Ты уже большая и поймешь меня. Все, что удалось

скопить про черный день, истрачено на лечение и похороны мамы.

Слезы ручьем потекли у меня из глаз.

– Подожди плакать, – остановил меня папа, – ты же не дослушала меня. Во всяком случае, огорчаться преждевременно. Умирая, мама взяла с меня клятвенное обещание, что я не оставлю вас и всем вам дам образование. Для ее успокоения я поклялся в этом. Но даже, если б мама и не просила, я все равно сделал бы для вас все, что в моих силах. Ты будешь учиться в институте. Подожди немного. Я уже думал об этом. Только на следующий год тебе придется держать вступительный экзамен сразу в шестой класс.

Я была счастлива! Достала свои заброшенные учебники и терпеливо повторила все, пройденное ранее с мамой. На этом дело и стало. Новый материал без посторонней помощи мне не давался. Приставать же к папе мне не хотелось, и вот почему.

Я упоминала о Нейштадте. Познакомился он с папой, будучи совсем молодым человеком. В то время многие евреи занимались лесным делом. Всю свою жизнь, насколько я помню, Григорий Абрамович имел дело с лесом. Навещал он нас и в Юлово, и на Инзе. На Инзе же он и женился на хорошенькой еврейке с пышными золотыми волосами и, на удивление, большими голубыми глазами.

Мама высказалась о ней так:

– Ничего себе, она хорошенькая. Только почему у нее такие красные руки?

Имея необыкновенно красивые руки и гордясь ими, мама всегда невольно обращала внимание на руки всех, с кем ей приходилось знакомиться.

Бывал Григорий Абрамович у нас и в Шандрово. Кроме дружбы связывали их с папой и дела. Однажды, уже после смерти мамы, позволила я себе в его присут-

ствии резко ответить бабушке на какое-то ее требование.

Нейштадт вспыхнул.

– Ты не смеешь так отвечать Вере Ивановне. Как тебе не стыдно! Вы как знаете, Вера Ивановна, – обратился он к бабушке, – а я больше молчать не стану. Дети выросли, и им давно пора знать правду.

Бабушка попыталась было остановить Григория Абрамовича, но, встретив его решительное сопротивление, безнадежно махнула рукой. В эту минуту в комнату вошла и сестра.

– Вот и хорошо, что вы обе здесь. Так-то лучше, – с серьезным видом проговорил Григорий Абрамович. – Вот я только что слышал, как Оля непозволительно отвечала Вере Ивановне, а ведь Вера Ивановна, кроме того, что вырастила вас, является еще и вашей родной бабушкой – матерью Александры Петровны. А Александра Петровна, не в осуждение будь ей сказано, почему-то скрывала это от всех и в том числе и от вас. Как можно не почитать своей матери! Ведь это во всех вероисповеданиях считается большим грехом. А в православии есть даже заповедь «чти отца твоего и мать твою». Так как же вы смее не подчиняться и огорчать ее? Беречь вам нужно бабушку. Ведь Леонид Петрович еще молодой человек. Он ведь и жениться может, хоть и говорит, что не сделает этого, пока вы все не станете прочно на ноги. Ну да всякое бывает, – закончил Григорий Абрамович свою бичующую речь.

С того дня я впервые по-настоящему поняла, что только бабушка и есть для нас самый близкий и самый родной человек. К папе же в душе я начала относиться с некоторой предвзятостью, хоть с его стороны и не было к тому никакого повода. Стала стесняться обращаться к нему с лишними просьбами, считая, что не имею никакого на это права.

Так вот он, мамин грех, который еженощно отмаливала бабушка. Дочь стыдилась своей простой, неграмотной матери, усилиями которой получила образование, и, выйдя замуж, стала матушкой-барыней. Так маму называли крестьяне.

Многое вспоминалось мне, и многое стало понятным. Вспомнилось, как бабушка, опершись о косяк двери и сложив на груди руки, с чуть заметной иронией спрашивала: «Ну-с, барыня, что на завтра на обед готовить будем?» На что мама, большей частью, недовольно отвечала:

— Ах, да готовь, что хочешь. Как мне надоели эти вечные разговоры об обеде.

Не помнила бабушка унижений и огорчений, чинимых дочерью, и даже после ее смерти все еще заботилась о ней, вымаливая у бога для нее успокоения.

После смерти матушки в доме нас осталось только четверо. Тоскливо тянулась первая сиротская зима. Отец все сидел, запершись в своем рабочем кабинете. Бориска был мал и вечно возился со своими ребячьими делами. Сестра Нина снова уехала в институт, а я больше сидела около бабушки. Иногда я читала ей ее любимого «Тараса Бульбу». Повесть эту она могла слушать бесконечное число раз и всегда плакала над ней, особенно в тех местах, где мать прощается с сыновьями и где Тарас убивает Андрея. Теперь же бабушка плакала особенно часто, рассказывая о прошлых семейных делах, и я любила ее слушать. И поведала она однажды, как я трехмесячным ребенком оказалась невольным участником в одном происшествии, случайно не стоившим матушке жизни. Рассказывала об этом бабушка так:

«Как заболел отец, трудно ему одному стало управляться со всеми делами, и прислали ему помощника. Приехал мужик средних лет, высокий, представитель-

ный. Странный он был только какой-то. Приходил иногда к нам вместе с Эрнестом Владимировичем по вечерам – посидеть да чайку попить. Сидит, разговаривает, а редко, когда прямо в глаза взглядывает, все как бы старается взгляд в сторону отвести. Наливаю я чай за столом, смотрю на него и никак не пойму, бывало, что у него на душе таится.

Зашел он как-то к нам, на дворе светло еще было. Эрнеста Владимировича дома не оказалось – задержался где-то. Сашенька сидела за столом с Павлом Ивановичем. Это так его звали. Чай пили. Тебя она на руках держала. Сидит это Павел Иванович молча по другую сторону стола, наклонил голову, и глаз не поднимает, только ложечкой в стакане быстро-быстро так крутит. И опять он мне странным каким-то показался. Вышла я из комнаты по хозяйственным делам, только вдруг слышу вроде возню в столовой. Посуда со стола покати́лась, зазвенела. Побросала я все дела, бегу по коридору и слышу, что-то упало, и ты закричала. Вбегаю в комнату – затряслась вся. Павел-то Иванович вцепился руками Сашеньке в горло и душит ее, она хрипит, отбивается, тебя с колен уронила – ты у них в ногах валяешься. Подбежала я, схватила за одеяло, да тебя в другую комнату и отшвырнула, а сама давай его руки от Сашенькиного горла отрывать. Лицо у него кровью налилось, страшное стало, принялась я его по рукам бить, разжать-то не удалось мне – сильный он. Сама бью и кричу, что есть мочи. Только слышу – кто-то по коридору бежит. Услыхал, видно, и он, бросил Сашеньку, да прямо в окно через стекло выскочил и бросился бежать. А тут как раз и Эрнест Владимирович подъехал. Так вот он так бежал, что даже подметки от штиблет отскочили. Насилу на лошади догнали. И отвезли его тогда в сумасшедший дом. Не помню уж, сколько времени он там пробыл, только стал писать Эрнесту Владимировичу письма и просить забрать его

из лечебницы. Съездил Эрнест Владимирович к нему, повидал его, как будто бы и поправился он, только не разрешила Сашенька отцу на свою ответственность его братъ. Напугал он нас тогда всех до полусмерти. За ним приехали какие-то родственники и увезли его с собой. А потом уж Леонид Петрович на его место приехал».



НИЖНИЙ НОВГОРОД

Папа сдержал свое обещание, и в 1909 году в конце августа вместе с Ниной я впервые уезжала из дома.

Нина перешла в пятый класс. Я же ехала к тетушке Софье.

Папа списался с ней, и тетушка согласилась за особую плату принять меня на время подготовки к вступительному экзамену. Репетитора тетушка вызвалась подыскать сама. Оплачивать репетитора надлежало папе.

Узнав о результатах переписки, бабушка пришла в сильное негодование.

– Двадцать пять рублей в месяц за питание девочек! Да в уме ли она? – горячилась бабушка. – На двадцать-то пять рублей целыми семьями живут! И одеваются, и обуваются, да еще и работницу держат. Неужели она считает, что Оле больше всех нужно? Ведь подумать только, какая совесть у человека, – без конца возмущалась бабушка. – Два года подряд приезжала на все лето с детьми, сама третья. Так тогда о деньгах и не заикалась. А вот ее дело коснулось, так не постыдилась запросить эдакую кучу денег!

Негодовала, ворчала, а когда пришло время нам уезжать, приготовила, повздыхав, две полупудовые банки: одну с топленным маслом, другую с клубничным вареньем.

– Берегите банки, – напутствовала нас бабушка. – Я их в корзины упаковала. Смотрите, не разбейте. Все может к тебе, Олюшка, тетка подбрее будет.

Милая бабушка, не знала она, что ни деньги, ни ее банки не могли ничего изменить в доме тетушки, как не могли облегчить и моего трудного существования в их неблагополучной семье.

Отвозил нас папа. В Рузаевку, где была пересадка, поезд пришел ночью. Ни огни большого вокзала, ни суета пассажиров и беготня ресторанных официантов, ни даже шум прибывающих и отходящих поездов узловой станции не развлекали меня. Мне хотелось спать. Привычка рано ложиться брала свое. Я дрожала, как случается дрожать свежим ранним утром, до слез зевала и с грустью вспоминала бабушку, потихонечку от всех оплакивающую наш отъезд; ставший после отъезда необыкновенно родным покинутый дом и свою теплую постель с пушистой периной, на которую я взбиралась не иначе как, прыгая со стула в самую серединку, чтобы не обмять ее высоких краев.

Когда пришел долгожданный поезд, и мы заняли свои места, папа поторопился уложить меня на верхнюю полку, и я, сморенная усталостью, моментально заснула.

К вечеру поезд пришел в Нижний Новгород.

Как только мы вышли из дверей вокзала, нас обступила целая толпа охотившихся за ездоками извозчиков. Одни из них старались завладеть нашими вещами, другие, не слезая с козел, расхваливали своих лошадей, немилосердно накручивая кнутами и дергая вожжами так, что задирали им головы. В общем, все они мало, чем отличались друг от друга, и папа, не вдаваясь в лишние выборы, остановился на самой ближней упряжке.

Обрадованный извозчик подхватил вещи и, взгромоздясь на козлы, устроил их у себя в ногах. Мы же трое втиснулись в старенькую пролетку.

Лошадка без особого понукания привычно затрусилла по пыльной булыжной мостовой, и от тряски у меня зарябило в глазах, а зубы защелкали.

Тетушка жила в верхней части города. Долго шажком взбирались мы по крутому съезду, пока добрались до Лыковой дамбы, пересекающей глубокий овраг.

– Посмотри, Оля, – сказал папа. – Эта кузница принадлежит Борису Ивановичу. Вторая его кузница за Окой в Канавино.

Я оглянулась. Невысокое кирпичное здание виднелось под откосом оврага в самом начале дамбы. Пока я рассматривала владение дяди, пролетка выбралась на главную улицу города – Покровку.



Фото 1912 года

С любопытством смотрела я на городские дома, магазины и с особенным интересом и даже удивлением засмотрелась на куцый вагончик, похожий на черного жука с поджатыми ножками. Вагончик, постукивая и вздрагивая на стыках, неторопливо ковылял по Покровке.

– Что ты на него так воззрилась, – засмеялся папа. – Это – трамвай, собственность какой-то финской компании. А вот это и есть Болотов переулок. Вон за теми зелеными воротами и живет Софья Владимировна, а теперь придется жить и тебе.

Лошадка дотрусила до ворот и остановилась. Папа осторожно снял с козел банки. Извозчик взял чемодан,

и мы целой процессией вошли во двор. За оградой садика виднелся все тот же, виденный нами с дамбы овраг, густо заросший тенистыми деревьями, густыми кустарниками и высоким бурьяном.

На звонок вышла хмурого вида женщина, а следом за ней появилась и тетушка. Она окинула всех быстрым взглядом и, видимо, осталась довольна, рассыпавшись присущими ей ахами и охами. Мы вошли. Тесная, темноватая, благодаря небольшим окнам, квартирка с узким коридорчиком и до предела заставленными мебелью комнатками. Кухня, куда скрылась прислуга, окнами лежала на земле. Дом был деревянный. С верхнего этажа явственно доносились разыгрываемые кем-то гаммы.

Настроение мое сразу упало. Так вот где мне теперь предстоит жить, – с тревогой подумала я. – Что делать? Это же временно, а для поступления в институт совершенно необходимо, – успокаивала я себя. – Вот, если б не гоняла без конца на коньках, возможно, тогда не было бы ни тетушки, ни этой тесной квартиры, – с поздним раскаянием подумала я.

Из спальни вышла завитая и принаряженная Мелита. Из вечно недовольной девочки, какой приезжала к нам в Юлово, она за эти годы превратилась в такую же обиженную на весь свет девицу с тусклой и кислой физиономией. Мелита довольно равнодушно расцеловалась с нами и молча уселась в углу дивана.

После наскоро выпитого чая, папа повез Нину в институт. С первого сентября начинались занятия. Я всей душой рвалась за ними, но тетушка не пустила меня, заявив, что это совершенно излишне.

Проводив Нину и возвратившись с ее вещами, папа долго разговаривал с тетушкой, обсуждая с ней мои дела. Он передал ей следуемые за меня деньги, а Милуше с шутливым галантным поклоном преподнес красивый флакон дорогих духов, купленный им на обрат-

ном пути из института. Милуша соблаговолила улыбнуться.

Проучившись в институте шесть лет, она безнадежно пыталась перебраться в четвертый класс. Но сделать это ей так и не удалось. Вызванная к доске, она начала молча плакать и плакала вместо ответа до тех пор, пока выведенный из себя учитель не сажал ее на место. А в журнале против фамилии Франк снова появлялась жирная единица. К моменту нашей встречи Мелита окончательно разделалась как с институтом, из которого ее пришлось взять за неуспеваемость, так и вообще со своим неудавшимся образованием. Учение ей упорно не давалось, да и домашняя обстановка совсем к тому не располагала. Скоро я это почувствовала и на себе.

Папа торопился домой и, к моему великому огорчению, в тот же день уехал. Очень трудно было мне расставаться с ним. Долго стояла я за воротами, сжимая в кулаке оставленные мне папой на расход деньги и через слезы, застилавшие глаза, все смотрела ему вслед. Летнее пальто папы на спине совсем выгорело и побурело, а шляпа давно утратила свой первоначальный вид. И вспомнился мне его разговор со мной после смерти мамы. И только теперь, глядя в его спину, поняла я, что, действительно, денег у папы в то время не было, как нет их, очевидно, и сейчас. Опечаленная своими наблюдениями, вернулась я в темную квартиру и тут же попала под обстрел тетушки.

– Что у тебя в руке? – требовательно спросила она.

– Деньги. Папа дал мне их на расходы, – доверчиво разжимая пальцы, ответила я.

– Дай сюда, – строго потребовала тетушка. – Совершенно незачем тебе иметь деньги.

Не поленившись встать с кресла, она подошла и отобрала у меня оставленные папой деньги все до последней копейки.

Вечером уже после папиного отъезда вернулся из кузницы дядя Борис Иванович. Это был высокий плотный мужчина с маленькими голубыми глазками и тяжелым носом. Он мельком взглянул на меня и, видимо, смущаясь своего грязного лица и рук, как-то боком торопливо прошел в свою комнату в самом конце коридорчика, и вскоре оттуда раздался плеск воды и громкое фырканье.

– Ёханес, – позвала тетушка, – иди же скорее ужинать. Привезли Ольгу. Мы давно ждем тебя. Поторапливайся!

В ответ раздалось невнятное бормотание, а вслед за ним в столовую вошел дядя. Теперь он был одет в свободную блузу, а лицо и руки были чисто вымыты. Дядя еще раз взглянул на меня и в виде ласки похлопал своей большой рукой по спине. Я впервые видела дядю, и меня поразило обиженно-несчастное выражение его лица. Глубоко вздохнув, он сел за стол.

Я оробела. Наверно, дядя недоволен моим появлением и считает меня за столом лишней. Возможно, даже боится, чтобы я не была ему в тягость. Только позднее открылась мне истинная причина его постоянного недовольства и выразительных вздохов.

В семье тетушки, как видно, давно укоренилось чуждое нашей семье порочное правило: все, что подгорело, что подкисло и считалось для других неприемлемым, оказывалось всегда на тарелке у дяди. Все лучшие куски тетушка раскладывала по тарелкам Милуши, сына Оскара, когда он бывал дома и, конечно, не обходила и себя. На мою долю, большей частью, уделялось такое мизерное количество жаркого, что даже я со своим никудышным аппетитом зачастую оставалась голодной.

Дядя брал вилку, ворошил доставшиеся на его долю куски, и сразу же жалкое и обиженное выражение его лица усиливалось. Мне кажется, что, только стесняясь меня, дядя молча брался за еду. Потом, попривыкнув к моему присутствию, он перестал сдерживаться, и часто за столом стали происходить дикие сцены.

Выведенный из себя бесцеремонностью тетки, дядя кричал, стучал кулаком, так что на столе все приходило в движение, а брызги подливок и соусов разлетались во все стороны.

Милуша, красная, готовая расплакаться, сидела, низко опустив над своей тарелкой голову. И только одна тетушка продолжала невозмутимо кушать. Она то подливала себе подливки, то пододвигала поближе салатик с маринованной тыквой и выбирала кусочки покрупнее и посочнее. Такую тыкву подавали за их столом довольно часто и, к слову сказать, она мне тоже очень нравилась.

Итак, тетушка кушала и, от времени до времени, подпускала дяде ядовитые, острые как жало пчел, шпильки, от которых он буквально лез на стену. Потеряв совершенно способность владеть собой, дядя вскакивал, отбрасывал в сторону стул, на котором только что сидел, и, потрясая над головой сжатыми кулаками, выскакивал из столовой и бежал в свою комнату. Доведя мужа до иступления, тетушка с выражением полной невинности и даже некоторой части мученичества принималась жаловаться на невозможный характер «этого несносного человека», не забывая в то же время тщательно вытереть губы после сытного обеда. А несносный человек, тем временем, снова уходил в свою кузницу голодным.

Я так ненавидела тетушку в эти минуты, что не решалась поднять на нее глаз, боясь выдать себя.

Иногда ссора заходила так далеко, что дядя бросался на пол, и с ним происходили настоящие припадки.

Этот крупный и такой с виду сильный человек катался по полу, сжимая голову руками и плача горькими слезами, как может плакать маленький, жестоко обиженный ребенок. Тогда тетушка с Милушей запирались в своей комнате.

В то время как Мелита, забившись в угол, где висели капоты и нижние юбки, по своему обыкновению заливалась слезами, тщетно пытаясь справиться с мокрым носом и глазами, тетушка, чувствуя себя в полной безопасности, продолжала подкалывать дядю. Он вскакивал с пола, бежал в свою комнату, хватал со стола револьвер и с криком «застрелю», разъяренный и не помнящий себя, бросался к запертой двери.

Вот тогда и для меня настало время из перепуганного зрителя превращаться в активного участника драмы. Я не могла оставаться в стороне при виде такого невероятного малодушия, вызывавшего во мне и жалость и осуждение. Всеми забытая, как если бы меня вообще не существовало, выходила я тихонько из столовой, стремительно бросалась к дяде и прижималась к нему.

Мое внезапное появление действовало на него отрезвляюще. Он смущенно отходил от двери, обнимал меня за плечи и покорно шел в свою комнату. По дороге он что-то бормотал невнятное о своей работе, его личном труде, о моем сиротстве и о нашей общей тяжелой жизни.

Бывало и так: доведя дядю до совершенно невменяемого состояния, тетушка пугалась дела рук своих и, боясь, чтобы он не сделал чего-нибудь над собой, вспоминала обо мне. Тогда из закрытой комнаты раздавался ее встревоженный голос.

— Оля, где ты там пропала? Пойди же к дяде. Разве ты не видишь, что ему плохо? Отбери у него револьвер! Ёханес! Перестань шуметь! Ты пугаешь девочку.

Никчемные запоздалые заботы. В эти минуты я снова ненавидела тетушку Софью. И ненавидела до ужаса, до отвращения.

Дядя не был плохим. Это был человек с честной и даже поэтической душой. Заядлый охотник, большой любитель и поклонник природы и не меньший ценитель и поклонник поэзии. На его письменном столе рядом с револьвером, порохом и патронами всех калибров, можно было всегда видеть томики стихов любезных его сердцу Гейне и Шиллера. Книги, пожалуй, и были его единственными настоящими друзьями. В своей семье дядя жил, точно чужой, никому ненужный человек. В свободные от работы часы сидел он в своей комнате и выходил только к столу. Когда обед почему-либо запаздывал, дядя подходил к дверям тетушкиной спальни – в комнату к ней он никогда не входил – и жалобным голосом спрашивал.

– Зони, мы скоро будем обедать? Я совсем разголодался.

Прожив в России всю свою жизнь, дядя так и не постиг правильной русской речи. Когда в хорошую минуту, редко выпадавшую на нашу долю, он начинал рассказывать какую-нибудь забавную историю, не прибегая к немецкому языку – дядя знал, что в немецком я не сильна – то, не знаю право, чему я больше смеялась: то ли комизму рассказа, то ли его неправильной речи, похожей на детский лепет.

К сожалению, это случалось редко. Большею частью дядя сидел в одиночестве у себя в комнате, насквозь пропахшей сигарным дымом, и единственными свидетелями его жизни и дум, было черное чучело убитого им когда-то токующего глухаря с развернутым веером хвостом и горделивая голова оленя с ветвистыми рогами, безмолвно наблюдавшая за ним задумчивыми стеклянными глазами.

Когда дела в кузницах не ладились, а тетушка требовала добавочных, не запланированных ранее денег, или когда подходил срок уплаты страховки, а свободных денег не было – дядя подолгу сидел за своим письменным столом с карандашом в руке и все что-то писал и отщелкивал на счетах. В такие дни он ходил убитый и жалкий с единственной мыслью, как достать требуемые деньги. И только окончательно отчаявшись найти выход из трудного безденежья, обращался за помощью к тетушке Марии Владимировне. Зная его порядочность и пунктуальность, она никогда не отказывала ему и спешно высылала недостающую сумму.

Когда же дела поправлялись, дядя успокаивался, снова вспоминал о забытых стихах и брался за свои любимые томики. Чтение действовало на него, как влага на засыхающее растение. Он оживал и умиротворенный листал и перелистывал давно знакомые странички. Когда же его внимание задерживалось на какой-нибудь особенно удачно срифмованной фразе, да еще и отвечающей его настроению, дядя приходил в умиление и тогда ему было просто необходимо поделиться с кем-нибудь своим восторгом. Он шел к жене, держа в руках раскрытый томик.

– Зони, – ласковым тихим голосом обращался он к ней, глядя вверх пенсне. – Послушай, что я тебе прочту. Послушай... Это так прекрасно.

Поправив покосившееся на носу пенсне, он начинал проникновенно читать приведшие его в умиление строки.

С тех пор прошло много, очень много лет, но, написав свое воспоминание о дяде, я снова отчетливо увидела его живым до мельчайших подробностей: его крупную фигуру, поседевшие жиденькие волосы, просветленное лицо и маленький томик стихов в его большой рабочей руке.

Даже я в свои одиннадцать лет понимала, что его надо обязательно выслушать. Надо с сочувствием и пониманием отнестись к сердечному порыву этого большого, замученного жизнью и обстоятельствами ребенка.

Но тетушка была не из таких, чтобы отнестись к нему сочувственно.

– Ай, – отмахивалась она, – иди-ка ты со своими глупостями! – безжалостно обрывала она дядю.

Он хватался за голову, вскрикивал и стонал, точно от нестерпимой боли. Бежал в свою комнату, а через минуту в квартире снова бушевала буря. Где уж тут было готовить уроки.

Когда же обед проходил спокойно, тетушка с Милушей опять-таки запирались в своей комнате. Взаперти, потихонечку от всех они лакомились шоколадом. Шоколад тетушка хранила в шифоньере под бельем. На мою долю никогда ничего не перепало, хотя оставленные мне папой деньги, так и остались большей частью за тетушкой.

На мои редкие просьбы дать мне немного денег, чтобы купить себе в лавочке рожков – это были длинные, темно-коричневого цвета сахаристые стручки, плоские и жесткие, точно сухая вобла. Рожки мне нравились и, хотя тетушка и говорила, что за границей, откуда их привозят, ими кормят только ослов, я этим не смущалась и покупала их как единственное доступное мне по цене лакомство.

Хоть и очень скромными были мои просьбы, но тетушка каждый раз, прежде чем дать копейку, оговаривала меня:

– Ты же ни в чем не нуждаешься. Зачем тебе деньги?

ПЕРВОЕ ПОСЕЩЕНИЕ СЕСТРЫ

В первое же воскресенье после моего вселения к тетушке мы с Мелитой отправились на прием к Нине.

Я весело шагала по городским улицам, радуясь свиданию с сестрой и с любопытством заглядывая во все витрины магазинов, мимо которых мы проходили. После жизни в деревне мне было и ново, и интересно. Кончилась Покровка, и мы вышли на большую площадь Минина и Пожарского. За площадью начинался бульвар, доходивший до откоса реки Волги. На бульваре и откосе по вечерам играла музыка, и гуляли горожане. На площади мы сели в конку.

Это был небольшой легкого типа вагончик человек на десять. Везла вагончик лошадь. Кондуктор собрал с пассажиров за проезд по три копейки, встал на открытую вагонную площадку и закрутил ручку тормоза. Лошадь с небольшим усилием тронула вагончик с места, и он легко покатился по рельсам. Широкоспинный битюг, покачивая крутыми боками, не спеша, трусил посреди свободных постромок. Он давно привык к своей работе, знал все остановки, и сонному водителю управлять приходилось только конкой: на подъеме отпустить тормоз, а при уклоне снова притормаживать. Самый большой подъем был при въезде на Большую Печерку. Здесь появления вагончика, этого чуда прошлого века, поджидал шуплый паренек в непомерно больших сапогах. Как только конка поравнялась с ним, он ловко пристегнул вторую выносную лошадь, вскочил на площадку, громыхнув сапогами, и пара лошадей, дружно натянув постромки, вывезла конку на Большую Печерку.

Мальчик на ходу отстегнул свою лошадь, взобрался ей на спину и со скучающим видом неторопливо отправился встречать следующую конку.

Церковь Благовещения была нашей остановкой. Ограда церкви выходила одной стороной на Печерку, другой – на Жуковскую улицу. Чтобы попасть в институт, надо было пройти коротеньким безымянным в несколько домов переулочком и выйти на Жуковскую, на которой и находился институт.

С замиранием сердца переступила я высокий порог железной калитки, и мы оказались в институтском дворе, обнесенном высокой кирпичной стеной и густо заросшем большими, раскидистыми кустами сирени. По широкой центральной аллее пересекли двор и подошли к трехэтажному белому зданию в виде буквы «П» с двухэтажными крыльями по обеим его сторонам. Из многочисленных окон за нами с интересом наблюдали девчоночьи головы с одинаково зачесанными кверху волосами и большими черными бантами на макушке. Это воспитанницы младших классов нетерпеливо высматривали своих посетителей. Под их перекрестными взглядами я шла, точно спутанная, с трудом переставляя непослушные от смущения ноги. Только когда бесшумно открылась тяжелая дверь, обшитая черной клеенкой, и мы вошли в сумрачный вестибюль, я облегченно вздохнула и почувствовала себя свободнее.

Откуда-то справа глухо и вразнобой доносилась игра на многих роялях. Это воспитанницы, которым по разным причинам некого было ждать на прием, готовили музыкальные уроки.

У большого стола, заваленного свертками и кулками, стояла скромно причесанная девушка в сером шерстяном платье. Мелита сказала, что это пепиньерка. Так назывались девушки, проучившиеся в институте семь лет и оставшиеся на восьмой для более тщательного изучения какого-либо, выбранного по их желанию, иностранного языка. Оставались преимущественно те, кто учился на казенный счет, и бывало их не более двух-трех. В обязанности пепиньерок входило так-

же заменять заболевших классных дам, следить за порядком в ночное время, для чего им приходилось спать в дортуарах младших классов, а также во время приемов встречать посетителей и принимать от них передачи. Дежурная пепиньерка спрашивала фамилию воспитанницы, которой предназначалась передача, а также класс, в котором она училась, надписывала пакеты и укладывала их на один из семи подносов.

После окончания приема подносы подавались в столовую, и каждая из воспитанниц, получив свою передачу, имела право угостить классную даму, поделиться с подругами и наесться до отказа самой. Но правила распорядка требовали все оставшиеся сладости складывать в именные мешочки и хранить в принадлежащем классу шкафу, ключ от которого находился у классной дамы.

Брать что-либо из съестного в неположенное время строго запрещалось. Но никто не обращал на эти правила никакого внимания, и львиная доля приношений незаметно попадала в бездонные карманы воспитанниц, предназначавшихся опять-таки по правилам для носового платка. В платьях вместо карманов были только прорези, а сами карманы находились в нижних юбках. Белье менялось два раза в неделю. Таким образом, два раза в неделю менялись и карманы. Что стала бы с платьем, если б не это простое решение карманного вопроса. Ведь чего-чего только не перебивает в них за год: от селедки, фруктов, хлеба с маслом и колбасы до шоколада и липких тянучек.

На обращенный к нам вопросительный взгляд пепиньерки я робко присела. Тетушка уже успела научить меня этому благородному искусству. Сдавать на поднос мне, собственно говоря, было нечего. Принесенная мною передача сестре свободно уместилась в небольшом пакете, хотя тетушка и положила в него кое-что и

от себя. К тому же, мне совсем не хотелось расставаться с пакетом, и, прижимая его к себе, я двинулась вслед за Мелитой по красивой узорчатой лестнице на второй этаж, где происходили приемы. По лестнице лежала красная плюшевая дорожка, постеленная специально по случаю приемного дня.

Направо и налево тянулся широкий коридор с большими светлыми окнами по концам и многими дверями по обеим сторонам. В середине коридора находился актовый зал. Возле настежь открытых дверей зала за небольшим столом сидела классная дама в синем платье. Возле нее, перешептываясь и поблескивая глазами, находилось несколько дежуривших вместе с дамой воспитанниц. То одна, то другая из семи дверей классов приоткрывалась, и любопытная, крайне озабоченная голова выглядывала в коридор и тут же разочарованно скрывалась: «Нет... Опять не ко мне».

Классная дама, неохотно оторвавшись от книги, скучным голосом справилась, к кому мы пришли и, получив ответ, что-то отметила в лежавшем перед ней журнале, и только тогда поднялась одна из девочек и побежала по коридору налево. Когда она остановилась против одной из дверей, теплая волна прилила мне к сердцу. Сейчас я увижу сестру. Открыв дверь, девочка звонко пропела: «Нину Тунцельман на прием». В ту же минуту, обгоняя дежурную, во всю прыть летела ко мне Нина. Мы обнялись, сразу заговорили, но под строгим взглядом синей дамы поспешили пройти в зал. И вот мы, как и все, сидим у стены под портретом императрицы Марии Федоровны, именем которой был назван институт, и над которым она, к слову сказать, шефствовала. Я сижу рядышком с сестрой, и мы, перебывая друг друга, рассказываем свои нехитрые новости.

Слушая Нину и отвечая ей, осматриваюсь по сторонам. На торцевой стене зала в массивной золотой раме висит портрет царя Александра-освободителя в полный

рост. Он смотрит вдаль равнодушными голубыми глазами навывкате. Напротив, в такой же массивной раме, также в полный рост портрет Александра третьего. Лопатообразная выхоленная борода во всю ширь развернулась на его выпяченной груди. Это отец царствующего ныне Николая Второго да, как окажется впоследствии, и последнего. В простенках между окнами – поясные овальной формы портреты неизвестных мне лиц. Налево от нас в конце зала, как раз против царя с бородой, стоят два концертных рояля под суровыми чехлами. Вдоль стен группами расположились посетители со своими большими и маленькими институтками.

Маленькие семиклассницы «малявки» в белых пелеринах и белых фартуках, а также не по-детски длинных камлотовых платьях, как и у старших воспитанниц, почти все плачут. Они еще не привыкли к строгому режиму, к высоким классам и холодным дортуарам. Я смотрю на них и удивляюсь. О чем плакать? Ведь какие же они все счастливицы, что уже учатся в институте. Нет, я не стану плакать, если выдержу экзамен и тоже буду учиться.

Огорченные их слезами мамы вытирают плачущим глаза и носы надушенными платочками, попутно смахивая и со своих щек непрошенные слезинки. Толстые, в замысловатых шляпках, купчихи с массивными золотыми кольцами на пальцах, с дорогими серьгами в ушах и толстыми цепочками на груди усердно пичкают своих заплаканных дочек домашними пирожными, ватрушками и всевозможными смоквами, неограниченное количество которых принесли с собой в зал в объемистых сумках и ридикюлях, хотя это также запрещено распорядком. Поэтому большинство на приеме что-нибудь да жуют. Еще не было такого распорядка, который бы не нарушался. И только когда в зал заглядывает дежурная классная дама удостовериться, все ли в порядке, рты мгновенно замирают.

Я вспоминаю про свой кулечек и передаю его Нине. От угощения мы отказываемся, ведь в нем так мало.

Старшие воспитанницы с заложенными на голове косами держатся с достоинством и изяществом. Усаживаясь возле родителей, они не забывают поправить свои длинные зеленые платья так, чтобы, не дай-то бог, не выглянуло из-под него прозаическое ушко прюнелевых ботинок. Ведь на приеме бывают юнкера, начищенные до блеска офицеры и скромные в черном с красными лампасами кадеты. Бывали и франтоватые студенты в облегающих фигуру мундирах, и даже моряки с восхитительными золотыми кортиками на боку.

Воскресенье это единственный день недели, когда можно посмотреть на заинтересовавших тебя людей, да и себя показать.

Время приема летит быстро. Когда я с горечью упоминаю, что у меня до сих пор еще нет учительницы, Нина тускнеет. Ее беспокоит моя дальнейшая судьба. Врозь нам скучно, и мы не можем дожидаться часа, когда будем снова вместе. Мелита, мало принимавшая участия в нашем разговоре, вдруг встрепенулась и успокоила наши встревоженные сердца, заявив, что преподавательница, по всей вероятности, скоро будет. Кто-то обещал тетушке свое содействие в ее подыскании.

В это время, извещая об окончании приема, громко и требовательно затрещал звонок. Все враз зашевелились и задвигали стульями. У маленьких слезы потекли обильнее. Старшие, кокетливо обнимая своих близких, не спеша стали покидать зал. Еще один поцелуй, один беглый взгляд в сторону удаляющихся посетителей, и вот уже все воспитанницы, шурша камлотом, растекаются, точно снежные весенние ручейки, по своим классам.

Грустная прощаюсь я с Ниной. Поминутно оглядываясь, идет она по коридору.

Прием окончен.

МОИ ЗАНЯТИЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЬ- НИЦЕЙ

Прошло еще несколько дней, и как-то, возвратившись из города, тетушка сообщила мне радостную весть, что завтра придет преподавательница. На утро следующего дня я заранее приготовила свои учебники, тетради и все, что могло потребоваться для занятий, и с волнением стала ожидать ее прихода. Когда же в прихожей раздался долгожданный звонок, я вздрогнула от неожиданности.

Тетушка, вихляя туловищем, что должно было изображать радушие, вышла навстречу пришедшей и, любезно улыбаясь, провела ее в гостиную. Невысокая, худенькая женщина с большими черными глазами несмело вошла следом за тетушкой и вопросительно осмотрела до предела заставленную мебелью комнату. Поняв ее недоумение, тетушка поспешила освободить Мелинит письменный столик от шкатулок, пресс-бюваров и рамок с фотографиями любимых актеров.

Мы сели за первое занятие. И с первого дня почувствовала я слабость своей преподавательницы. Я не знала, как и что преподавала она в ремесленном училище, и какое образование имела сама. Но ее робость, ее неумелое и вялое ведение уроков расхолодили меня и расстроили. Может статься, что, в какой-то мере, я и ошибалась в ее оценке, но что-то все же было, что не удовлетворяло меня. К тому же, Екатерина Николаевна, так звали мою учительницу, ссылаясь на нездоровье, стала часто пропускать занятия, и пошли они, что называется, через пень колоду. Когда же дело коснулось иностранных языков, оно пошло еще хуже, а там и

совсем застопорилось. Тетушка же совершенно перестала вникать в мои дела.

Писать папе о своих тревогах я боялась. А вдруг, думала я, папа не захочет тратить деньги по-пустому и заберет меня домой. Но однажды в минуту полного расстройствa, мне так захотелось поделиться с кем-нибудь своими заботами, что я не удержалась и обо всем написала папе. В ответ он в деликатной форме за-просил о моих делах тетушку. Тетушка отписалась, расхвалив Екатерину Николаевну и, сославшись на невозможность найти другого репетитора, оставила все, как было. У меня окончательно утвердилось сомнение в пользе наших занятий. К тому же тяжелые скандалы в семье тетушки зачастую совершенно выбивали меня из колеи и, конечно, не способствовали моему прилежанию. Я ходила удрученная, не зная, к кому приткнуться со своей тоской и заботами. Доведенная до отчаяния, я однажды набралась смелости и на скопленные копейки потихоньку уехала к Нине. Было это в один из четвергов, когда приемы бывали не такими пышными и многолюдными.

Из всех пошитых мамой платьев я давно уже выросла. Оставалось одно единственное шерстяное платье в клетку, которое висело в шкафу в тетушкиной комнате. Взять платье, не обратив на себя внимание, я не могла, но мне было просто необходимо откровенно поговорить хотя бы с Ниной, чего я не могла сделать при Мелите. Махнув рукой на все препятствия, я как была в стареньком, отслужившем многие годы Мелите, зала-танном платьишке и черном переднике с обтрепанными кружевами, так и вышла тайком из дома и бегом пусти-лась к конке. Дорогу я уже знала.

Поднявшись на второй этаж, несмело попросила я вызвать Нину и, поймав на себе насмешливые взгляды дежурных девочек, так смутилась, что не сразу замети-ла подошедшую ко мне сестру. Увидев мое обиженное

лицо, Нина сразу догадалась о причине моего смущения. Ни о чем не расспрашивая, она обняла меня и, стараясь незаметно прикрыть своим широким передником мое ветхое одеяние, повела меня в зал. Уселись мы по соседству с бородатым царем. И тут под прикрытием роялей, не сдерживая больше слез, я рассказала ей и о тетушке, и о том, как я ее ненавижу. Я рассказала о скандалах, происходящих в их семье, и как мне трудно живется среди них. Рассказала я и о своей учительнице, и о слабости занятий. Когда, задохнувшись, я остановилась, то увидела, что плачет и сестра, а многие посетители повернули в нашу сторону головы и с любопытством и сочувствием смотрят на нас.

Долго успокаивала меня Нина, обещая, что все скоро переменится, и просила немножко потерпеть. Она отказалась взять слипшиеся в моей руке леденцы, купленные на этот раз на собранный по копейке гривенник и даже не в лавчонке, а в настоящем магазине на Покровке у купца Кузнецова, с дочерью которого Зиной мне пришлось впоследствии учиться в одном классе.

– Не возьму, – отнекивалась сестра, – оставь себе. Тебе, Ольгушка, труднее живется.

Я упорствовала. Разве можно было прийти на прием без конфет!

– Ну, хорошо, – пошла Нина на уступки. – Тогда съедим их с тобой вместе.

И мы занялись леденцами. Опустел кулачок как раз к звонку, оповестившему об окончании приема. Расстались мы с сестрой последними. После разговора с Ниной на душе у меня стало намного легче.

Дома ждала меня буча. Тетушка кричала, бранилась, грозила отправить меня обратно, сулила всяческие кары, если я еще раз посмею отлучиться без ее разрешения и, в подтверждение своих угроз, оставила меня без обеда.

Спасибо леденцам. Они пришлись как раз ко времени.

Лишившись обеда, я все же отвоевала право самостоятельного посещения сестры, а тратившийся на Мелитину дорогу гривенник перешел в мое полное распоряжение. Кроме того, в тщательно запрятанной жестяной коробочке из-под Уфимского меда я стала копить перепадавшие мне от тетушкиных гостей конфеты и на приеме, к моему великому удовольствию, мы вместе с сестрой съедали их.

СВИДАНИЕ С ПАПОЙ. ТАНТЕ МИННА

После моего разговора с Ниной она также обо всем написала папе. Отвечая на ее письмо, он сообщил, что, возможно, скоро будет проездом в Нижнем Новгороде и тогда обязательно повидается с нами.

Время шло. Папа не приезжал. Наступила зима, а мое зимнее пальто стало мне совсем мало. Из оставленных папой денег тетушка не истратила на мой гардероб ни копейки. Куда было проще и, главное, выгоднее одевать меня в обноски и заставлять донашивать Мелитино пальто, не один год пролежавшее на дне сундука.. Пальто было в талию с большой неуклюжей пелериной, изрядно поношенное и несказанно смущавшее меня. Но что было делать? Пришлось смириться.

Каждый день ждала я папу. Я так ждала его, что почти перестала замечать тетушкины придирки, Мелитино шипенье и даже их семейные скандалы.

Когда ожидание дошло до болезненности, папа приехал. Раздавшийся вслед за звонком его голос сразу сделал меня самой счастливой из всех девочек на свете. Я как сумасшедшая вылетела в прихожую и, не давая

ему возможности даже раздеться, повисла у него на шее. От знакомого пальто исходил вкусный запах мороза и, в то же время, родной теплый запах дома. На этот раз папа приехал в новом костюме и показался мне молодым и необыкновенно красивым. Он гладил меня по голове и по лицу своей загорелой рукой, такой доброй и ласковой, что у меня впервые оттаял лед, скопившийся на сердце за эти месяцы, проведенные вне дома.

Мелита снова получила подарок. Это был шелковый бледно-розового цвета материал в полоску. Одна полоска была гладкая, блестящая, другая – прозрачная, кружевная. Я оскорбилась и вознегодовала. Неужели дома не поверили ни мне, ни Нине? «Наверное, нет, – с обидой подумала я. – Если б поверили, разве стал бы папа делать им подарки?» Но я так была счастлива свиданием, что язык у меня не повернулся спросить, правы ли я в своем предположении.

Однако промелькнувшее на моем лице огорчение не осталось незамеченным. Папа внимательно оглядел надетое на мне старье, притянул к себе и ободряюще, при том как-то озорно подмигнул, как бы говоря, «наплюнь на это! Не робей! Три к носу», что он всегда говорил, когда хотел кого-нибудь приободрить. Вдруг глаза папы лукаво блеснули, а ноздри дрогнули и расширились, что было всегда предвестником смеха. Но сказать он ничего не успел. В это время вошла тетушка и объявила, что самовар подан, и недурно Леонид Петровичу с дороги выпить чайку. Папа посерьезнел и решительно отказался от чая, сославшись на недостаточность времени. Я возликовала. Если он отказался от ее приглашения, значит, недоволен ею.

– Собирайся, девочка, – сказал папа, – сейчас поедем к Нине, а нам с тобой надо еще зайти к Розанову и кое-что для нее купить.

Когда я вернулась в уродовавшем меня пальто, папа снова мельком оглядел его, но снова тетушке ничего не сказал. Я недоумевала. Мы вышли из дома и направились в кондитерскую. На этот раз было куплено такое количество сладостей, что пакет получился огромным и тяжелым.

В институт мы поехали на извозчике.

– Теперь рассказывай, что у тебя происходит, – спросил папа, как только санки тронулись.

И сразу день померк, а на сердце вернулась долго мучившая меня тоска. Перескакивая от события к событию, поминутно теряя мысль от волнения, рассказала я вперемешку с всхлипами обо всем, что меня мучило и расстраивало. Серьезно, не перебивая и не останавливая, выслушал меня папа.

– Все это, конечно, очень печально, – начал он. – Давай мы с тобой подумаем, что можно изменить. Если же ничего не придумаем, а тебе здесь так плохо, я могу забрать тебя домой. Как раз бабушка и Боря по тебе очень скучают. Но как же тогда с учебой? Кто тебя будет готовить? Ты же знаешь, что совершенно никому. А учиться тебе надо? Следовательно, это отпадает. Что касается репетитора, то я поговорю с Софьей Владимировной.

Я уже оправилась со своими всхлипами и молча слушала папу.

– Теперь второе. Заставить их жить, как полагается в приличных домах, без скандалов, мы с тобой не имеем никакого права. Это их личное семейное дело и на наши претензии можем получить ответ: «Не нравится – проваливайте». Так? Так, милая ты моя, – сам на свой вопрос ответил папа. – Следовательно, приходится отказаться и от второго. А то, что Софья Владимировна одевает тебя в обноски, это, действительно, возмутительно. Ведь я же дал денег на твою экипировку, а они, видно, растаяли, – папа помолчал.

– Одним словом, думаю я, что если дам еще – будет с ними все то же. Что же делать? – призадумался папа. – Знаешь что, я вот тебя о чем спрошу. Тебе очень хочется попасть в институт?

– Ну конечно, очень хочется, – ответила я.

– Ну, раз хочется, тогда тебе придется немного потерпеть. Чтобы достичь желаемого в жизни часто приходится многим поступаться и со многим мириться. Ты согласна со мной?

Я согласилась, и жизнь моя потекла дальше.

Приезд папы не внес никаких существенных изменений в мою жизнь, но он научил меня смириться с досадными трудностями. Научил стойкости и терпению.

Навещая своих знакомых, тетушка взяла за правило повсюду с собой брать и меня. Так я вскоре познакомилась почти со всей колонией немцев в Нижнем Новгороде.

При встрече с кем-нибудь из них тетушка заставляла меня делать «книксен». А я считала эти приседания на улице неуместными и даже оскорбительными для себя, стеснялась и потому всячески старалась увильнуть от них.

– Фи! Как ты плохо воспитана. Даже здороваться, как следует, мать не сумела научить тебя, – язвительно говорила тетушка, намекая на мамино не дворянское происхождение.

А когда она позволяла себе враждебно упоминать о маме, я становилась, как дуб, и никакие силы тогда не могли заставить меня выполнять ее требования.

– О-о-о! – сокрушенно кивали головами немки. – Не слушаться своей liebe Tante¹, как это нехорошо. Фрау Франк была так добра, согласившись взять тебя к себе. Стеснила свою семью. Тратится на твое содержа-

¹ любимая тетя

ние, а ты такой неблагодарный девушка... Шреклись¹! – восклицали они, закатывая глаза и потрясая цветами или перьями своих шляпок, смотря по сезону.

Подобные нравоучения повторялись так часто, что я на всю жизнь невзлюбила как тетушкиных приятельниц, так и всех немцев вообще. Невзлюбила их приторную сентиментальность, чрезмерную восторженность и экзальтацию, от которых меня просто тошнило.

– Отвратительные, толстые, безмозглые индюшки, – ругалась я в душе на их нравоучения. – Ничего-то вы не знаете, как моя милая, уважаемая тетушка тратится на мое содержание.

Как-то раз, отправляясь на очередную чашку кофе, тетушка снова прихватила и меня. На этот раз мы шли к неизвестной мне еще танте Минне, жене преподавателя немецкого языка мужского института, Федора Егоровича Еше. Жили они на Малой Печерке в собственном, довольно старом, двухэтажном деревянном доме. На наш звонок дверь открыла сама хозяйка дома Минна Филипповна.

Это была маленького роста, очень тучная женщина с огромным бюстом и черными чуть-чуть навывкате глазами. Впоследствии я узнала, что она являлась родной сестрой бывшего мужа тети Лиды – Ясковского, оставленного ею еще в молодости за беспутство и дикий нрав. Только характером Минна Филипповна совсем не походила на своего дикого братца, которого, к слову сказать, осуждала и с которым не поддерживала никаких родственных отношений.

К танте Минне я как-то сразу расположилась и даже полюбила ее, почувствовав простое, доброе и понимающее сердце.

– Входите, входите, – приветливо приглашала она. – Я очень рада, Соня, что ты привела и Олю.

¹ ужасно

Видимо, она кое-что уже знала обо мне.

– Sie ist hübsch¹, – по-немецки добавила танте Минна, надеясь, что я не пойму. – Только очень худа. Здорова ли?

– Oh, liebe Minna, ich weiß nicht², почему она так неважно выглядит, – обнимая меня лживой рукой, затараторила тетушка, – чтобы поправить ее хотя бы немножко, я начала кормить ее овсянкой с черносливом.

У Минны Филипповны брови поползли вверх.

– Да, да, с черносливом, чтобы было вкуснее. Но она почему-то отказывается есть овсянку. А ведь это было бы очень для нее полезно.

Да, действительно, я отказывалась есть опротивевшую мне скользкую размазную, в то время как с удовольствием съела бы добрый кусок жареного мяса или хотя бы котлету с макаронами.

Немного отдышавшись, танта Минна страдала одышкой, она повела нас на второй этаж полюбоваться недавно приобретенной обстановкой.

– Старую мальчики всю испортили перочинными ножами, – пояснила она.

Когда мы поднимались по лестнице, серая тень – на лестнице было темновато – метнулась мимо нас и стремительно загрохотала вниз.

– Мейн готт, когда только поумнеет этот шалопаи, – проговорила танте Минна, проводив грустными глазами прогремевшую тень, покачав с сокрушением головой, и так же сокрушенно и осуждающе закачался маленький шишок реденьких волос, чудом державшийся на затылке танте Минны. Этот беспомощного вида шишок сразу расположил меня к ней.

¹ она красивая

² дорогая Минна, я не знаю

В первой комнате, куда провела нас хозяйка, стоял верстак, а по стенам и табуреткам висели и лежали столярные инструменты.

– Да, – поймав удивленный взгляд тетушки, сказала танте Минна, – пришлось завести в квартире рабочую комнату, а то Гора снова перепортил всю мебель, – объяснила она.

Возле верстака стоял высокий юноша с чудесными, точно панбархат, черными глазами. Он отложил рубанок, которым что-то строгал, и вежливо поклонился тетушке. Танте Минна познакомила меня с ним. Это был ее старший сын Федя.

Осмотрев по очереди все комнаты, тщательно обсудив все достоинства и недостатки новой мебели, спустились в столовую. Стол был уже накрыт. На приглашение к столу сели мы и старший сын Федя. Младший, Гора, не отозвался. Танте Минна, сочувственно поглядывая, подкладывала на мою тарелку бутерброды, слоеные пирожки и другие приторного вида вещи. По своей доброте душевной она старалась подкормить меня, осудив в душе тетушкину овсянку. И несказанно удивлялась, что ее угощение, лежащее передо мной, оставалось нетронутым. Где мне было заниматься едой! Даже любимые зелененькие вафли с фисташковыми орехами не привлекали моего внимания. Заботило меня совсем другое. Все время, пока мы сидели за столом, что-то больно пощипывало меня за ноги: то за одну, то за другую. Я никак не могла понять, что это за напасть такая, и только потихоньку, чтобы никто не заметил, отбрыкивалась. Однако танте Минна по моему удрученному лицу заподозрила что-то неладное и заглянула под стол. С невозмутимым, только ей одной присущим спокойствием, она вытащила за шиворот упиравшегося младшего сына Гору и усадила его за стол.

– Горе мне с ним. Одного отца только и побаивается, – снова пожаловалась танте Минна.

В это время хлопнула входная дверь и, прежде чем в столовую вошел сам Еше, Гора поспешно выскочил из комнаты, схватив по дороге несколько пирожков, сделав страшные глаза и показав мне на прощанье язык. Этот разбойного вида, но все же красивый мальчик, каким он мне тогда представился, впоследствии сыграет немаловажную роль в моей жизни.

РОЖДЕСТЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ. ОСКАР

Приближалось рождество. По расчетам тетушки как раз настало время делать праздничные покупки. В городе среда была базарным днем. Тетушка, Мелита, я и домработница Настя с двумя огромными корзинами с утра отправились на базарную площадь.

Такого большого скопления возов с мясом, живыми, пронзительно визжащими поросятами, живой птицей и залитыми жиром тушками гусей и уток мне еще никогда не приходилось видеть. Длинным рядом тянулись палатки с рыбой: мороженой – в рогожных кулях и живой – в обледенелых садках. Рядом лежали пудовые осетры и белуги. Вокруг палаток выстроились пузатые с крутыми боками бочонки с икрой: лещовой, щучьей и любимой бедным людом за ее доступную цену икрой мутно-розового цвета с далеко неаппетитным названием «замазка». На почетном месте перед палатками продавцы расставили бочонки с яркой, зерно к зерну, кетовой икрой, а под навесами высокими пирамидами уложили банки с икрой зернистой и паюсной, доступной только чистому покупателю и купечеству.

Вперемешку с корзинами и коробками антоновских яблок и румяного аниса расположились благообразные пасечники со своими белыми липовыми кадочками, до краев наполненными медом: прозрачно-светлым – ли-

повым, темным – гречишным и особенно «духовитым» – цветочным. И тут же стояли мешки с калеными подсолнухами и лесными орехами.

Чуть поодаль, как бы не решаясь встать в ряд с чистым товаром, выстроились санки и салазки, укутанные старыми ватными одеялами и лоснящимися овчинами. Это печерские огородницы привезли на базар продукцию своих огородов. Круглый год снабжали они горожан добротными овощами. А их соленые нежинские огурчики издавна славились крепостью и вкусом.

Огородницы в овчинных полушубках, перевязанные крест на крест большими шальями, звонко поскрипывая негнушимися валенками, топтались возле санок, похлопывая пестрыми рукавицами. И громкими голосами зазывали покупателей, на все лады расхваливая товар.

– А вот капуста белокочанная, сахарная! Каротель морква медовая! Редька ядреная! – выпевали они. – Подходи, не зевай! А ну, налетай!

– Бабоньки, – заводила другая, – свеколки-то столовой для борща, для салата-винегрета не забудьте купить! Свеколки-то кому! Свеколки!

Я с удовольствием прислушивалась к их разноголосому зазыву, и мне вдруг стало так весело, что захотелось и самой вот так, как они, поторговать и так же задорно на всю площадь покричать: «А вот яблоки моченные! Огурцы соленые!» Но озабоченная покупками тетушка лишь ненадолго задержалась возле веселых огородниц и снова вернулась в скучные мясные ряды, а мне, чтобы не потерять ее в снующей толпе, пришлось расстаться с приглянувшимся рядом и поспешить за ней.

В стороне от базарной сутолоки разложили свои товары гончары. Чего-чего только ни привезли они для продажи. И все это стояло и лежало на примятом, затоптанном снегу. Горшки всех величин от самого

большого, до самого маленького, молочные кринки, детские облитые урильники, огромные с крутыми бочками серые от закала корчаги. Да где уж там! Всего и не перечесать. Покупатели подходили, долго выбирали, выстукивая и вертя в руках нужные им предметы. И только убедившись в их звонкости и прочности, справлялись о цене.

Хозяин воза, бородатый мужик в дубленом полушубке, подпоясанный кушаком, в высоких, выше колен, расписных пимах – такие и мороз не прошибет – вертится среди своего глиняного товара, постукивая по горшкам кнутовищем, «вот мол-де, какие звонкие». И, не сморгнув, запрашивает две-три копейки лишнего, чтобы было бы с чего и опуститься при надобности. А вдруг покупатель попадетя расчетливый. И, учитывая крепкий мороз да легкую, не соответствующую зиме городскую его одежку, начинал скупко, не торопясь, сбрасывать по копеечке. Авось-де «жмот» застынет торговавшись, а тогда уж наверняка в руках лишняя копейка, да останется. Известно, что копейка к копеечке – глядишь, и рупь-целковый набежит.

Рядом с гончарами выстроились воза со щепным товаром. Горбатые коромысла, кленовые белые и расписные красным с золотом ложки лежали навалом. Ступки с пестиками. С крышками солонки. Такую и на стол поставить не зазорно, а при надобности и на стенку повесить можно, для того и дырочка над крышкой просверлена. Большие корыта – бабам для стирки. Маленькие корытца – в случае капусту на пирог порубить. Емкие кадки под капусту и огурцы, меньшие – под грибы. Тут и бадьи для колодезя, да и корову попоить сгодится. Чего-чего только нет! Все это разложено и расставлено возле возов и над всем торговым местом стоит звон горшков, дробь кленовых ложек, громкий окающий нижегородский говор. Да поверх всего – яростный скрип морозного снега под множеством ног.

Между возами и ларьками снуют озабоченные хозяйки, завязав деньги в платочек и зажав их в кулаке. Тут уж не зевай, если не хочешь остаться без традиционного гуся с яблоками к празднику.

Базар в разгаре.

Пока тетушка ходила от воза к возу, пока приценивалась то к одному окороку, то к другому, пересмотрела и перещупала с добрый десяток гусей, покупала мед для пффефенкухенов (пряников), кетовую икру, точно из мела белые мятные пряники и совсем еще горячие посыпанные маком бублики, нанизанные на мочало, я с интересом наблюдала незнакомую мне базарную жизнь.

Продрогшие, ошалевшие от толчеи, выбрались мы наконец из снующей толпы и остановились, потеряв Настю с ее корзинами. Пока она протолкалась и подошла к нам, тетушка подозвала дохлого на вид босяка в драном пальто и стоптанных опорках, каких много болталось без дела по базару и, посулив ему пятак, предложила донести до дома набитые до верха корзины. Я почему-то подумала, что он откажется. Корзины тяжелые, а пятак – он и есть пятак. Не велика корысть для босого человека. Но босяк неожиданно согласился, легко поднял корзины и быстро зашагал, щелкая опорками.

С трудом поспевая за оборванцем, тетушка всю дорогу стонала и вздыхала.

– Только подумать, больше трех рублей истратила в один базар. Шреклись! Что поделать, – еще раз вздохнула тетушка. – Скоро праздник. Оскар придет, – и успокоилась.

На следующий день тетушка занялась приготовлением пффефенкухенов. Пекла она их раз в год на рождественские праздники. Тетушка сварила мед с маслом, положила гвоздики, корицы, поташа и замесила густое, липнувшее к рукам тесто. А нас с Мелитой заставила

его раскатывать и вырезать пряники специальными железными формочками.

Мы расположились в столовой на столе, и дело закипело. Вскоре половина теста превратилась в зайцев, белок и медвежат, а вторая половина – в трех, четырех и пятиконечные звезды. Потом наши изделия смазали яйцом, посыпали рубленным миндалем, и тетушка сунула противень в горячую духовку. Когда пряники испеклись, я не узнала творение рук наших. Они округлились, подрумянились и блестели, точно покрытые глазурью, а по квартире распространился такой замечательный аромат, что у меня дух захватило от предвкушения пробы.

А на следующий день пришло извещение о приезде Оскара.

Я плохо помнила длинного мальчика, каким он приезжал к нам в Юлово. Позднее видеться мне с ним не приходилось, и теперь я с большой тревогой ожидала его появления. Мне казалось, что еще один новый член семьи тетушки непременно принесет с собой и новые для меня огорчения.

К счастью, я ошиблась.

Не ожидая для себя ничего хорошего, поднялась я утром с узенькой кушетки с разболтанными, выпиравшими во многих местах пружинами, на которой мне приходилось спать, поджав ноги. Кушетка была для меня коротка, и я даже во сне должна была помнить о неустойчивом треножнике с синим тазом для умывания и синим кувшином для воды, место которого было у меня в ногах. Как-то однажды, забыв о соседе, я с наслаждением протянула занемевшие ноги и опрокинула это хлипкое сооружение. Раздался грохот, плеск воды, а затем встревоженные голоса тетушки и Мелиты: «Что такое? Что случилось?» Спросонья они не сразу сообразили, что произошло, а я, в надежде отдалить расплату, молчала.

Не получив ответа, тетушка поднялась обследовать комнату, сунула ноги в домашние туфли и, попав в холодную воду, тут же с воплем выдернула их обратно. Когда зажгли ночник и увидели опрокинутый умывальник, к моему великому удивлению, тетушка восприняла погром как неизбежное. Она вызвала из чулана аварийную команду в лице заспанной Насти, которая и ликвидировала ночное происшествие.

Утром происходил совет: куда переставить кушетку. Но как ни прикидывали, другого места в маленькой комнате, как только у окна, ей не нашлось. Из окна дуло, я зябла и ко всем бедам вместо умывальника теперь толкала Мелиту, что вызывало, большей частью, ее раздраженное шипение, а порой и щипки, от которых она после Юлово так и не излечилась.

В день приезда Оскара уже с утра я была в удрученном состоянии духа. Тетушка, оживленная и как никогда счастливая, собственноручно занималась приготовлением необычного, по случаю приезда сына, завтрака, то и дело поглядывая на часы и подгоняя медлительную Настю.

Мелита в одной рубашке, с распущенной тонкой и длинной, как у китайца, косой сидела на кровати с натянутыми на ноги черными фильдеперсовыми чулками и, поворачивая ноги и так и сяк, с явным удовольствием любовалась ими, напевая себе под нос: «Ах, эти ножки! Ах, эти ножки, они сулят мне рай и ад!». В последнем я, впрочем, не сомневалась. Так, любуясь и подпевая, она старательно полировала ногти розовым мелом (лака в то время не было) и совсем не была склонна участвовать в общей суете.

Когда завтрак был почти готов, тетушка вдруг вспомнила, что не купила любимые Оскаром булочки со странным названием «жулик». Стоил такой жулик копейку. А так как я слонялась без дела, то меня и отправили в кондитерскую на Осыпную улицу, вручив

вместо денег заборную книжку, по которой тетушка забирала хлеб. Стоимость забранного оплачивалась в конце месяца.

Я охотно выполняла подобные поручения. Мне нравилось войти с мороза в теплое помещение, насыщенное вкусным запахом свежеиспеченных сдоб, ватрушек, плюшек и маковников, в изобилии разложенных по полкам, корзинам и прилавкам кондитерской. Но на этот раз полюбоваться всем этим изобилием мне было некогда. Забрав десяток булочек, я поторопилась домой.

Первое, что я заметила по возвращении, был незнакомый чемодан, скромно стоявший в коридорчике. На вешалке висела длинная форменная шинель с вензелями, а из гостиной доносился незнакомый, что-то оживленно рассказывающий, голос.

Я тихонько заглянула в гостиную. Перед трюмо стоял высокий молодой человек в форменной тужурке и в форменных светлых брюках. Такие же, как и на шинели, вензеля блестели на его плечах. Что-то рассказывая, он легким взмахом руки причесывал русые волнистые волосы. Я засмотрелась на его узкую руку с длинными пальцами музыканта. Это был Оскар.

Заметив меня через зеркало, он быстро повернулся, подхватил меня на руки, приподнял и, заглядывая мне в лицо, весело и очень дружелюбно проговорил: «Вон ты какая стала большая, маленькая юловская плакса». Полюбовавшись, поцеловал и так крепко прижал к себе, что я с болью укололась о вензель его тужурки.



Оскар, Мелита и тетушка Софья

Этой искренней лаской, впервые полученной мной в доме тетушки, Оскар с первой минуты покорило мое сердце, и я, чтобы не огорчить его, даже и вида не подала, что он сделал мне больно. А Оскар с первого же

дня своего приезда взял меня под свое покровительство, и с первого дня я почувствовала это.

– Да ты совсем стала большая, – разглядывая меня с явным удовольствием, снова сказал Оскар, – и пальчики длинные, и ручка хороша. Но ногти! Батюшки, в каком состоянии твои ногти! Сегодня же приведем их в порядок: кругом подчистим, подрежем. Да смотри у меня! Чтобы без воплей!

Я до того смутилась от его замечания, что готова была вот сию же минуту совершенно и без остатка раствориться. Спасло мне жизнь, прервав неприятный разговор, появление тетушки, пригласившей всех к завтраку.

Дядя, довольный и приодетый, сидел уже за столом на своем обычном месте. На столе бушевал самовар. Вторя ему, в клетке, висевшей у дяди над головой, громко чирикал желтогрудый чиж, перескакивая с жердочки на жердочку. Атмосфера в столовой была праздничная и, главное, совершенно мирная.

Тетушка оживленно и даже с некоторой долей кокетства и грации раскладывала по тарелкам завтрак и разливала кофе.

Оскар комично рассказывал студенческие анекдоты, и все дружно смеялись. Даже дядя расстался с привычным для его лица обиженным выражением и, когда все откровенно хохотали, он как-то застенчиво что-то невнятно бормотал и тихонько подхохатывал, как бы стесняясь проявить громко свое несерьезное настроение. Но зато ласковые взгляды, бросаемые им на сына, яснее ясного говорили об его удовольствии от свидания с ним.

Не спуская глаз, смотрела я на оживленное лицо Оскара и с непритворным весельем ловила каждое его слово, от всей души радуясь пришедшей с ним в дом легкости и дружелюбию.

Завтрак уже подходил к благополучному концу, как вдруг Мелита, верная своей склонности, зло ударила меня по руке, когда я потянулась за одной из принесенных мной булочек. Быстрее всех на ее поступок отреагировал Оскар. Он ловко поймал сестру за руку и несколько раз сильно ударил. Рука покраснела. Оскар был вне себя.

– Противная злючка! Кто позволил тебе бить Олю?– с негодованием спросил он.– Если ты еще хоть раз посмеешь ее обидеть, то тебе придется пенять на себя. Советую не забываться,– с презрением добавил он.

Мелита надулась, покраснела и полезла в карман своего нарядного передничка за носовым платком.

Несколько дней спустя все повторилось снова. Только на этот раз она ударила меня за маринованную тыкву, о которой я уже упоминала и которую всегда была не прочь видеть у себя в тарелке. Второй урок, преподанный Мелите Оскаром, навсегда отбил у нее охоту слишком далеко протягивать свои руки.

Я почувствовала себя увереннее.

В сочельник утром дядя принес хорошенькую пушистую елку. Украшать ее было предоставлено нам с Мелитой. Мы золотили орехи, привязывали нитки к пфеферкухенам и конфетам. Потом оказалось, что на елку забыли купить крымских яблок. Оскар вызвался сходить за ними и взял с собой и меня.

– Послушай-ка,– сказал Оскар,– почему ты меня называешь Оскар? Зови меня просто Ося. Ведь все же я тебе брат,– потребовал он, глядя на меня сверху вниз.

Чтобы поспевать за длинными ногами Оскара, мне приходилось поторапливаться. Но я смотрела в приветливое лицо Оси, и мне хотелось, чтобы прогулка наша никогда не кончалась. Чтобы вот так идти рядом с ним как можно дольше и всем своим благодарным суще-

ством чувствовать его расположение и ласку, без которых в семье тетушки мне было нелегко.

Мои размышления прервал Ося.

– А что если нам зайти к Розанову и съесть по пирожному? – предложил он и, не дожидаясь моего согласия, в котором он не сомневался, Ося открыл дверь кондитерской Розанова-младшего и подтолкнул меня.

– Входи, входи, не стесняйся. Давай сначала посмотрим, что нам выбрать.

И он подвел меня к прилавку, где за стеклом были разложены пирожные. Я выбрала коричневую с белыми росточками картошку, а Ося облюбовал песочное. Пирожные мы съели за мраморным столиком. Потом перешли на другую сторону Покровки и вошли в грузинский магазин.

Магазин гудел, как улей. Продавцы, молодые парни, мелькали белыми кавказскими рубашками, ловко взвешивая груши, яблоки, мандарины и виноград, предварительно отряхивая его от мелкой пробковой крошки, которой он был пересыпан. Мы потолкались, купили яблок и, не торопясь, отправились обратно. Праздничная суета была заметна и на улице. Пешеходы с пакетами в руках все еще заглядывали то в одну, то в другую гостеприимную дверь и, только нагрузившись сверх всякой меры, отдуваясь и побряхтывая, растекались по боковым улицам.

Крупные хлопья снега, медленно опускаясь, вспыхивали в свете фонарей всеми цветами радуги. А мне было так хорошо, что когда несколько снежинок, порхая в хороводе, нечаянно присели мне на ресницы и на мгновение залепили глаз, я так громко и так радостно засмеялась, что Ося в изумлении даже остановился.

С приездом брата Оскара жизнь моя резко изменилась к лучшему. И когда случались неприятности, они больше не задевали меня так глубоко, как это бывало раньше. Теперь я знала, что стоит только Оскару пере-

ступить порог, как все огорчения улетят, будто их и вовсе не было.

Вечером в сочельник вся семья тетушки, а в нее теперь входила и я, в полном сборе, шла в немецкую кирху.

Сиротливо и надтреснуто блямкал небольшой колокол кирхи, созывая своих прихожан.

Дядя, староста кирхи, в новом пальто, в белом крахмальном воротничке и таких же белоснежных манжетах, важный и торжественный, стоял с непокрытой головой в специально отгороженном месте возле двери и, почтительно раскланиваясь с входящими в кирху, продавал им свечи. Прихожане занимали свои постоянные места на стоявших в ряд скамьях с высокими спинками и, держа перед собой маленькие молитвенники, благоговейно склонившись над ними, бормотали молитвы. И лишь покончив с ними, начинали с интересом оглядываться по сторонам, усаживаться поудобнее, прихорашиваться и обмениваться приветственными кивками и улыбками.

Все затихли, когда вышел пастор. Он был в черном одеянии с резко выделяющейся белой манишкой на груди. Служба началась. Молящиеся то сосредоточенно слушали пастора, то что-то читали в своих молитвенниках, то, закатив глаза, старательно пели вместе с ним. Слов я не понимала, но зато, когда раздавались кем-нибудь пущенные фальшивые ноты, невольно оборачивалась и тут же получала в бок сердитый тетушкин тычок. Только в глазах Оскара я неизменно встречала затаенную смешинку.

Под конец службы все с чувством пропели «Stille Nacht, Heilige Nacht¹» и, переполненные чувством ис-

¹ тихая ночь, святая ночь

полненного долга, поднялись с мест. Служба была окончена. Теперь можно было и поговорить.

– Ах, фро Франк, как хорошо, что и Оля была с вами в кирхе, – услышала я у себя за спиной знакомый голос усиленно молящейся фрау Розановой.

Этой полной пестро одетой фрау всегда до всего было дело.

– О, либе фро Франк, – пропела другая, – наконец-то вы дождались своего мальчика. Оскар, ты, наверное, так счастлив снова повидать своих родителей. Ну, конечно, иначе и быть не может. Фро Франк, дайте я вас поцелую.

Оскар остановился, учтиво раскланялся с тетушкиными приятельницами и решительно потянул меня в сторону.

– Давай удерем, а то начнут все по очереди без конца надо мной ахать, – шепотом сказал Ося. – Пока они тут целуются, мы с тобой раньше всех попробуем, что за влагу содержат принесенные папахеном бутылочки.

Я заколебалась.

– Вот чудачка, чего ты испугалась, – засмеялся Ося. – Пробовать буду я, а ты только покараулишь, чтобы папахен не застукал меня за этим занятием. Бежим!

– Хорошо... Бежим! – отозвалась тогда я, и мы удрали.

В то время я и не подозревала о вреде дегустации.

Когда вернулись, озабоченные нашим исчезновением, остальные, Ося уже сидел за пианино и бравурным маршем встречал их приход.

Зажгли елку. На стол подали только что освобожденный от хлебной корки окорок. Пока дядя нарезал куски окорока и разливал первые бокалы вина, что он по большим праздникам всегда делал сам, все расселись за праздничный стол, и ужин начался.

После сытной закуски дядя сходил в свою комнату, принес один из своих любимых томиков стихов и с большим выражением прочел что-то, соответствующее моменту. Затем все перешли в гостиную. Упираясь и отнекиваясь, Мелита все же спела про Maiglöckchen¹. Я продекламировала о бездомном малютке, подобранном в рождественскую ночь сердобольной старушкой, а Ося долго и бесшабашно играл на пианино все, что только приходило ему в голову. Слух у него был поразительный. Подбирал он легко и мастерски, и стоило хоть раз услышать какую-нибудь концертную вещь, как он тут же довольно точно воспроизводил ее по слуху. Под конец вечера, когда елочные свечи почти все догорели, по настоянию дяди Ося достал свою скрипку и под тетушкин сбивчивый аккомпанемент мастерски сыграл сложную вещь, с которой значительно позднее он выступал на концерте, устроенном в Народном доме в пользу неимущих. Я как сейчас вижу его статную фигуру, русую с вьющимися волосами голову и скрипку в его руках, руках музыканта.

Оскар был прирожденным музыкантом. Как всем одаренным людям, ему легко давались и другие виды искусства. Он был еще и художник. К сожалению, у меня не было ни одного его рисунка, а у кого они были, так ничего не сохранилось. Да и сама его жизнь была загублена тупым упорством дяди, пожелавшим во что бы то ни стало сделать из сына лесовода только потому, что он сам больше всего на свете любил лес и природу. Действительные же таланты Оскара так и не получили должного внимания и развития.

Во время праздников тетушка особенно старалась вывозить в свет свою заневестившуюся Милушу. Если

¹ ландыши

уж не получилось с образованием, то теперь тетушку одолевала забота выдать дочку замуж.

В этом стремлении посещали они театры, балы и вечера в мужском институте и кадетском корпусе, для чего тетушка каким-то одной ей известным способом ухитрялась доставать пригласительные билеты.

Домой они возвращались весьма недовольные друг другом.

– Нет бы пококетничать, заинтересовать молодых людей. У тебя такая хорошенькая белая шейка и руки. Надо только суметь показать их при случае, так ты опять в углу, точно сыч, весь вечер просидела. Ну кому ты такая нужна! – выходила из себя тетушка.

С не менее плохим настроением возвращалась с увеселительного похода и Мелита. Злым сдавленным голосом рассерженной гусыни отбивалась она от корившей ее матери.

– Ну и показывай свои шейки и ножки, если тебе так хочется! Мало чего у меня есть красивого. Я и должна всем все показывать, – огрызалась она.

– Да как же ты думаешь замуж выйти? – в отчаянии взывала тетушка. – Вожу я тебя повсюду, пылинки с тебя сдуваю. Покой совсем потеряла. А ты?

– Что я? Что я? Вот возьму и никуда с тобой больше не поеду. Невидадь твои вечера! Со скуки умереть можно. Никуда больше не поеду, – растягивая слова, злорадствовала Мелита. – Понятно тебе? Никуда! И отстань от меня, пожалуйста! – вопила она.

– О, мейн готт! – стонала тетушка. Так переругиваясь и негодую, тетушка торопливо разоблачалась. Она вынимала искусственный глаз и опускала его в борную в один стакан. Зубы – в другой, и, превратившись в незнакомую старуху, решительно забиралась в кровать.

Развлечения, доставляемые тетушкой Мелите, для меня считались преждевременными. И я каждый раз оставалась дома одна.

Оскар часто бывал в своей компании, и никто не знал, где он и с кем проводит время. Но в те дни, когда я в одиночестве бродила по комнатам и от скуки пыталась даже подбирать на пианино неподдающиеся моему умению цыганские романсы, как добрый рождественский дух, появлялся Оскар. Он мимоходом заглядывал в горку, быстро выпивал, косясь на дядину дверь, рюмку влаги из оставшихся от ужина бутылок, помогал мне одеться и уводил из дома.

Если Оскару не удавалось раздобыть у муттерхен (мамочки) денег, мы просто бродили с ним по улицам. Когда же деньги были, то ходили в кинематограф.

В то время в сеансе показывались три картины. Под бравурный марш на разбитом пианино проходила видовая картина «салат», как шутил Ося. Следующей под звуки вальса шла драма с невероятно жестикулирующими и гримасничающими артистами – кино было немое – и называлась драма у Оси «жаркое», а на третьем обязательно подавалось что-нибудь комическое: компот из трюков. Это были невероятно глупенькие истории с рискованными трюками, участником которых, большей частью, был маленький, невзрачного вида человек под псевдонимом «Глупышкин», оказывавшийся в течение всей картины в самых смешных для нас и досадных для него положениях. Он без конца падал в воду. Его рвали собаки. В новом костюме, идя делать предложение, он проваливался в ямы. Повисал на брюках. Его через потолок привинчивали к полу. Шла также не менее глупая и все же комичная картина про тещу-наездницу.

Зритель в то далекое время был неискушенный. Он довольствовался и тем, что ему преподносили. Примитивные шутки клоунов в цирке и приключения тещи и

Глупышкина в кино всегда находили горячий отклик. Но, наверное, никто во всем грохочущем зале так не веселился и не заливался смехом, как я. Ося, по-видимому, получал не меньшее удовольствие, наблюдая за мной. Каждый раз, взглядывая на него, я встречалась с его добрыми смеющимися глазами.

Иногда случалось, что Ося задерживался и являлся, когда я уже совсем переставала надеяться на его приход. Тогда мы попадали на последний десятичасовой сеанс и сидели, как на иголках. По окончании сеанса, как вострепанные, выскакивали из зала и, что есть силы, бежали домой.

Тетушка не должна была знать о наших проделках. И все же один раз я едва-едва не попала. Я только успела снять пальто и боты, как у парадной двери загремели ключом, и я, как была в платье и башмаках, так и юркнула под одеяло и притворилась спящей. От спешки и волнения у меня так громко стучало сердце, что я боялась, как бы оно не выдало моего обмана. Как только все утомонилось и уснуло, я потихоньку вылезла мокрая точно мышь и с огромными предостережениями разделась.

На зимние каникулы папа почему-то решил не брать Нину домой. Побывать у тетушки хотя бы пару дней она не захотела и предпочла остаться в институте. Виделись мы с ней чуть ли не ежедневно. С помощью все того же Оскара мне стало значительно легче выбивать из тетушки предназначенные для моих расходов деньги. Кроме того, Нина также получила от папы небольшую сумму, и я покупала и приносила ей все, что она просила купить.

Две недели пролетели незаметно. Ося снова уехал, а мои занятия с Екатериной Николаевной и не прекращались.

СНОВА ОСКАР

Время шло своим чередом.

Теперь уже Оскар приехал на весенние каникулы. Весна в тот год была ранняя. Снег быстро стаял. Скопившуюся за зиму грязь на улицах дворники давно выскоблили, вымели и убрали. К первому апреля стало чисто и очень тепло.

Повеселевшие граждане стряхнули зимнюю сонную дрему, с удовольствием расстались с теплыми пальто и по-весеннему ходили в легких костюмах.

Наша дружба с Осей за время разлуки не утратила для меня своей прелести. Одного его присутствия в доме было достаточно, чтобы я чувствовала себя счастливой.

Только Ося почему-то сильно изменился. Часто хмурился. Все о чем-то сосредоточенно думал. Даже глубокая складка меж бровей появилась на его лице. На мои настойчивые вопросы, что с ним, Ося обычно отвечал беспечной улыбкой.

– О чем ты беспокоишься? У меня все в порядке. Пойдем лучше погуляем, – говорил он в таких случаях. – Вон денек-то какой хороший.

Вот так и первого апреля, накинув на плечи модную в то время накидку с двумя львиными головами на застежке, он увел меня на прогулку, пообещав показать маленькое представление с большим количеством участвующих лиц. Я охотно согласилась, и мы пошли.

День был поистине прекрасный, и на голубом по-весеннему небе не было ни единого облачка. Мы весело шагали среди гуляющих, и я с нетерпением поглядывала на Осю, ожидая обещанного представления.

– Имей терпение, – отвечал Ося на все мои вопросы, продолжая вышагивать вдоль улицы.

Вдруг он остановился против театра, поднял голову и с большим вниманием стал что-то рассматривать в небе. Удивленная его внезапной остановкой, я также подняла голову вверх. Но небо по-прежнему было чистым, и как я ни старалась понять, на что уставился Ося, ничего не находила.

Между тем Ося продолжал топтаться на месте, смотреть, выворачивая шею, переступая с ноги на ногу.

Первыми возле нас остановились два небольших гимназистика и так же, как и я, крутя головами, с серьезным видом уставились в небо. За ними подошел пожилой господин в крылатке и, не получив от Оси разъяснений, на что он смотрит, решил сам выяснить, что происходит в небе. Затем, не ожидая подвоха, остановилось еще несколько человек, и вот уже собралась порядочная кучка зевак. Даже некоторые спешащие пешеходы, поравнявшись с нами, замедляли шаг и с недоумением взглядывали вверх, увеличивая количество любопытных.

Выбрав момент, когда собралась порядочная толпа, Ося весело рассмеялся, галантно раскланялся и, поздравив всех с первым апреля, подхватил меня под руку и под довольный хохот гимназистов и возмущенную брань господина в крылатке, вдруг распространившегося об оболтусах, шатающихся без дела и морочащих голову порядочным людям, мы поспешили ретироваться подальше от неприятных комплиментов.

– Ну, как? Понравилось тебе мое представление? – спросил Ося, когда мы уже отошли на порядочное расстояние. – Оторопело оскорбленное лицо сердитого господина видала? Если б он мог, наверное, уложил бы меня наповал с первого взгляда. Ну, да и нам с тобой немножко попало.

Тут мы весело рассмеялись.

А несколько дней спустя в доме тетушки бушевала буря, поднятая дядей. Буря сопровождалась оглуши-

тельным хлопаньем дверей и громкими, срывающимися на высоких нотах, криками.

Большей частью домашние ссоры начинаются с пустяков. С пустяков началась ссора и на этот раз. Благодушно настроенному дяде захотелось угостить всех за обедом оставшимся от гостей вином. Сложив аккуратно свою салфетку, угол которой он всегда затыкал за ворот, дядя отправился в коридор, где стояла горка. Предчувствуя недоброе, я со страхом следила за его нетерпеливыми движениями. Уж кто-кто, а я-то знала, что никакого вина там больше не было. Ведь недаром Ося ставил меня частенько на стражу, пока орудовал в горке, гремя бутылками.

С этого все и началось.

Дядя перебрал бутылки, и лицо его покраснело. Он сразу утратил все свое благодушие и, раздражаясь, приступил к допросу, куда делось вино.

Как ни старалась догадавшаяся в чем дело тетушка выгородить сына, это ей не удавалось. Дядя не хотел слушать никаких объяснений и продолжал твердить свое, распаяясь все больше и больше.

Оскар молча вышел из столовой и скрылся в своем углу в конце коридорчика, где за тонкой занавеской стояла его кровать и письменный стол.

Меня поражало молчание Оси. Ну почему не сказать, что выпил это несчастное вино он? – задавала себе в десятый раз один и тот же вопрос. Ну почему он ничего не говорит? Неужели трусит? Собственно говоря, что может ему сделать дядя? Я мучилась, а Ося молчал и сидел, нахмурясь и низко опустив голову.

А дядя продолжал шуметь.

Тетушка, как встревоженная наседка, металась из комнаты в комнату, стараясь успокоить и образумить мужа. Дядя не слушал ее. Мелита давно уже хлюпала в излюбленном углу под юбками, успев за короткий срок превратиться в размокший блин с распухшим носом.

Не добившись от сына ответа, дядя остановился возле занавески.

– Хорошо □ Можешь молчать, но ты сегодня же вернешься в Москву, и на все время твоего учения я не дам тебе больше ни единой копейки. Ты будешь сам зарабатывать себе на жизнь. Тогда у тебя отпадет охота к выпивкам. Так-то, майн зон (мой сын), – закончил он, не повышая голоса, что давалось ему, по-видимому, нелегко.

Голос дяди дрожал и прерывался.

Оскар вышел из своего угла и в упор посмотрел на отца.

– В Москву я больше не вернусь, – глухо проговорил он. – Я ушел из лесного и подал заявление в консерваторию. Если не попаду, то временно пойду в музыкальное училище. Я люблю музыку. Люблю скрипку и хочу быть музыкантом, а не лесничим.

– Так вот оно что... – удивилась я. – Вот почему Ося молчал так долго.

Как видно он не мог сразу решиться на откровенный разговор с отцом, заранее зная, что такой разговор будет не из легких. И, действительно. Дядю точно удар хватил. С вытаращенными глазами и опавшей нижней челюстью слушал он сына. Казалось, что ему не хватает воздуха перевести дыхание.

Потерявши дар речи, молчала и тетушка.

Я не стану передавать всех жестоких споров и ссор, последовавших за Оскаровым сообщением.

Дядя то принимался кричать, проклиная свою жизнь и осыпая тетушку жестокими упреками за баловство и чрезмерное потакание сыну. То ходил мрачный и удрученный. Тогда по все квартире двигался за ним густыми волнами едкий сигарный дым. Тетушка, не выносившая сигарного запаха, поминутно проветривала комнаты, устраивая злые сквозняки. То, устав от крика, дядя тихо бродил по узкому коридорчику, осу-

нувшийся и несчастный, тяжело вздыхая и жалостливо бормоча себе что-то под нос. То, что-то надумав, вдруг снова взрывался, и все начиналось сначала.

Все мы устали.

Моя оробевшая Екатерина Николаевна с опаской приходила на занятия и тихонько уходила, если в квартире было слишком шумно. Заниматься мне стало совершенно невозможно. Я не могла сосредоточить свое внимание на уроках, когда они бывали. Кроме того, мне было ужасно жаль Осю. Чем он был только жив? – волновалась я. Даже выходить из дома Ося перестал. Я несколько раз пыталась заговорить с ним, но Ося только мельком взглядывал на меня и ничего не говорил.

Все ходили расстроенные и несчастные. Тетушка неоднократно заговаривала с Осей, но он упорствовал. А дядя во что бы то ни стало хотел добиться своего и вернуть сына в лесной. В конце концов, поняв всю бесполезность угроз, он сменил тактику и стал умолять Оскара и даже плакать. И Оскар не выдержал. Дядя снабдил его деньгами, взяв обещание не бросать лесного. И Ося уехал.

«Бедный папа, – часто думала я. – Он аккуратно присылает деньги и, наверное, надеется, что я занимаюсь и обязательно выдержу экзамен». Я же давно потеряла всякие надежды и часто по ночам тихонько плакала, вконец издерганная событиями. Теперь даже свидания с сестрой не приносили мне облегчения.

Вот тогда впервые подумала я, что неплохо было бы и умереть.

ТЕТУШКА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

*Очень детям ты нужна
Человеческая теплота*

Словно задавшись целью помешать успешному завершению моих занятий, все только и делали, что всячески отвлекали меня и мешали. После того, как Оскар уехал, семейные бури прекратились. Все понемногу успокоились, и в квартире наконец настала необходимая мне как воздух тишина.

Вдоволь наплакавшись во время перепалки Мелита целыми днями сидела на диване и вышивала белье английской гладью. Она готовила приданое. Надежда выйти замуж не покидала ее. Я, как следует, взялась за уроки. Тетушка большей частью сидела у себя в комнате, а дядя пропадал в кузнице. Один только чиж, чувствуя весну, по целым дням скакал и возился в своей клетке. Посвистывая и прихорашиваясь, он без конца купался, разбрызгивая вокруг воду из маленькой поилки.

Чиж мало беспокоил меня. Волновало меня отсутствие папиных писем. Каждый день с нетерпением ждала я почтальона, но каждый день он приносил только газеты. Но однажды вместе с газетами тетушка вынула из почтового ящика и письмо. На мой радостно-вопросающий взгляд она мельком бросила:

– От тети Жози, – и прошла в свою комнату.

Послышался звук раскрываемого конверта, и снова воцарилась тишина. Тетушка углубилась в чтение письма. Вдруг она поспешно вошла в гостиную, где мы продолжали заниматься своими делами и, радостно улыбаясь, сообщила, что скоро приедет тетя Маня, так заменили трудное для многих имя Жозефина на Марию.

«Этого еще не хватало!», – с неудовольствием подумала я. С тетушкой Марией Владимировной я еще не была знакома, но знала о ней из рассказов тетушки Софьи и Мелиты. Обе они, особенно тетушка, расхваливали тетю Маню на все лады: и человек-то она чудес-

ный, и добра, и внимательна, и бесконечно отзывчива. Все это говорилось в таком восторженном тоне, что я невольно стала прислушиваться к их похвалам.

– Ты, конечно, полюбишь тетю Маню, – уверяла меня тетушка, – ведь она твоя крестная мать – твоя вторая мать.

Находясь в семье Франк, я рано научилась ко многому, что касалось их семейных отношений, относиться критически. Недоверчиво отнеслась я и к последним словам тетушки.

– Вторая мать, вторая мать, – раздумывала я. – А что это за вторая мать, которую я даже ни разу не видела и которая совершенно мной не интересуется?

Не встречая у тетушки ни доброты, ни сочувствия, я очень нуждалась и в том, и в другом и, слушая их восторженные отзывы, в конце концов, поверила, что кто-то еще поймет мое душевное одиночество, как понял Оскар.

Наконец, долгожданный день настал, и моей преподавательнице еще накануне было объявлено, что завтра можно не приходиться. Занятий не будет.

Не чуя под собой ног летела тетушка открывать дверь на звонок. Сестры долго обнимались, нежно целовались. Оглядывая друг друга, ахали, охали и снова обнимались. Затем Мария Владимировна перешла в объятия Мелиты. За Мелитой ее вниманием овладела тетушкина комнатная собачка, черный Бобик с поседевшей от старости мордочкой и слезящимися выпуклыми глазами. Тетя Маня была растрогана.

– Подумать только! Он узнал меня, а я ведь так давно не была у вас, – умилялась она.

И только после всех излиятий по поводу собачьей памяти и верности, она обратила свое внимание на меня. Но в это время вошла тетушка, подхватила ее под руку и без особого труда увела «приводить себя с дороги в порядок». Так наше знакомство и не состоялось.

Мое первое впечатление от «второй матери», ни в какой мере, меня к ней не расположило, а скорее, насторожило.

На столе, исходя паром, уже стоял самовар и свежий кофе. Мы свой утренний кофе уже отпили. Тетушки закрылись в столовой и говорили, говорили, перебивая друг друга, и не могли, по-видимому, наговориться. Мелита была с ними, и я в одиночестве оставалась в гостиной, смотрела в книгу и никак не могла взять в толк, о чем в ней говорится. Невольно прислушивалась я к их невнятно доносившимся голосам, взрываю смеха и удивленным возгласам. И я снова почувствовала себя чужой и никому ненужной.

Наконец, самовар остыл, кофе был выпит, первый поток разговоров иссяк, и тетушки перешли в гостиную.

Мария Владимировна приказала Насте внести свой дорожный кофр, вспомнив, что привезенные подарки еще не розданы. Первым из кофра был извлечен предназначенный дяде большой шерстяной шарф своей вязки, что было особо подчеркнуто. Шарф так поразил меня своими огромными размерами, что запомнился мне надолго. Подарка тетушке я не помню. А Мелита получила кружевное шитье на платье, флакон духов и маленький золотой кулон на шею. Тетушка ахнула и всплеснула руками.

– Милуша! На твоей хорошенькой шейке такая изящная вещица будет выглядеть прелестно!

И она снова повисла сестре на шею. Удивительно умела тетушка выискивать и восхищаться несуществующими прелестями своей дочки.

Я незаметно отошла к окну и, скрытая большим фикусом, не совсем доброжелательно наблюдала за происходящим. Теперь без подарка оставалась одна я.

– Ах! Какая оплошность! – взглянув в мою сторону и чуточку смутившись, проговорила Мария Влади-

мировна. – Как же это я для Оли не приготовила подарка! Впрочем, – извернулась младшая тетушка, – я и не предполагала, что она все еще у тебя, Соня. Ну, ничего, ты не огорчайся – вновь оживилась она, обращаясь ко мне. – Сейчас мы исправим мою несносную рассеянность.

И, порывшись в своем кофре, она вытянула из него кусок красного ситца белыми горошками.

– Возьми это, – оживленно, делая вид, что подарок для меня достаточно хорош, проговорила она, протягивая мне ситец. – Здесь вполне хватит на две блузки – и тебе, и Нине.

Обиженная допущенным в отношении нас пренебрежением, стояла я с опущенными руками, и злые слезы готовы были закапать у меня из глаз. «Точно нищим – возьмите это». Уж эти непрошенные слезы! Они могли только еще больше унижить меня перед ними. А я не хотела показать им своего унижения. Подумаешь, подарки! Не нужны они мне! И совсем не по моей вине и не по вине отчима на мне это противное, старое, залатанное платье.

Я не взяла ситца. И стояла, точно деревянная, опустив глаза, стараясь не поднимать их, чтобы никто не заметил стоявших в них слез.

В Марии Владимировне я не встретила того, что я надеялась найти в ней. Ожидания мои не оправдались. Тетушка Софья Владимировна меня обманула, как думалось мне, и тем заставила пережить еще одну обиду. Им было просто всем не до меня.

Начались визиты. За визитами потянулись ответные визиты. В квартире поселилась сутолока. То обсуждали, что купить, то ходили за покупками, то готовились к приему гостей, то принимали их. Как водится в таких случаях, комнаты наполнились громкими голосами и трескучим, ненавистным мне, немецким говором. Я со своими книгами уходила на балкон и там пыталась

буквально забивать в голову заданные уроки, а голова все равно оставалась занята посторонними мыслями. Я все еще переживала свое разочарование и обиду за ту легкость, с которой нас с сестрой обошли.

И только одна танте Мина всегда помнила обо мне. Она отыскивала меня на балконе, расспрашивала о моих делах и передавала принесенные лакомства.

Больше недели длилась карусель визитов и приемов. Но всему же бывает и конец. Слава богу! Уехала и моя «вторая мать», отняв у меня целых восемь дней из считанных дней до экзаменов.



ЭКЗАМЕН

Наступил день экзамена, а настроение у меня было испорчено с самого утра. За зиму я еще подросла, и мое единственное клетчатое платье, которое так береглось, стало мне совсем мало. Больше всего смущали меня короткие рукава. И как мне казалось, слишком как-то нелепо торчали из них мои худые руки.

Так, расстроенную незадачей с платьем, обеспокоенную предстоящим испытанием, да еще и взволнованную разными неприятными объяснениями, повезла меня тетушка в институт.

Я не узнала знакомого мне институтского двора. За последнюю неделю, что я не была у Нины, двор превратился в огромный благоухающий букет распутившейся сирени. Кусты, усыпанные крупными темно-лиловыми, бледно-сиреневыми и белыми кистями стояли, склонившись под их тяжестью. И насколько я в то утро была не склонна что-либо замечать от овладевших

мною забот, все же не могла не восхититься этим необыкновенным великолепием. Даже в княжеском саду в Юлово не было такого моря цветов.

Утро было теплое, солнечное, и густой аромат сирени неподвижно держался в воздухе. Во дворе было пусто. В окна никто не заглядывал. Только большие белые и лиловые букеты стояли на подоконниках.

Мы вошли в вестибюль, и меня поразила стоявшая в нем тишина. Ни гула голосов, ни музыки на этот раз не было. Шел урок. Швейцар Николай в черной ливрее с серебряными галунами предупредительно подошел к тетушке и, узнав, что меня привели на экзамен, вполголоса попросил проследовать за ним в сад. На удивленный вопрос тетушки он ответил, что приемные экзамены будут проводиться в саду. Мы пошли за швейцаром.

Сад оказался большим и тенистым. Но, несмотря на густо разросшиеся деревья, он не выглядел в этот погожий весенний день темным. Его свежая зелень, пронизанная насквозь солнечными лучами, была яркой и, как мне показалось, даже приветливой. Высокая кирпичная стена огораживала сад со стороны речного откоса. Другой стороной он выходил на Жуковскую улицу.

На центральной аллее стояли три стола под ярким зеленым сукном. Чуть поодаль на расставленных в два ряда стульях сидели родители, приведшие девочек. Мы с тетушкой заняли два пустующих места и огляделись. Девочек было много. Некоторые с независимым видом поглядывали по сторонам. «Наверное, они все знают», — с завистью подумала я. Другие с несчастными лицами жались к родителям, готовые вот-вот заплакать. Я также волновалась, и мой собственный вид, наверное, был не лучше, так как уверенности, что все пойдет благополучно, у меня совсем не было. Когда в дверях, через которые мы только что прошли, появилась экзаменационная комиссия, я так испугалась, как, наверное, не ис-

пугалась, повстречав в глухом лесу заросшего лишаями и мхом, старого озорного лешего. И когда четыре дамы в одинаково синих платьях, высокий мужчина в пенсне и добродушного вида священник в лиловой рясе разместились за столами, разложив бумагу и карандаши, у меня от волнения, точно сквозняком, начисто продуло мозги, и я, к ужасу своему, почувствовала, что вместе со сквозняком улетучились и все мои жалкие познания. – Что со мной будет? – ужаснулась я. – Как же я стану держать экзамен, если я совершенно все забыла?

И в полном смятении, ища поддержки, я оглянулась на остальных. И с облегчением вздохнула, заметив, что не только у меня на сердце скребут кошки.

Экзамен начался. К столам одна за другой потянулись несчастные фигурки. Вот очередь дошла и до меня. Переходя от стола к столу, ничего не соображая, я что-то читала, писала коротенький диктант, отвечала правила правописания и говорила стихотворение. У следующего стола решала какие-то примеры, с трудом справилась с задачей и перешла к священнику.

Он ласково взглянул на меня и ободряющим баском попросил прочесть молитву «отче наш». Слушая, он доброжелательно кивал головой. Потом задал мне еще вопрос: «Сколько двенадесятых праздников?» Я не знала и вместо того, чтобы признаться в своем незнании, в замешательстве принялась натягивать на руки смущавшие меня рукава, как будто эта оттяжка могла подсказать правильный ответ.

– Ты подумай, – сказал священник. – Двенадесятый, – растягивая по слогам, повторил он. – Само название говорит за себя. Двенадесятый.

Я подумала и сказала «двадцать». И тут же поняла, что ответ мой неверен. Откровенно сказать, я и сейчас не знаю всех двенадесятых праздников, хотя по закону божьему у меня впоследствии всегда было двенадцать.

Когда же дошло до французского языка, мне самой стало не в состоянии. С трудом разбирая слившиеся воедино буквы, я с грехом пополам зачитала с таким ужасающим прононсом, что одна из синих дам сморщилась, точно у нее внезапно заболели уши, и она решительно зажала их руками. На этом я окончательно провалилась.

Меня приняли не в шестой, как хотел папа, а в седьмой, да и то с трудом, как мне позднее сказала тетушка, пожалев мое сиротство.

Переволновавшись, я себя почувствовала такой опустошенной, что мне совершенно было безразлично, в каком классе учиться. В седьмом, так в седьмом, лишь бы быть вместе с Ниной и не возвращаться к тетушке.

Когда на обратном пути мы снова проходили мрачным вестибюлем, с лестницы скатилась Нина. Узнав результат экзамена, она искренне обрадовалась, крепко меня расцеловала и умчалась вверх по лестнице. Нина не очень-то надеялась на мое поступление.



ДОМОЙ

Через несколько дней, двадцать пятого мая, занятия в институте заканчивались, и мы с Ниной должны были уехать домой. На вновь присланные папой деньги тетушке все же пришлось купить нам материи на платья. До отъезда оставалось совсем мало времени, и тетушка решила обратиться к портнихе. Платья нужно было пошить к нашему отъезду.

Была у нас во вдовьем доме знакомая женщина, страдавшая ревматизмом, да так сильно, что совсем не могла ходить. Жила она за счет благотворительности, а при случае понемногу шила. Вот к ней и повезла меня тетушка. Мы долго ехали на извозчике пока добрались до мрачного серого как снаружи, так и изнутри, здания с узкими, для прочности заасфальтированными, коридорами. Миновав несколько дверей первого этажа, тетушка вошла в небольшую комнатку. Спертый воздух ошеломил меня. Я осмотрелась. В комнате стояли две кровати, покрытые бедными, но чистыми одеялами. На окне цвела герань и фуксия с множеством распустившихся цветов-сережек. Когда мы вошли, у окна на стуле завозилась какая-то неприглядного вида фигура. Она с трудом повернулась, и вдруг желтое испитое лицо ее озарилось радостной улыбкой. Я удивилась. Присутствие тетушки у меня радости никогда не вызывало и потому мне казалось, что и у всех должно быть такое же к ней отношение. Я даже не допускала мысли, что ее появление могло кому-нибудь доставить радость. Немудрено, что приветливая улыбка на болезненном лице хозяйки комнаты показалась мне неискренней.

– Здравствуйте, матушка Софья Владимировна! – приветствовала она тетушку. – Счастье-то какое, матушка, что не забыли меня, несчастную. А я-то уж думала, что не увижу вас больше. Давненько не бывали вы у нас. Здоровы ли вы, матушка?

– Ничего, здорова, – отвечала тетушка. – Лучше скажи, как ты-то живешь? Ноги-то как? Болят?

– Как же им не болеть. Сидишь день-деньской сиднем, а с пола-то вот каким холодом тянет. Топка плохая, а ведь камень кругом, – пожаловалась она. – Да и то, слава тебе господи, что крыша над головой и кипяточек всегда есть. Да и благодетели, дай им бог здоровья, не забывают. Вот и живем помаленьку. Что зря бога-то гневить? Живем...

– Ну и хорошо, – удовлетворилась ответом тетушка. – Чисто у вас как и порядок, – оглядываясь по сторонам, похвалила она.

– Как же чистому-то не быть, – снова нараспев отвечала хозяйка. – За чистоту с нас спрос строгий. Чуть что не так, того и гляди выдворят. Желающих на каждое место страсть сколько. Известно, вдовый дом, а ведь не все вдовы, вот вроде нас с Машей, бездетные. У которых детишки, тем еще труднее на воле-то живется. Вот и ждут не дождутся, когда какая комнатка освободится.

Женщина, видимо, была рада поговорить со свежим человеком и не замечала тетушкиного нетерпения.

– Кто уж попал сюда, так все требования старается исполнять, лишь бы удержаться. Вот только детишки не очень-то признают их. То драку, а то и еще какое баловство учинят.

В коридоре, действительно, было шумно. То и дело хлопали двери; плакали маленькие; шумели и кричали, что были постарше. Весь дом гудел, как улей.

– Я к тебе Анна Павловна по делу, – воспользовавшись паузой, заговорила тетушка. – Надо пошить, да поскорее, ну хотя бы дня за три, четыре платья моим племянницам.

И тетушка развернула бумагу.

– Успею ли? – засомневалась портниха.

– Если Маша тебе поможет – так успеешь. Дело нехитрое. Все четыре платья почти одного размера. Обе девочки одного роста. Вот только два сделайте чуточку пошире в плечах и в талии. Каждой по два. А их примерку можно будет сделать вот на Олю, – указала на меня тетушка. – Вторая-то еще в институте. А Маша-то где? – спохватилась тетушка. – Жива ли?

– Жива, жива! Мы с ней все так вместе и живем. Да что бы я без нее делала, без ног-то? – завздохнула Анна Павловна.

Тетушка сняла с меня мерку, объяснила, как надо пошить платье и заторопилась уходить.

– Пусть Маша сама придет с примеркой. Уж очень далеко к вам добираться, – предложила тетушка и на прощанье передала принесенный гостинец: чай, сахар и пшеничную булку.

– Спасибо, матушка, – закланялась больная, – спасибо. Придет Маша. Как не придти. Завтра к вечеру и припожалует.

Мы вышли.

– Прекрасная портниха была, – ответила на мой вопрос тетушка. – Всех франтих обшивала. Да вот скрутила болезнь и осталась ни при чем. Слава богу, хоть жить во вдовый дом устроили, и то счастье.

На другой день пришла с примеркой Маша. Это была немолодая маленькая женщина с добрым лицом и спокойными серыми глазами, тихая как мышка. Ее черное платье и белый шарфик были ей к лицу. Держалась она скромно и с достоинством: без «матушек» и лишних разговоров. Мне это понравилось гораздо больше, чем приниженная болтовня Анны Павловны. Тетушка встретила ее приветливо, пожалуй, даже чересчур приветливо. Роль благодетельницы, видимо, ей нравилась. Напоив посетительницу чаем с бабушкиным клубничным вареньем, тетушка расспросила обо всех интересующих ее делах вдовьего дома, в котором она, оказывается, многих знала. После этого приступили к примерке.

Действительно, Анна Павловна была хорошей портнихой. Покроенные ею и сметанные на живую нитку платья пришлись как нельзя лучше. А еще через два дня снова пришла Маша и принесла совсем готовый заказ. Я была в восторге. «Наконец-то я избавлюсь от Милушиных обносков», – радовалась я и тут же нарядилась в новое платье. Я взглянула мимоходом в зеркало, и мне платье так понравилось, что сразу за-

хотелось пойти к Нине. Теперь стесняться своим видом мне больше не придется.

На оставшиеся деньги тетушка купила нам билеты в двухместном купе второго класса. А совсем уже мелочь отдала нам на дорогу. Мы с Ниной пересчитали весь свой наличный капитал и призадумались. Очень хотелось привезти бабушке какой-нибудь подарок, но денег оказалось слишком мало, и мы никак не могли ничего придумать. Грустные, возвращались мы из магазинов с пустыми руками и на Лыковой дамбе повстречались с небольшим паренком с клеткой в руках. В клетке беспокойно метался желтенький чирик. Поравнявшись с нами, паренек вскинул руку с клеткой и весело предложил:

– Купите чирика! Не пожалее! Певун что надо!

– Зачем нам птичку? – сказала Нина.

– Мы уезжаем, – поддержала ее я, и мы прошли мимо.

– Оля, – вдруг оживилась сестра. – Давай подарим бабушке чирика! Ей одной, наверное, скучно, а чирик будет ей петь. Давай купим...

– А и верно, – согласилась я.

Предложение сестры мне понравилось, и мы побежали догонять мальчика. Расплатившись за чирика, довольные покупкой мы вернулись к тетушке.

– Господи! – ахнула она. – Зачем вы птичку купили? Что с ней делать думаете?

И узнав, что чирик поедет с нами в подарок бабушке, тетушка хмыкнула и посоветовала для полноты картины прихватить с собой еще какую-нибудь живность. «Ну, вот хотя бы котенка», – добавила она. Как раз у тетушкиной кошки подрастали два чудесных мохнатых котенка, полосатых, точно тигрята.

– А что? – подумав, согласилась Нина. – И вправду, давай, Оля, возьмем одного котенка.

Мы выбрали самого хорошего и привязали ему на шею розовый бант.

– Деньги на покупку все истратили? – поинтересовалась тетушка.

– Нет... Немножко осталось.

– А что в дороге кушать будете? – осведомилась она.

– Хлеба купим, – не задумываясь ответила я.

– На одном хлебе далеко не уедете, – заверила тетушка и завернула в бумагу оставшиеся от обеда котлеты.

Она сунула их нам в корзинку, присоединив немного конопляного семени для чижа.

Вечером в сопровождении тетушки с корзинкой, клеткой и котенком отправились мы на вокзал. Усадив нас в вагон, тетушка попросила важного пожилого проводника присмотреть за «глупыми девчонками» и высадить нас в Арзамасе, где по телеграмме нас должен встретить папа. И мы тронулись в путь.

Вагоны в то время были далеко не совершенны. Арзамасская дорога, принадлежавшая фон Мек, и того хуже. Из-за неисправностей пути на дороге происходили частые крушения. Наш вагон то мотало из стороны в сторону, то дергало так сильно, что даже чижу стало невмоготу. Он погрустнел, глазки затянулись мутной пленкой, и чиж упал на дно своей клетки.

Мы ойкнули... Неужели умер? Достав безжизненную птичку, мы открыли ей клюв и с ложечки капнули чуточку воды. Чижик зашевелился. Мы капнули еще, и он совсем ожил. Вот бедный, наверное, ему стало от духоты и тряски дурно. Посоветавшись, как его лучше устроить, мы решили вывесить клетку за окно.

Чижик оживился. Он летел... Летел, сидя на жердочке. Ветер несся ему навстречу, ерошил перья и обдувал его.

– Чудесно! Чудесно! – чирикнул чиж и вдруг за-
лился веселым радостным пением.

Он чирикал, посвистывал и запускал такие трели,
что и нам стало ужасно весело. Паренек, продавший
его, не обманул нас. Чиж оказался замечательным.

Со вторым нашим пассажиром хлопот было куда
меньше. Он с аппетитом закусил котлетой, погулял по
проходу купе и, свернувшись клубочком на мягком ди-
ване, сладко заснул.

Наутро мы встретились с папой. О, сколько было
радости при встрече! При виде наших путешественни-
ков у папы изумленно открылись глаза.

– Скажите на милость! Целый зверинец приехал.
А ведь нам еще порядком добираться до дома. Ну, по-
шли, пошли! Бабушка и Боря совсем заждались

От Арзамаса мы ехали на лошадях и к вечеру были
уже дома. Бабушка со слезами вышла нам навстречу.

– Ничего... Сейчас пройдет. Это от радости.
Насилу дождалась вас, – обнимая и целуя нас, оправ-
дывалась бабушка.

Она так разволновалась, что не заметила, что ей пе-
редала в руки Нина. Спohватившись и рассмотрев свой
необыкновенный подарок, бабушка расплакалась еще
больше, и мы никак не могли понять, чем это она так
расстроена. Уж не наш ли подарок довел ее до слез? В
полном замешательстве, не рискуя отдать бабушке вто-
рой ее подарок, я опустила на пол взъерошенного ко-
тенка. Котенок проснулся, во всю ширь открыл свои
круглые глаза и, собрав все четыре лапки в одну точку,
изо всех сил потянулся, изогнув дугой спинку. Потом,
расправив длинные белые усы, он так сладко зевнул,
что сразу завоевал общее расположение.

Присев около котенка, больше всех радовался и
смеялся над ним Бориска.

– Ай да кот... Усы-то, усы какие белые да длинные, – смеялась бабушка. – И как это вы их довели только, – удивлялась она.

Так и пристала к котенку кличка Усик.

БЕГЛЫЕ

Наконец-то мы дома. После того как я рассказала бабушке о своем безрадостном пребывании у тетушки, я старалась больше не вспоминать об этом тяжелом для меня времени.

– Бог с ней, – сказала бабушка.– Забудь. Знай себе отдыхай да побольше сил набирайся, чтобы на весь год тебе хватило. Ты и раньше, Олюшка, никогда толстой-то не была, а теперь и подавно одни косточки остались, – сокрушалась бабушка.

Мы отдыхали... Ведь снова с нами был родной наш лес и хлопотливая речушка, в которой по-прежнему ходили стайки юрких огольцов. Огород то прохладный и сырой в дождливый день, то душный и паркий под жаркими лучами солнца, где всегда можно было отыскать среди шершавых листьев свежий, весь в колючих пупырышках огурец, выдернуть из влажной земли каротельку и набить карманы ломкими стручками сахарного гороха.

Накупавшись до зябких мурашек в прохладных струях речки, петляющей среди зарослей кустарника, было необыкновенно приятно посидеть и погреться среди теплых грядок огорода, понаблюдать за толстыми, с натугой гудящими шмелями, деловито обшаривающими медоносные кувшинчики желтых подсолнухов да послушать веселый стрекот неугомонных кобылок. Выскочит из травы такой длинноногий легкомысленно настроенный стрекулист, угодит ненароком пря-

мо тебе в прохладную ладошку, отплюнется в страхе зеленью и снова даст такого стрекача, что только диву даешься.

Дождалась нас и поляна высокой да острой, точно бритва, осоки, отгороженная от потравы длинными слегами. Греется под жарким солнцем поляна, и растет на ней невидаль-осока. Но стоит присесть и осмотреться, как расступится хозяйка-трава и предоставит в твое распоряжение свой заботливо укрытый ею душистый ковер иссиня-красной сладкой земляники. Минута... и вот уже спелые ягоды скатываются через край переполненной кружки. А поторопился да провел по осоке ненароком рукой, и повиснет на ней живая капелька, такая же красная, как и земляника. Не любит торопыг осока.

Вокруг дома все осталось по-прежнему. Только бабушка почему-то стала ниже ростом. Грустная пустота прижилась на заметно обветшавшей кушетке, да совсем перевелись друзья Шаляпина – ужи.

Зато ближний лес, где зимними ночами блуждал горемыка-Ивашка, да мерцали волчьи глаза, по-прежнему таил среди зеленых чащоб извечные свои лесные тайны, и все же с неизменной силой манил он нас загадочным зеленоватым сумраком, пряным запахом прелых листьев и грибов да особенной своей дремной тишиной. И надо думать, что большую часть своего летнего досуга мы уделяли лесу.

Бабушка не доверяла глухим лесным чащам, прорезанным узкими редкими просеками, из которых зимней порой выходили волчьи стаи да по которым весенней порой бродили отощавшие медведи, а то, случалось, и злые люди.

Чтобы удержать нас возле дома папа построил нам небольшой тесовый домик с дверью, окнами и дощатым потолком, поверх которого мы складывали заготовленное нами сено. Бабушкины куры, облюбовав не-

высокий чистенький домик, к нашему удовольствию устроили в сене гнезда, где аккуратно, совсем как в настоящих хозяйствах, откладывали яички. Рядом с домиком выкопали мы глубокую яму и накрыли ее собачьей конурой. Получился отличный погреб, в который то и дело попадали глупые лягушки. Чтобы погреб принял «жилой» вид, надо было хоть что-нибудь держать в нем. А что? И снова наши взоры обратились к лесу.

Сначала по самому краю мы набрали полные корзиночки цветастых сыроежек: красных, желтых, серозеленых толстых, плотных, с загнутыми внутрь краями. Приносили их в свой домик, мыли, чистили, полоскали и солили. Потом по очереди, да так часто проверяли готовность соления, что предоставленная нам бабушкой глиняная макитра быстро пустела, и нам снова приходилось идти в лес за новой партией сыроежек. Давно уж повыбрали мы все грибы, что росли по краям и по светлым опушкам, а пустое хождение кругом да около нас не устраивало. И мы решили сходить куда-нибудь подальше.

А тут как назло распространился слух, будто в наших лесах скрывается шайка беглых каторжан. И бабушка сразу же запретила нам уходить далеко от дома. Слухи подтвердились. Женщины, ходившие в лес по малину, действительно, встретились с беглыми, и те отобрали у них головные платки и узелки с хлебом. Точно полоумные прибежали они в поселок и наделали такого шума, что бабушка теперь уже окончательно запретила нам вообще уходить дальше огороженной поляны.

Это было уже слишком... А как же грибы? Для чего же мы строили погреб, если в него нечего поставить? И, посоветовавшись, мы решили один последний разок сходить за сыроежками.

Как-то после обеда, когда папа и бабушка легли отдохнуть, мы забрали из чулана большие корзины и потихоньку отправились в лес с твердым намерением пустым не возвращаться. По краям, как и следовало ожидать – погода стояла жаркая – никаких грибов не было. Кружась среди деревьев и обходя густые заросли орешника, мы и не заметили, как ушли далеко вглубь леса и спохватились только, когда наши корзины наполнились до краев, а руки едва обхватывали большие букеты крупных лесных колокольчиков.

– Хватит. Пошли скорее обратно, – забеспокоилась сестра. – Бабушка, наверное, уж нас хватилась.

Мы заторопились. Чтобы букеты не рассыпались и не задерживали нас, их надо было связать хотя бы травинкой, и так получилось, что остановились мы возле здоровенного пня, вывороченного из земли. Во все стороны, точно усы моржа, торчали его сухие корни. Я стояла к пеньку спиной и никак не предполагала, что от него может произойти какая-нибудь для меня неприятность.

Вдруг глаза Ольги расширились от ужаса, и она уставилась на то, что было у меня за спиной. Я оглянулась, но ничего подозрительного не заметила. Пень, как пень. А Ольга, точно окаменев, продолжала тарашить испуганные глаза.

– Что с тобой? – спросила Нина. – Может, тебя какая муха укусила?

– Да ты рот-то хоть закрой. Смотри, залетит какая-нибудь пакость, – посоветовала я.

Но Ольга продолжала стоять истуканом, не обращая внимания на наши слова, и мы, приняв ее поведение за шутку, рассмеялись. Наш смех, видно, вывел Ольгу из оцепенения. Она вдруг схватилась за голову, замахала руками и с силой рванула меня за платье.

– Ну, совсем спятила, – решили мы.

Ничего не понимая, теперь уж я уставилась на нее, вытаращив глаза и не двигаясь с места.

– Уйди! Уйди! Да скорее же! Змея!

И Ольга с такой силой вдруг толкнула меня, что я отлетела в сторону и, зацепившись за корень, растянулась. Сыроежки так и разлетелись во все стороны. И тут мы увидели, чем Ольга была так напугана. На корне, у которого я только что стояла, висела гадюка. Раскачиваясь и бысто-быстро шевеля блестящим раздвоенным язычком, она глядела на нас злыми немигающими глазами. Еще бы мгновение и потревоженная нашим появлением змея выместила бы на мне свое неудовольствие.

Мороз пробежал у меня по спине. Вскочив на ноги, я схватила первый попавшийся под руку здоровенный сук и, что было силы, ударила змею. Зашипев, она, точно ременный хлыст, стремительно обвилась вокруг корня и тут же медленно с безжизненно повисшим хвостом соскользнула на землю. Мы отбежали. Змея извивалась, но уползти под корягу не смогла. Я перебила ей хребет. Мы долго наблюдали за ее бесплодными попытками. Потом с отвращением ее добились.

Пока я собирала разлетевшиеся во все стороны сыроежки, а Нина с Ольгой рассматривали побежденного врага, из леса вышел высокий, плечистый мужик в красной рубахе с расстегнутым воротом, в черных его волосах, подстриженных под горшок и беспорядочно торчащих, застряли сухие сосновые иглы. Шел он, низко опустив голову, в задумчивости помахивая тонким ободренным прутиком. Мы обомлели. «Ой, наверное, это беглый! – ахнула Ольга. – Ну конечно, беглый!» И, подхватив свои корзинки, мы сорвались с места и, что есть духу, пустились наутек. Обдирая руки и ноги, разбирая дороги, продираясь через кусты и перепрыгивая через канавы, летели мы к дому. Куда девались наши рассуждения, что нам-де беглых бояться нечего,

что платков мы не носим, хлеба с собой не берем, а сыроежек, великое дело, их и без наших в лесу много. Кому же придет в голову связываться с нами?

Так рассуждали мы дома, а повстречав незнакомого мужика, совсем иначе отнеслись к рассказам женщин и охваченные страхом, точно ошпаренные, мчались во-свояси.

Когда у меня под ногами промелькнуло что-то огромное и темное, я в изумлении остановилась. Это была знакомая здоровенная коряга, через которую я в спешке с такой легкостью перескочила. Тяжело переводя дыхание, точно запаленные лошади, остановились и Нина с Ольгой. Остановились и с удивлением переглянулись. Красные, растрепанные, облепленные грязной паутиной, с ободранными руками и ногами, бесславно возвратились мы из дальнего сыроежного похода.

И вдруг нам стало смешно. Мы долго хохотали над нашим конфузом, не замечая, что все еще держим в руках смятые, превратившиеся в жалкие, никому не нужные веники, наши чудесные лесные букеты. Насмеявшись и побросав букеты, мы разошлись по домам. Сыроежки пострадали меньше. Вечером мы их все же посолили.

Бабушка долго пробирала нас.

– Говорила я вам сидеть дома. Так нет же. И куда вас только понесла нелегкая! Ну, хорошо. На этот раз вы убежали, а если б вас обидели? Дались вам эти грибы, будто и в самом деле есть вам нечего. Неслухи! – выбрала она нас напоследок.

Мы терпеливо выслушали бабушку и пообещали в лес больше не ходить.

Повстречалась же я с одним из беглых, так встревоживших бабушку, не в темном лесу, а дома в собственной кухне, когда солнце щедро вливалось в рас-

крытое настежь окно и ослепительным квадратом ложилось на чисто вымытый прохладный пол.

И вот как это произошло.

Как-то утром во всем большом доме оставались мы с бабушкой вдвоем. Папа чуть свет уехал по делам. Авдотья, заменившая у нас Ольгу, устанавливала в погребке кринки с молоком и, чтобы кринки не опрокинулись, она обкалывала подтаявший в леднике лед. Нина и Боря где-то бродили, а я отправилась на кухню за водой. Бабушка укладывала в комод только что выглаженное еще теплое белье, а меня заставила полить в гостиной цветы.

Наружная кухонная дверь, как всегда в летнее время, стояла открытой. Я только что вошла в кухню, как в дверь метнулся человек и, пугливо озираясь, прижался в угол, где стояли ведра с водой. От неожиданности я даже вздрогнула.

Это был молодой парень в серых солдатского сукна широких штанах и такой же широкой рубашке. Волосы на голове были наголо острижены. Схватив ковш, он зачерпнул из ведра воды, с жадностью выпил и, с опаской оглядываясь по сторонам, приглушенным голосом спросил меня:

– Дома кто есть?

– Бабушка, – ответила я.

– А еще кто? – все так же, настороженно оглядываясь, снова спросил он.

– Больше никого, – растерянно ответила я.

– Смотри... Правду говоришь? – и в голосе его послышалась угроза.

– Правду... – я уже догадалась, кто был этот человек, и мне стало страшно. – Бабушка! Иди сюда скорее! Да скорее же! – закричала я, не решаясь оставить его в кухне одного.

– Не кричи так громко, – зашипел он на меня. – Иди лучше, приведи ее поскорее. Некогда мне!

В это время дверь знакомо скрипнула, и я с облегчением вздохнула. А незнакомец метнулся было к выходу, но, увидав, что в кухню вошла маленькая старая женщина, вернулся и вдруг поклонился бабушке.

– Хозяюшка, – быстро заговорил он. – Сделай милость, дай чего-нибудь поесть, да и хлебца с собой дай. Несколько дней на ягодах живем.

Бабушке не надо было объяснять, что за гость заскочил к нам. Не говоря ни слова, она подала ему сковородку с оставшимися от ужина котлетами, поставила на лавку рядом с ведрами кринку молока и положила непечатый каравай хлеба. Подойти к столу парень отказался. Он присел на корточки возле лавки и с жадностью стал поедать котлеты. Потом, торопясь, обливаясь и захлебываясь, выпил молоко и, схватив хлеб, как затравленный зверь, снова метнулся к двери. На пороге он приостановился.

– Спасибо тебе, хозяйка, вовек не забуду. Не говори только никому, что видала меня, – и он выскочил в открытую дверь и исчез.

Следом за ним вышла на крыльцо и я, но никого уже не было. Бабушка вымыла тарелку с кринкой и поставила их на место. Мне же велела молчать.

– Никому не рассказывай про него, Олюшка. Ведь душа-то живая, может, и понапрасну человек пропадает.

Долго искали беглых по лесам. Опрашивали всех, заходили к нам, но так никого и не нашли. Позже дошли слухи, что их задержали далеко от наших мест, где-то в соседнем уезде.

Много разговоров было о беглых. Многие радовались, узнав об их поимке. И только мы с бабушкой искренне о них пожалели. И долго у меня перед глазами стоял загнанный человек в обнимку с караваем хлеба.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
| ДЕД БАЛЬТАЗАР ТУНЦЕЛЬМАН ФОН АДЛЕРФЛЮГ | 9 |
| ТЕТУШКИ | 12 |
| ОТЕЦ МОЙ – ЭРНЕСТ ФОН ТУНЦЕДЬМАН | 27 |
| <i>Женитьба</i> | 26 |
| <i>Переезд в город, замужество мамы</i> | 33 |
| ЮЛОВО | 39 |
| <i>Болезнь, золотая чашка</i> | 46 |
| <i>Весна, пасхальная неделя</i> | 52 |
| <i>Сад</i> | 63 |
| <i>Лес</i> | 69 |
| <i>Первое горе</i> | 73 |
| <i>Дядя Виталий Петрович</i> | 75 |
| <i>Леди и Крошка</i> | 83 |
| <i>Брат Женя</i> | 91 |
| <i>Как мы с мамой стали врачами</i> | 100 |
| <i>О книгах, крысах и ни о чем особенном</i> | 106 |
| <i>Приезд Ольги. Пруд. Горе бабушки</i> | 110 |
| <i>Тетушка Софья Владимировна</i> | 115 |
| <i>Старая княгиня</i> | 122 |
| <i>Князь Ознобишин. Малютка.</i> | |
| <i>Мое поражение</i> | 129 |
| <i>Цирко</i> | 142 |
| ПРОКАЗЛИВОЕ ДЕТСТВО | 144 |
| СНОВА ЗИМА. РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ. ЧЕРТИ | 153 |
| МАСЛЕНИЦА | 166 |
| СВАДЬБА | 174 |
| ГОД 1904 – 1905. РАЗГОРАЛОСЬ ЛЕТО. | |
| РАЗГОРАЛИСЬ И СОБЫТИЯ | 181 |
| ОТЪЕЗД ИЗ ЮЛОВО. ПОЖАР. НИПЕНИНЫ | 193 |
| ПРОЩАЙ ИНЗА. КАРПОВЫ | 209 |
| ШАНДРОВО | 216 |
| <i>Шандровские леса</i> | 222 |
| <i>Миргуб</i> | 228 |

| | |
|--|-----|
| <i>Шляпин</i> | 231 |
| <i>Ольга</i> | 237 |
| СМЕРТЬ МАМЫ | 245 |
| ТУРОВСКИЕ | 257 |
| ВСЕ, КАК В «ДЕТСТВЕ» ТОЛСТОГО | 259 |
| НИЖНИЙ НОВГОРОД | 267 |
| <i>Первое посещение сестры</i> | 277 |
| <i>Мои занятия</i> | |
| <i>с преподавательницей</i> | 283 |
| <i>Свидание с папой. Танте Минна</i> | 285 |
| <i>Рождественские праздники. Оскар</i> | 292 |
| <i>Снова Оскар</i> | 308 |
| <i>Тетушка Мария Владимировна</i> | 313 |
| ЭКЗАМЕН | 317 |
| ДОМОЙ | 320 |
| <i>Беглые</i> | 326 |

**Ольга Эрнестовна
Тунцельман - Голубева**

**ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ
РАССКАЗЫ**

Компьютерная подготовка Н. Ададу-
рова Л. Моисеева
Фотографии из семейного архива Н. Ададу-
вой и Н. Тихомировой
Оформление обложки Л. Моисеева, Я. Яцко-
вич

Изготовлено в США, Бостон

Printed in the United States of America

Budget Printing Center

*20 Broadway
Taunton, Massachusetts 02780*

